

ДОМАШНЯЯ ГАЗЕТА

№1(839) · 1978



АНАТОЛИЙ ИВАНОВ
ВЕЧНЫЙ ЗОВ

Четверть века работы в литературе принесли заслуженное признание талантливому русскому писателю-коммунисту Анатолию Степановичу Иванову. Глубоко правдивы его романы и повести. Они волнуют, вызывают ответное движение нашей души, побуждая к серьезным раздумьям о судьбах времени и народа.

В 1958 году увидел свет первый крупный роман писателя—„Повитель“. И хотя Анатолий Иванов начал публиковаться значительно раньше—за четыре года до этого в столичной печати появился его рассказ „Дождь“, затем сборник рассказов „Алкины песни“,—но все же именно роман „Повитель“ явился важной и значительной вехой в литературной судьбе Анатолия Иванова. Начиная с этого романа писатель заявил себя зрелым художником, творчество которого глубоко партийно, пронизано гуманизмом, высокой гражданственностью.

Биография Анатолия Иванова внешне ничем не примечательна. Родился он в 1928 году в селе Шемонаиха Восточно-Казахстанской области. Окончив десятилетку, поступил в Казахский государственный университет имени С. М. Кирова. После университета работал в газете „Прииртышская правда“ в Семипалатинске. Три года служил в армии, затем Анатолий Иванов работает редактором мошковской районной газеты Новосибирской области, редактором Новосибирского книжного издательства, заместителем главного редактора хорошо известного в стране журнала „Сибирские огни“, наконец, заместителем, а потом и главным редактором журнала ЦК ВЛКСМ „Молодая гвардия“.

Детские и юношеские годы Анатолия Иванова, то есть время, когда человек особенно чуток к ласке, добру, к справедливости и несправедливости в окружающем его мире, когда в безотчетном волнении первые страсти, любовь и ненависть ложатся незаживающими рубцами на сердце, когда душевная сила художника начинала только-только складываться и формироваться, пришлось на трудную военную и послевоенную пору. Все беды той жизни и короткие радости ее коснулись души подростка, оставили в ней свой след.

Этими суровыми обстоятельствами, может быть, и объясняется чрезвычайно обостренная в творчестве писателя чувствительность к горю и страданиям человека. И, может быть, отсюда берет начало никогда не иссякающий оптимизм его героев, их вера в лучшую долю, в справедливость, их убежденность в необходимости борьбы за счастье—черты, ярко проявившиеся как в романе „Повитель“, так и в более поздних произведениях—в романе „Тени исчезают в полдень“, в повести „Жизнь на грешной земле“, в романе „Вечный зов“.

Мотив—время и человек—пронизывает все творчество Анатолия Иванова. С особой полнотой и выразительностью звучит он в „Вечном зове“. Историзм определяет главные достоинства этого романа, в котором панорама народной жизни дана от начала века до шестидесятых годов. Это позволяет судить о романе, как о произведении, продолжающим национальные традиции советской литературы.

Еще в первой книге „Вечного зова“ читатели познакомились с трудными, нередко трагическими судьбами героев—братьев Савельевых, Анны и Агаты, Назарова и Кружилина, Субботина и Алейникова... Роман привлекал реалистически резким столкновением характеров, бескомпромиссной социальной борьбой, лирически-светлыми картинками и авторскими отступлениями. Но достоинства этого произведения полнее раскрылись лишь по завершении работы над ним, когда в сложной идейно-художественной структуре романа определились и движение времени, и психология образов, и философия,—все, что закономерно объясняет поступки и линию поведения героев разных поколений.

Большой удачей писателя следует признать созданные им в „Вечном зове“ цельные, не идеализированные под абстрактную схему образы коммунистов. Их полнокровная жизнь всегда связана с самой необходимой для народа работой: сеять хлеб, возводить заводы, оборонять от врагов Отечество, растить на смену себе новое поколение бойцов и строителей. И такие люди, как секретарь обкома партии Иван Михайлович Субботин, секретарь райкома Поликарп Кружилин, председатель михайловского колхоза Панкрат Назаров, своей жизнью делают в конечном счете бесплодными любые попытки опорочить партию и ее идеалы. Особое место в романе занимают образы Якова Алейникова и Ивана Савельева, чей путь к истинной человечности и гражданственности связан с осознанием и преодолением горьких ошибок, но тем убедительнее правота доверия, с какой они выступают в отношении друг к другу и общество по отношению к ним.

РОМАН- ГАЗЕТА

ОСНОВАНА В 1927 г.

№ 1 (839)
1978



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

АНАТОЛИЙ ИВАНОВ ВЕЧНЫЙ ЗОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Часть четвертая

ОГОНЬ И ПЕПЕЛ

Война шла уже почти два полных года...

14 апреля был ледолом на Громотухе, на реке ворочались, сверкая синими боками, тяжелые, разбухшие от солнца и воды ледяные пластины, толкались, терлись друг о друга, как бараны на узкой дороге, и медленно ползли вниз.

Весь день светило не по-весеннему горячее солнце, в синем, уже очень глубоком небе весело сияли неприступные утесы Звенигоры. Временами то одна, то другая каменная громада вдруг нестерпимо вспыхивала бело-голубым огнем, сыпала во все стороны искрами. Было

Первая книга романа «Вечный зов» была опубликована в №№ 11—12 «Роман-газеты» за 1971 год
© «Москва», 1976 г.

такое впечатление, будто в недрах молчаливой Звенигоры постоянно бушует яростный огонь, горячее пламя проедает каменные стены то в одном, то в другом месте и со свистом вырывается наружу. И лишь из-за расстояния свист этот не слышен.

Поглядывая на эти сверкающие вершины, на залитые солнцем, мокрые еще, пустынные и унылые пашни, по дороге из Шантары в Михайловку ехал председатель райисполкома Иван Иванович Хохлов.

За год с небольшим работы в исполкоме Иван Иванович сильно похудел, одежда на нем болталась, словно была с чужого плеча. Полные когда-то щеки опали, губы одрябли, обесцветились. И лишь круглые глаза смотрели на мир все так же, почти по-ребячьи — весело и неунывающе.

Председатель райисполкома ехал в «Красный колос», чтобы в последний раз уточнить колхозный план хлебосдачи на нынешний год, глубоко в тайне имея мысль — нельзя ли

колхозу этот план на пять-шесть сотен центнеров увеличить. Думать об этом Хохлову было тяжело, ибо он понимал — никакое увеличение хлебопоставок колхозу не под силу. В прошлом году «Красный колос» снова сдал государству хлеба больше всех в районе, вывез на шантарский пункт «Заготзерно» все, до последнего зернышка. И хотя злые языки в районе глухо поговаривали, что не до последнего, умеет, мол, Назаров и на хрен сесть и рыбку съесть, Ивану Ивановичу было известно: на трудодень Михайловским колхозникам прошлой осенью было выдано всего по двести граммов ржаных отходов да немного фасоли. Хохлов своими глазами видел, что люди жили в основном на картошке, а в жалкие крохи серой, как дорожная пыль, муки из отходов подмешивали ту же картошку, семена лебеды, тыквенную мякоть. Хлеб из такой муки получался тяжелым, как кирпич, мокрым, горьким на вкус.

Для окончательного уточнения плана хлебосдачи Иван Иванович мог вызвать Назарова, как и других председателей колхозов, в райисполком, но делать этого не стал — Панкрат Григорьевич за прошедшую зиму сделался очень плох: кашель душил его. Несколько раз Иван Иванович и Кружилин заговаривали с ним об отправке на лечение, но Панкрат лишь невесело усмехался и говорил:

— Какая меня больница теперь вылечит? Вот до лета доживу, барсучье сало буду пить. Ничего, оклемаюсь.

Въехав в Михайловку, Иван Иванович поразился, как скоро обветшала без мужицкой руки деревушка: покосились, а кое-где упали плетни и заборы, прохудились соломенные повети, во многих домах покривились расшатанные ветром ставни. И как за два военных года обносились люди! Все дети бегают в сплошном рванье и босиком, несмотря на то что земля еще очень холодная, а в затененных местах просто стылая.

Иван Иванович несколько раз бывал в Михайловке, многие знали его в лицо, и он знал многих, хотя не мог запомнить всех имен или фамилий. Поздоровался с ним какой-то старик, гревшийся на припеке у завалинки. За плетнями, на огородах, копошились женщины и подростки, очищая землю от прошлогодней ботвы, кое-где огороды уже вскапывали. Некоторые женщины, когда Хохлов проезжая мимо, прекращали работу, выпрямлялись и тоже здоровались.

Взрослые были одеты не лучше, чем дети, — в обтрепанные, измызганные одежонки, в залатанные кофты и юбки. Вся эта обветшалость, эта бедность, почти нищета, зимой не так бросалась в глаза, но стоял снег, сняли люди полушубки да фуфайки, она сразу выперла, мозолила глаза, и ничего нельзя было с ней поделать — за последний год для прода-

жи населению не отпускалось ни метра мануфактуры, ни пары сапог или ботинок, ни килограмма гвоздей. Жалкие крохи товаров, поступающих в район, направлялись в магазины заводского ОРСа. Завод выпускал снаряды и минометы...

Подъезжая к колхозной конюшне, чтобы оставить там лошадь, Иван Иванович обратил внимание, как заполошно кричат играющие на солнечной полянке ребяташки. Он вспомнил, как приветливо поздоровались с ним женщины из-за плетней и сидящий у завалинки старик. Да, одеты все были плохо, но человеческого уныния не чувствовалось, голодных глаз, измощенных от недоедания лиц, как во многих других деревнях, Иван Иванович в Михайловке не заметил. Это одновременно и радовало и порождало неприятную тревогу: а вдруг да в тех разговорах о Назарове есть какая-то доля истины? Вдруг да наловчился этот мужичок утаивать хлеб от государства? В такое-то время!

— Здрасьте! Распрягать, что ли? — услышал Хохлов ломающийся мальчишеский басок и очнулся от задумчивости. Коробок его стоял уже возле конюшни; невысокий, начинающий раздаваться в плечах подросток по-мужицки широкими, крепкими ладонями держал лошадь под уздцы.

— А-а, Володя Савельев! — узнал его сразу по серым глазам, по белесым, давно не стриженным волосам Иван Иванович. — Распрягай и покорми жеребчика... Ну, как тут живете, Володя? Мать как?

— Ничего живем... — Володька отпустил чересседельник, развязал супонь, ловко отстегнул гужи, вывернул дугу, бросил на землю одну оглоблю, другую. — Мать в амбарах с семенами возится. Ничего, все здоровы.

— Отец-то пишет?

— Было письмо на благовещенье.

— Когда, когда?

— Да в конце марта, говорю.

— Ты уже и религиозные праздники знаешь?

— А кто же их в деревне не знает, — проговорил старый Петрован Головлев, выходя из конюшни с вилами в руках. — Здоров живешь, Иваныч!

— Здравствуй, Петрован Никифорыч.

— Письмо на благовещенье по женским приметам — благая весть, значит, — продолжал старик. — И-их, что тут было после этого письма, сколь разговоров! Худо-бедно, мол, а цельный год, до другого благовещенья, ни огонь, никакое железо Ивана теперь не возьмет...

Он прислонил вилы к стенке конюшни, вздохнул:

— Бабе-глупье, а легче им с ихними приметами.

— Здоровье-то как, Петрован Никифорыч?

— А чего нам, бывшим петухам? Курочек теперь не топчем, здоровье и берегается.

Володька Савельев уже распряг лошадь, увел в конюшню и там покрикивал на нее, вдворяя в стойло. По-прежнему пекло солнце, Головлев, присев у стены на корточки, свертывал папиросу.

— Да я вот вижу — у вас все здоровы и сыты, — промолвил Хохлов. — В других колхозах, мало сказать — хуже. Голодают люди.

— В других, — усмехнулся Головлев, слюнявя папиросу. — В других и председатели другие. А наш-то Панкрат Григорыч...

— А что он... ваш? Чем же от других отличается?

— Ну, он что... Сам подышает, а людям не дает. Бабенки наши говорят: скончается — памятник ему поставить надо...

— За что?

— Дык за что человеку памятник ставят? За душу его человеческую.

Иван Иванович зло глянул на палящее солнце и начал старательно, на все пуговицы застегивать истрепанное демисезонное пальто, будто ему стало холодно.

— Душа-то у людей разная бывает, Петрован Никифорович, — промолвил он с горьковатой усмешкой. — То есть человечность эта разное содержание имеет...

Старик поднял голову, поглядел на председателя райисполкома пристально, долгим, пронизывающим взглядом. Глубокие морщины вокруг глаз его были неподвижны, а потом шевельнулись. И он тут же опустил дряблые веки с редкими, выцветшими за долгую жизнь ресницами.

Головлев некоторое время молчал. Он сидел на корточках, выгнув спину, чуть свесив голову в скатавшейся овчинной шапке, обнажив старческую, вдоль и поперек изрезанную глубокими бороздками шею. Глядя на эту шею, на всю фигуру старика, Хохлов вдруг подумал, что Головлев этот не так прост, как кажется с первого взгляда, что пронизательности ему не занимать, он догадался о его подозрении относительно Назарова — и вот обиделся за своего председателя. Но ведь такая обида тоже несправедлива! И Головлев, и многие другие колхозники могут защищать своего председателя, исходя из сугубо эгоистических интересов, именно за то, что тот, как поговаривают, наловчился утаивать от государства какую-то часть урожая и тайно делить ее потом меж колхозниками.

— И за что ему судьбина такая? — качнул головой старик. — Полипов, прежний председатель райисполкома, этак же напраслины всякие возводил на Панкрата! Ты вот, новый начальник, и тоже... Всяким злобным разговорам про Назарова, выходит, веришь?

— Я, Петрован Никифорыч, не то чтобы верю...

— А вот коли дуролом какой над народом стоит, так на него у тебя подозрений нету?

Головлев зло плюнул на недокуренную самокрутку, сунул ее за козырек шапки и поднялся.

— Сытый, говоришь, народ у нас в колхозе? Так это, что ли, в злость тебя кидает? Ты песенки бы, что ли, веселые пел, если бы народ и у нас с голодухи запах? А хлеб для фронта кто сеять бы стал?

— Да ведь сытость сытости розны! — прикрикнул Хохлов и покраснел, чуть отвернулся. Иван Иванович всегда краснел и смущался, когда приходилось резко говорить с людьми. И прибавил уже опять мягко, виновато: — Сытость-то, Никифорыч, по-разному ведь можно, как бы это выразить... обеспечить.

— Вот-вот! — встрепенулся старик. — Именно... Вот что обрисую я те, мил человек... — Он глядел не на Хохлова, а куда-то на Звенигору, на взметнувшиеся в синюю высь неподвижные каменные громады, облитые щедрым солнцем. — Обрисую, значит, а ты начальственной своей мозгой уж пошурупай...

Последние слова неприятно резанули Хохлова, даже не сами слова, а тон, каким они были произнесены. Голос старика был холодный, насмешливый, почти издевательский. Но Иван Иванович смолчал.

— Прошлогод Панкрат особую бухгалтерию завел. Какая семья сколь картошки накопила, сколь тыквов с огорода сняла, морковки там, сколь кадушек огурцов да капусты насолила... Время прошлой осенью, помнишь, тяжелое было, непогодь много стояла. Огородишки-то Панкрат дал людям все ж таки убрать. И завел, значит, этот подсчет. Сена каждому дал накопить для скотины. И опять в свою тетрадку занес — кто сколь копешек поставил али стожков. А для чего?

— Интересная бухгалтерия, — вместо ответа неопределенно сказал Хохлов. — Ну и что же?

— Оно кому интерес, а для него — забота... Сколь в каждой семье рабочих рук и сколь едоков, какая имеется скотинка, сколь курей, утей Панкрат и без записи помнит. Он, зараза, все знает, даже у кого корова али коза сколько молока дает...

— Вот как?

— Эдак! — согласно кивнул Головлев. — А имея, значит, в сознании полную картину, и распоряжается. Кого лишний раз не отпустить с колхозного поля, а кому и дать денек-другой на огороде своем покопаться, как бы на общественной работе тяжело ни было. Кому подводу выделит, скажем, для подвозки дров, а кто и на себе, на ручной тележке привезти может.

— Да... Да, да — размышляя о чем-то, уронил Хохлов.

— Что — да? Одобряешь, что ли? — напрымяк спросил Головлев.

Иван Иванович поглядел на старика, улыбнулся.

— Не знаю, не знаю, Никифорыч... Шурупаю вот... Ну и как люди к такой бухгалтерии относятся?

— Подчиняются люди без прекослова ему... Потому что знают: Панкрат ничего такого зря не скажет, напрасный поступок не произведет. Кто, может, и поворчит, не без того, а в душе-то согласный с председателевым указом... Потому народ и сытый, ежели без хлебушка сытым можно быть. Ведь все, все до зернышка мы сдали прошлогод в фонд обороны. Потому что тоже понятие имеем...

Старик умолк. Молчал и Хохлов. Безмолвие между ними установилось тяжелое, неловкое. Иван Иванович тер кулаком подбородок, а Головлев опять смотрел на гранитные утесы Звенигоры. Потом выдернул из земли вилы, попробовал их зачем-то на вес.

— А ты — с подозрением... От стыда-то куда деться, прости ты господи...

И ушел за конюшню.

Панкрата Назарова Иван Иванович нашел возле колхозных амбаров. В грязном дождевике, с непокрытой головой (фуражку держал в руке) он стоял у брочки, на которую две молодые женщины грузили чем-то набитые мешки. Женщины вытаскивали их из черного проема амбарных дверей и легко забрасывали в повозку.

Обернувшись на звук шагов, Назаров чуть шевельнул спутанными, жесткими, как прошлогодняя стерня, бровями, прежде чем поздороваться, прошелся взглядом по Хохлову с головы до ног, будто неодобрительно оценил его наряд. И опять стал смотреть, как грузят мешки.

Женщины, обе чернявые, стройные и, несмотря на замызганные юбки и пыльные кофточки, очень привлекательные, оказались не местные, из эвакуированных. У одной была коса, другая острижена коротко, не по-деревенски. Поздоровавшись с Хохловым, они почему-то глянули друг на друга, хохотнули, убежали в амбар и долго не появлялись.

— Спать там разлеглись? — прикрикнул Назаров.

Женщины тотчас появились, неся очередной мешок. Обе виновато глядели вниз, под ноги, губы их были крепко поджаты. Чувствовалось, обеим опять хочется рассмеяться.

— Кобылы, язвы их... Все ржут и ржут, спасу нет, — проговорил Назаров, когда женщины опять скрылись в амбаре. — Кровь у них

колобродит, ты не обижайся. Начнем сев — кровь-то утихомирится, поостынет.

— Ничего, ничего, — промолвил Хохлов.

Панкрат Назаров был так худ, что дальше, казалось, худеть и некуда. Некуда дальше было ему и чернеть — кожа на шее, на лице и даже на руках давно сделалась землистого цвета. Только когда его душил кашель, лицо будто наливалось сукровицей, неприятно багровело.

Припомнив, как багровеет при кашле лицо Назарова, Хохлов почувствовал свою вину перед этим человеком. «От стыда-то куда деться, прости ты господи», — сами собой зазвенели в голове слова Головлева. «Это действительно, действительно... — подумал Хохлов. — Ударит же в голову...»

Опять женщины вынесли из амбара и забросили на брочку очередной мешок. Они были молоды, каждая переполнена нерастраченной женской силой. А Панкрат Назаров стар, болен, жизненные соки из него уходили. Присутствие двух молодых женщин только подчеркивало контраст между молодостью и старостью, бытием и смертью.

Голосом хриловатым, надорванным многолетним кашлем Назаров промолвил:

— Последние отходы замели. На мельницу отправляем.

— Покажите, — тоже хрипло сказал Хохлов.

Он потребовал это не потому, что в чем-то еще сомневался. Нет, Иван Иванович просто хотел посмотреть на эти зерновые отходы.

— Софья, Татьяна, развяжите.

Когда женщины развязали мешок, Иван Иванович сунул туда руку, взял горсть отходов. То была смесь семян самых разнообразных сорняков — овсюга, сурепки, мышиного горошка и щуплых ржаных зерен... Из этой-то смеси и получалась та серая, как дорожная пыль, мука, из которой пекли прогорклый хлеб.

— Для посевной берег, — кивнул председатель колхоза на груженую брочку. — Мельница, слава богу, своя... Перед войной еще начали строить на таежной речке. Не был у нас на мельнице-то?

— Нет...

— Загляни как-нибудь. Пруд там богатый получился, красивый. Покуда комарья нет — просто санаторий... Ну, всё, что ли?

— Всё, — сказали обе женщины разом.

— Тогда с богом. Да смотрите, там мосток в распадке расшатало нынче...

Женщины взобрались на брочку, поехали. Они сидели рядышком, подставляя солнцу спины и плечи, и было теперь в их фигурах что-то жалкое, сиротливое. Председатель колхоза и Хохлов провожали их взглядами, пока брочка не скрылась. А когда скрылась, Назаров проговорил:

— В колхозе есть еще четыре мешка гороховой муки. Тоже сберег на посевную. Смешаем с этим... — Назаров кивнул в сторону, где скрылась бричка. — И лепешки печь будем. Ничего... Айда к семенному амбару, глянцем, что там...

Семенной амбар стоял прямо на току. Под навесом стучала веялка, две женщины крутили ее, а третья большой железной плицей засыпала пшеницу. В одной из крутильщиц Иван Иванович узнал Агату Савельеву, а зерно насыпала, легко сгибаясь и разгибаясь, жена Назарова Екатерина Ефимовна. Лет ей было разве чуть поменьше, чем Панкрату, время избородило морщинами ее шею, щеки, все лицо, лишь глаза были удивительно ясные, свежие, как обмытые речной волной коричневые камешки. Среднего роста, худенькая, с покатыми плечами, она со стороны всегда сходила за молоденькую девушку, и лишь вблизи каждый убеждался, как она немолода...

Когда подошли Хохлов с Назаровым, Екатерина Ефимовна обшаривающим взглядом скользнула по мужу, но сказать ничего не сказала, только кивнула на приветствие Ивана Ивановича и отвернулась. Назаров же будто не заметил ни жены, ни Агаты — никого, присел перед горкой пшеницы, взял горсть зерна, долго пересыпал из ладони в ладонь, будто играл. Наконец тяжело разогнулся.

— Решили еще раз перевеять, отбить поухдевшие за зиму зернышки. И сеять-то ее, пшеницу, в наших местах не надо бы. Да вот... Ладно, сотню-другую гектаров поседем... Айда в контору, что ль, для разговора.

Поднялся и пошел, насупившийся, сердитый, не обращая больше ни на кого внимания — ни на встречавшихся колхозников, ни на Ивана Ивановича.

В конторе Назаров сел за свой скрипучий стол, пригладил обеими ладонями торчавшие по вискам волосы, спросил:

— Громотуха, говорят, нынче пошла?

— Вскрылась под утро.

— Слава те господи. Полая вода и память о зиме уносит. Как там, на фронте-то?

— Да что на фронте... — Хохлов присел на деревянный диванчик у окошка. — Идут бои под Новороссийском, было сегодня утром сообщение. Двигаются наши к Крыму. А так, в общем, тихо. Не читаете разве газет, не слушаете радио?

— Читаем, как же... когда время есть, — усмехнулся Назаров. — Да только что сейчас грому ожидать? Это попозже начнется, в июне, может. Да и то к концу.

— Да? — с любопытством спросил Хохлов. — Именно — в июне? Откуда же вы знаете?

— А чего тут знать? Война — это навреде нашей крестьянской страды, без поры да без подготовки не начнешь. Мы вон и то... Сам ты видел — последние отходы сегодня заскребли, чтоб какой ни на есть хлеб иметь для посевщиков. Все ресурсы свои, словом, кинули. А страна-то поболее, чем колхоз. Да после Сталинграда сообразоваться надо. Легко, что ли, он дался... Этот, Семка Савельев, сын Федора, там, говорят, воевал? — неожиданно спросил Назаров. — Анна хвасталась, орден какой-то ему дали.

— Медаль «За отвагу».

— Ишь ты, тихоня... — проговорил Назаров еле слышно, спрятав под густыми бровями глаза. — Танком командует вроде бы?

— Механик-водитель он. Жена мне его говорила. Позавчера письмо от него получила.

— Энта... Наташка-то? Так ее, кажись, зовут? Что эвакуирована была?

— Да, да...

— Ага... Главное — живой.

Голос старого председателя дрогнул, губы затряслись, и Назаров прикрыл их, прижал ладонью. «Сына вспомнил», — подумал Иван Иванович и, подавив в себе вздох, опустил глаза.

О сыне Назарова Максиме до сих пор не было ни слуху ни духу.

Поднял голову Иван Иванович, когда председатель опять глуховато заговорил:

— Мы вот страду заканчиваем всегда на полном издыхе. Оглядишься кругом — боже ты мой, ить и люди, и скотина, и машины бездыханные изнемогли. Зато последний гектар убрали, последнюю лунку картошки выкопали. И тут только страх приходит — да как это сил еще хватило? А?

— Да, да, — встрепенулся Хохлов. — Я, собственно, очень хорошо это знаю...

— Нет, ты куда не знаешь, — нахмурился Назаров. — Ты пока умом только можешь понять. А своей шкурой все это почувствуешь, когда страды три-четыре проведешь сам. Не обижайся уж...

— Что вы, что вы! Это вы правильно, — согласился Хохлов, действительно несколько не чувствуя себя обиженным.

— Да как еще сил хватило! — повторил Назаров. — Оглядишься — и тут же сразу видишь: там прореха, там вовсе дыра. Начинаешь латать... Так оно и в государстве. Не-ет, никак, я думаю, ранее чем к середине лета не собратсь нам для такого же удара, как в Сталинграде. Надо и новые полки собрать, обучить, и всякого вооружения накопить — и пушек, и самолетов, и танков этих, на которых Семка воюет. Подвезти все это к фронту — и то время надо. А ведь их надо еще и сделать... Значит, ты насчет прибавки нам плана хлебосдачи приехал?

Переход Назаров сделал такой неожиданный, что Иван Иванович вздрогнул.

— Да, собственно... — Он секунду, другую и третью глядел прямо в глаза председателю. И тот не отводил взгляда, лишь зеленватые глаза его светились сухо, невесело, в них стояла какая-то боль. — Район никак, никак не выходит с планом, если вам... вашему колхозу не прибавить.

— Сколько решили прибавить?

— Многовато. Я понимаю, что многовато. Но что же делать? Шестьсот центнеров.

Ни на лице, ни в глазах Назарова не отразилось ничего, они поблескивали все так же холодновато, как блестят омытые утренней росой зеленые листья.

— Всем прибавляем, — вымолвил Хохлов, чувствуя, что этот аргумент звучит неубедительно.

— Я знаю, — спокойно произнес Назаров. — Мы сдадим эти добавочные шестьсот центнеров.

Иван Иванович ждал чего угодно, даже согласия на добавочный план. Не ожидал он лишь, что Назаров произнесет эти слова так буднично, просто и спокойно.

— Панкрат Григорьевич! — Хохлов невольно встал, шагнул к столу. — Да если ты это сделаешь... Эти добавочные шестьсот центнеров... Мы ведь понимаем в районе, какой у вас план! Если сделаешь, мы тебя... Я буду первый ставить вопрос о награждении тебя орденом!

Назаров выслушал это угрюмо, будто только теперь и зашла речь об этих дополнительных сотнях центнеров хлеба, но не перебил. Однако Хохлов, заметив эту угрюмость, и сам смолк.

— Это, Иван Иванович, не я сделаю, — проговорил Назаров. — Это люди сделают... Вон те бабенки, Татьяна с Софьей, которых ты видел. Те, что семена провеивают, те, которые сейчас на своих огородах копошатся. Они будут хлестаться сутками на посевах, на прополке, на жатве, питаясь лепешками из отходов да картошкой... Это им все ордена положены.

Иван Иванович Хохлов всегда чувствовал себя перед Назаровым скованно. Он называл его на «вы», как, впрочем, и всех других. Назаров обращался к нему всегда на «ты», и Иван Иванович считал это совершенно естественным. Но сейчас он ощутил себя перед этим старым, больным человеком особенно маленьким и беспомощным.

— Да, да, конечно! — воскликнул он, краснея от охватившего его смущения. — И их тоже представим! Будем требовать, чтобы колхоз целиком наградили!

— Ну, попробуйте, — усмехнулся Назаров, качнул головой. — А так-то ты, Иван Иванович, человек душевный.

Светлый апрельский день еще не кончился, но клонился уже к вечеру, когда Хохлов и Назаров вместе подошли к конюшне. Тот же Володька Савельев обомлел, запряг лошадей и, сделав свое дело, молча пошел прочь.

— Погоди-ка... — остановил его Иван Иванович. — А ты почему все еще здесь? Уроки у тебя есть на завтра? Или уже приготовил?

Парнишка опустил лохматую голову, стал глядеть на свои растоптанные, разбитые сапоги.

— А я не учусь больше.

— Как же?

— Так... — пожал плечами Володька и ушел, по-прежнему глядя куда-то вниз.

Хохлов взглянул на председателя колхоза, тот, подбирая вожжи, скривил в угрюмой усмешке губы.

— До семилетки мать его дотянула... Я все удивлялся — двужилная, что ли, она? Прошлый год надо было в Шантару его отправлять — у нас тут семилетка всего только. Да на какие шиши?

Назаров тяжело пошевелил бровями и умолк.

— Я понимаю, понимаю, — вздохнул Хохлов.

— Оно всё мы понимаем. Да в шкуре ее материнской никто не был... — Председатель сел на дрожки, тронул вожжи. Хохлов забрался в свой плетеный коробок и поехал следом.

На выезде из деревни, возле жердяной изгороди, за которой уныло торчала хилая избушка с прогнившей крышей, председатель натянул вожжи, прокричал:

— Эй! Антонина! Будет прохладиться. Живо грузи свои шмутки и чтоб через час в бригаде. По дороге к речке подверни.

— Поняла, — ответил Назарову откуда-то женский голос. — Счас я, мигом.

Оставив у плетня свои дрожки, Панкрат догнал коробок Хохлова. С легкостью, которой Иван Иванович не ожидал от него, на ходу вскочил в коробок, пояснил:

— Повариха тут живет, Тонька. Сиротой с пяти лет так и выросла, горемыка. Я до своротка во вторую бригаду доеду с тобой...

Жидкий, еще не набравший пока запаха оттаявшей земли воздух заметно похолодал и стал, кажется, еще жиже. По высокому пустынному небу плыл огромный журавлиный клин, оглашая тихие, не проснувшиеся еще поля тоскливым стоном. Другая журавлиная стая летела метрах в двухстах от дороги, по которой ехали молчком Хохлов и Назаров. Она спускалась все ниже, тяжелые птицы медленно и устало махали крыльями, заходящее солнце отвечивало на их длинные, вытянутые назад ноги.

— Голод не тетка, — проговорил Назаров, наблюдая из-под насупленных бровей за спускающимися птицами. — Ишь, даже людей не боятся... Всю ночь кормиться будут.

— Чего они на этом поле найдут?

Старый председатель пожал плечами.

— Журавель, он, как китаец. Где зернышко, где червячок какой — и сыт... Нынче много журавля будет. Пострелять бы можно, да жалко.

— Для чего пострелять?

— Для чего, — усмехнулся Назаров. — В старину мужики говаривали: журавель не каша, пища не наша. Раньше журавлятину цари жрали, князья да баре всякие на своих пирах. Теперь и забыли, что птица эта съедобная. А я вот помню, да... жалко. И никому не говорю, а то найдется много стрельцов. А птица больно красивая — и землю, и небо украшает. Пуцай живет.

Говоря это, Панкрат все ежился и ежился.

— Знобит? — спросил Хохлов, думая о поразивших его чем-то рассуждениях Назарова о журавлях.

— Ништо... Это для нас, чахоточников, весной обыкновенно. Токмо бы весну пересилить, а там уже, считай, до следующей землю топтать будем.

Иван Иванович вспомнил, как безропотно согласился Панкрат на добавочные шестьсот центнеров хлеба к годовому плану, не высказав абсолютно никаких эмоций, и в груди у Хохлова что-то размягчилось, сердце тоскливо защемило. Ему захотелось вдруг сказать этому старому и больному человеку какие-то теплые и благодарные слова, но таких слов у него не было. И кроме того, он понимал, чувствовал, что любые слова будут плоскими, неуклюжими и что они только вызовут у Назарова холодноватую усмешку. Поэтому он лишь отвернулся и кашлянул.

— Что? — сразу же открыл глаза Панкрат. — Свороток уж?

— Далеко еще.

— Что-то в дрему часто покланивать меня стало. Ночью сон не берет, а днем...

Несколько минут еще проехали молчком.

— Каково, Иван Иванович, в районной должности-то ходить? — спросил вдруг Назаров. — Попривык?

— Нет, Панкрат Григорьевич, тяжело... и не умею, — откровенно сказал Хохлов. — Присился было у Кружилина на завод, обратно...

И, умолкнув, шумно задышал.

— Ну?

Иван Иванович, чувствуя, что краснеет, опустил глаза.

— Никогда не видел его таким. Как на мальчишку накричал...

— А ты его тоже пойми, — промолвил Панкрат не сразу. — Какое ярмо у него на шее. С кем-то везти надо.

— Я понимаю... пытаюсь, лучше сказать... — Хохлов вздохнул. — Я, Панкрат Григорьевич, человек не слабый. И не пессимист,

знаю, чем солнце пахнет... Но я, как бы тебе выразить? До войны, бывало, всякий цветок, мотылек, красивая бабочка там в телячий восторг меня приводили. И вот — война... Такое сразу свалилось! Дочка погибла, жена до сих пор... Так — ничего, здорова. А ночью иногда прислушаюсь — плачет. Да... И кругом — горе людское, такие трудности! Вот завод этот... Вот люди в селе вижу, как бьются. Ну, кажется, нет выхода, все бесполезно, ничего не сумеем мы сделать... А он, завод, встал и задымил! Чтоб он дымил, дышал, Антон Савельев на гибель, на смерть пошел сознательно. И ты вот — даешь ведь эти добавочные шестьсот центнеров... И я пытаюсь понять что-то, чего раньше, чувствую, не понимал. Отчего оно все это? Чем объясняется?

В синем апрельском небе не было больше журавлей. Куда ни погляди, ничего в нем не было, кроме угрюмых и темных сейчас утесов Эвенигоры, которые с одного края подпирали это бескрайнее небо, врезааясь в него глубоко, в самую синь, да редких облаков, плавающих выше каменных громад.

Председатель поглядел из-под насупленных бровей на темные утесы, на светлые облака над ними. И на длинную речь Хохлова ничего не ответил. Лишь минут через десять проговорил, мотнув головой в сторону:

— Там вот рыбачки мои должны быть. Я наказывал, чтоб не прозевали, как Громотуха вскроется... Может, глянем, подъедем? Ежели тебе не к спеху в Шантару-то?

— Какие рыбачки? — спросил Хохлов, немного удивленный.

— Анна Савельева с бабенками.

— Мм-м... Любопытно...

Назаров взял у Хохлова вожжи, и коробок покати к реке по каменистому некрутому косогорчику, с хрустом подминая и разрывая колесами прошлогодние, черные и крепкие, как проволока, пучки ковыльных струн. Высохшие стебли еще упрямо торчали, не сложенные осенними ветрами, не примятые к земле снегом, а ковыльные гнезда уже вновь приметно зеленели, из-под старых, грязных и седых стеблей выметывались тоненькие бледно-зеленые ниточки, тянулись вверх, к свету, к солнцу. Удивительная она, эта степная трава — ковыль, думал Иван Иванович Хохлов. Зачем она на земле? Не ест ее скот, не клюют ее семена птицы, не использует для своих нужд человек. Лишь поется о ней в грустных песнях о расставаниях и невозвратных утратах. Растет она обычно на бросовых сухих и каменистых, как этот косогорчик, землях, и грустно бывает смотреть на созревшее ковыльное поле — пустынное оно и унылое, не звенят над ним человеческие голоса, не поют птицы, тоскливо мотаются под ветром седые метелки, из конца в конец катятся бесшумные, белесые и какие-то

Безжизненные волны. Ковыльное поле всегда рождало у Ивана Ивановича невеселые мысли о бренности и ограниченности человеческого существования, и он, хотя и понимал, что силы и время человека на земле не беспредельны, примириться с этим не хотел и думать об этом не желал. Ковыльное же поле заставляло думать о таких вещах, и за это он не любил древнюю траву.

— Анна Савельева... в колхоз, значит, вступила? — спросил он председателя, отвлекаясь от своих дум.

— Получилось так, — кивнул Назаров. — И хорошо.

Хохлов припомнил, что муж Анны, Федор Савельев, ушел на фронт еще в прошлом году. А нынешней зимой, кажется в феврале, она пришла в райком и попросила Кружилина посодействовать, чтобы ее отпустили с завода, поскольку и отдел кадров, и директор завода Нечаев, куда она обращалась, в этом ей отказали. Хохлов как раз находился в кабинете секретаря райкома и был свидетелем их разговора.

— Ну, отпустим... — проговорил Кружилин. — А как жить будешь? На что?

— В Михайловку свою поеду. В колхоз.

— А дети? Им учиться надо...

— Там есть семилетка. Андрейку с собой возьму. А Димка уже большой, он в Шантаре, когда учеба, жить будет. Дом свой, что ему?

— Он в восьмой, кажется, ходит? — спросил Кружилин.

— Ага...

Анна стояла тогда у стола в его кабинете, сдвинув длинные свои брови и глядя куда-то вниз, в угол. На ней была рабочая мужская тужурка, разбитые валенки, старая суконная юбка, в руках она держала большие бараньи рукавицы. Но все эти грубые вещи странным образом подчеркивали ее женственность и свежесть. Сколько ей лет, Хохлов не знал, по виду дал бы тридцать два — тридцать пять, но морщины вокруг глаз и щедрая проседь в выбившейся из-под платка пряди волос говорили, что ей все-таки больше.

— Ага, в восьмом Димка, — повторила Анна с каким-то облегченным вздохом.

— А Федор так и не пишет? — опять спросил Кружилин.

— Нет, — ответила Анна, почему-то подняла большие серые глаза на Хохлова и словно ему одному пояснила: — Как уехал на фронт — ни одного письма не написал.

В глазах ее не было той застывшей безнадежности и тупого страха, какой стоит у жен, чьи мужья долго не подают о себе вестей с войны. В глазах этих была просто задумчивая грусть.

— Ну, а Наташа... невестка твоя? — проговорил Кружилин. — У нее грудной ребенок.

— Она у бабки Акулины живет. Я звала Наталью со мной жить, она отказалась. У Акулины, говорит, ребенку лучше. Да и правда, я же все на работе...

Анна опять опустила глаза, стала смотреть в угол.

— А за Димкой Марья Фирсовна приглядывать будет. Эвакуированная, что у нас живет. Она славная... Вы позвоните Нечаеву на завод. Ну... надо мне, не могу я больше тут.

— Хорошо, иди, Анна, я позвоню, — сказал тогда Кружилин.

Река открылась неожиданно — огромная, бесконечная, черная, в белом ледяном крошеве по бокам. Ледяные глыбы в беспорядке громоздились на берегу, некоторые стояли торчком, иные, пробороздив глубоко гальку и мерзлую землю, истаявали сейчас далеко на берегу, стекали светлыми ручейками обратно в реку. Глядя на огромные ледяные обломки, Хохлов попытался представить себе ту чудовищную силу, которая взломала вдруг метровой толщины ледяной панцирь, раскрошила его на тысячи и тысячи кусков, отчего на реке сразу стало тесно, поволокла обломки эти вниз, начала выталкивать на берег...

— Удивительно... Какая силища! Невообразимо! А вы знаете, Панкрат Григорьевич, я никогда не видел, собственно, ледохода...

— Напрасно, — почему-то осуждающе сказал Назаров.

— Там, где я жил, большой реки не было... Где ж ваши рыбачки?

— Вот они.

Метрах в ста от того места, куда подъехали Хохлов с Назаровым, чернели среди ледяных глыб несколько фигур. И хотя они все были в брюках, а некоторые в ушанках, в них без труда различались женщины. Две из них взмахивали длинными шестами, на концах которых были укреплены треугольные сетчатые черпаки, погружали эти черпаки в воду, шарили ими где-то под льдинами, вытаскивали и высыпали из черпаков в ведро мелкую рыбешку. Когда высыпали, рыба мелочь ослепительно серебрилась под вечерними лучами солнца.

— Поразительно! — пробормотал Хохлов. — Так просто?

— А что хитрого? Испокон веков у нас тут рыбу саком черпают. Почистим вот, засолим... Из соленой рыбы суп посевицам варить будем. Здравствуйте, бабы!

— Здравствуйте, — сказала Анна Савельева за всех, дуя на красные от ледяной воды руки, поправила сбившийся на затылок платок и снова закинула сак между льдин.

На берегу плоскими мокрыми лепешками валялось несколько мешков, наполненных рыбой.

Анна, тяжело перегнувшись, выволокла сак из-под льдины, подержала на весу, пока стечет

вода, и высыпала в широкое ведро несколько десятков чебаков и окунишек.

— Поразительно, — опять произнес Хохлов. — Будто из полного корыта...

— Вся рыбешка сейчас у берегов. Надохлась за зиму без воздуха. А вот сейчас вместе с водой, которая с тающих льдин льется, голимый кислород в речку течет. Рыбешка его и ловит... Тоже живая тварь, дышать хочет. Тут-то ее только и черпай. Растают льдины, и рыбалка такая кончится. Вглубь рыба уйдет.

Сбоку застучали колеса, к берегу подъехали председательские дрожки. На них среди всяких узлов и мешков сидела та самая повариха Тоня, о которой недавно говорил Назаров. Выбрав наиболее пологий спуск, она съехала прямо на прибрежную гальку, натянула вожжи и крикнула:

— Грузите, что ли, улов ваш.

— Давайте, бабы, — сказал Назаров. — И кончайте, хватит. Промокли все.

Женщины беспрекословно принялись складывать на дрожки мокрые и тяжелые мешки, потом повариха тронула подводу, широко, помужски шагая сбоку. Рыбачки двинулись следом.

Назаров и Хохлов остались на берегу одни. Председатель колхоза долго стоял спиной к берегу, смотрел на черный неподвижный лоскут воды между двух огромных зеленоватых льдин, торчащих из реки. Бока льдин отражались в воде. Еще отражались там, плавая далеко внизу, на глубине, два маленьких облачка и кусочек светло-синего неба.

Где-то звенела тоненько и тоскливо водяная струйка, стекая в реку.

— А ночью, когда там звезды, аж мороз по коже... — проговорил вдруг тихо Назаров. — Умом-то знаешь, что по колено тут, а кажется... Жутко, а глядеть хочется. Думаешь: батюшки, сколько у бога великого да вечного! И мы вот, людишки маленькие, на земле зачем-то... Зачем? А?

Назаров повернулся к Ивану Ивановичу Хохлову. Взгляд старого председателя был до того суров и холоден, что Хохлов растерялся.

— Вопрос... — промолвил он с невеселой усмешкой.

— Да, вопрос. Вот и еще у меня один есть. — И вдруг Назаров усмехнулся. — Ладно, после я задам его тебе. А сейчас — поедем.

Он повернулся и пошел к подводе, хрустя галькой. Шел он, сильно ссутулившись, горбом выгнув спину, обтянутую брезентовым дождевиком, медленно и широко махая длинными и тяжелыми, полусогнутыми в локтях руками.

Когда сели в коробок, Назаров молча взял вожжи, тронул лошадь. Проехали косогорчиком с торчащими пучками прошлогоднего ковыля, выбрались на Шантарский тракт. Вскоре так же молча, ничего не объясняя, Назаров повер-

нул с тракта на проселок, ведущий во вторую бригаду. Лишь когда подъезжали к бригаде, сказал:

— С обеда не евши ты... Накормим ухой из свежей рыбки и отправим восвояси.

Вторая бригада колхоза «Красный колос» Хохлову знакома — прошлой осенью он был здесь несколько раз. За зиму ничего тут не изменилось — те же два жилых дома, один для полеводов, другой для животноводов, тот же почерневший от времени амбар, хозяйственный сарай, стряпка, худенький коровник, наскоро построенный осенью из жердей и обмазанный глиной, пригон для скота и большая бревенчатая рига. Только рига осенью была под толстой соломенной крышей, а сейчас сверкала под заходящим солнцем голыми ребрами стропил.

— Зимой крышу-то скоту скормили, — сказал председатель колхоза, хотя Иван Иванович и сам об этом знал. — Осенью заново покроем. Ну, сейчас, я насчет ужина... А ты покуль в дом ступай, отдохни. Али с народом побеседуй.

В бригаде было не очень многолюдно. Возле раскрытых дверей амбара стояла бричка, груженная туго набитыми мешками. Две женщины снимали мешки с брички и ставили на весы. Совсем молоденькая девушка, сильно конопатая, в пестром, сбившемся на затылок легком платочке, в мужском пиджаке, старательно взвешивала мешки, слюнявила огрызок химического карандаша и большими цифрами помечала вес в растрепанной тетрадке.

— Семена? — спросил Хохлов, подойдя к амбару и поздоровавшись.

— Ну, — утвердительно кивнула одна из женщин, вытирая ладонью пот с лица. — Яровые. — И поволокла мешок в амбар.

— С центральной усадьбы возим, — пояснила конопатая девушка...

— Простудитесь. Что ж вы так легко одеты? — задал Хохлов ненужный вопрос.

— А баба весной — всю одежду долой, — немедленно донеслось с брички. — Чтоб всякий мужик сразу глаз положил.

Хохлов, как всегда в таких случаях, смутился. Вышедшая из амбара женщина, помоложе и постройнее той, что стояла у брички, оглядела Ивана Ивановича с ног до головы и безжалостно пояснила:

— Да мы это не про тебя. Какой ты мужик? Ты — начальник, тебе нельзя. Мы вон про деда.

Женщина кивнула в сторону хозяйственного сарая, где щупленький старичок починал тележное колесо. Хохлов оглянулся и сразу же узнал в нем бывшего райкомовского конюха Евсея Галаншина.

— И как он, дед, кладет?

— А как же! Он дед-то дед, да цены ему нет. Довольны мы... Жалко, что единственный

он у нас мужик на всю бригаду. Был бы еще один, мы бы и вовсе горюшка не знали.

Конопатая девушка тоненько прыснула и зажала кулачком рот. Иван Иванович потоптался у весов, усмехнулся неловко и отошел к старику.

Евсей Галаншин еще прошлой осенью попросил расчет у Кружиллина.

— Кости ноют, Поликарп, в землюшку родимую, кажись, запросились, — сказал он, почти с головой утонув в мягком кожаном кресле перед секретарским столом. — Поконюшил я у тебя, отпусти... Где родился, там и помереть хочу. Своим паром кости свои хочу туда донести.

— Нехорошие мысли у тебя, Евсей Фомич, — качнул совсем поседевшей головой секретарь райкома. — Зачем раньше времени? Побегаешь еще по земле.

— Походим, что ж, сколько бог даст, — сразу согласился Евсей. — Но конюшить уж тяжко. А там, у Панкрата, где посторожу, где поддержку... А ему все в помощь.

Переехав в колхоз, он поселился во второй бригаде, облюбовав себе каморку в одном из домов, сам сложил там печь с большой лежанкой, помогал животноводам — нынешней зимой держали тут полторы сотни коров, — следил, чтобы бабенки не оставили где по неосторожности или с усталости огня.

— Ну, бабы у вас, — сказал Хохлов Галаншину, подходя. — Прямо краску теперь с лица не отмою. Здравствуйте, Евсей Фомич.

— Здорово живешь, Иван Иваныч... Бабенки — что? Им хоть словами нагуляться... — Дед Евсей отложил молоток, которым натягивал железную шину на колесо. — Ну, что там у вас в райкоме-исполкоме?

— Что ж... К севу вот готовимся.

— Поликарп Матвеевич что там? Тоже, как ты, с тела сошел?

— Разве я похудел?

— Поправился!

— Да... Не знаю... Мы каждый день видимся. Оно потому и не замечаем, может.

— Да ты садись вот на чурбачок. В ногах правды нету.

Хохлов сел, окинул взглядом бригадные обветшалые строения... Женщины разгрузили бричку и теперь закрывали широкие двери амбара. Возле стряпки несколько женщин чистили и потрошили рыбу, мелькала повариха, и один раз появился сам Панкрат Назаров, что-то сказал Анне Савельевой и скрылся.

— Про сына-то Поликарпа, Василия, известно что, нет?

— Вроде ничего не известно. Погиб, наверное.

— Ну да, ну да... Может, и пророс уже где ковыльком-горюшном.

Иван Иванович вздрогнул.

— Как вы сказали?

— Может, говорю, где уже новая сединка по нем, по Василию, на земле пробилась, — грустно вымолвил старик. — Горе да утраты голову человеку забеливают. И на лике земли то же происходит. Все мы у нее сыны да дочки. Всех жалко ей.

— Удивительно...

— Чего?

— Да вот то, что говорите вы, Евсей Фомич.

— А-а... Это так, — кивнул старик. — Это отец мой...

Дед Евсей на полуслове умолк, стал смотреть куда-то перед собой — не на землю и не на небо, а так, в пространство, и в глазах его старых была какая-то дума, грустная и вековая. Иван Иванович вдруг почувствовал, что нельзя, не надо прерывать эту его думу ни словом, ни движением, потому что будет это кощунственно. И сидел, не шевелясь...

Наконец взгляд старика медленно притух, он опустил глаза на недоделанное колесо, потрогал его зачем-то усохшей рукой и жиденько вздохнул.

— Да, вишь, какое дело. Отец мой, помню, все старинную песню певал. А сам ее от отца своего, грит, слыхивал, то есть, стало быть, от моего деда. Каков он, дед мой, был, не знаю, не видывал его. С самим генералом Суворовым, отец мой рассказывал, воевал... На турка ходил с ним, на поляка, на француза... Сто двух годов помер... Ну, да все мы долгожители. Отец тоже чуть не под сто годов скончался. И я вот... не обидел бог годками-то. Песни той я по малолетству да по дурости не запомнил. А вот как сейчас слышится — пелось в ней об тяжком вражеском иге на русской земле. Конями ее топтали, огнем жгли... Людей секли да резали, в слезах народ захлебывался. И поднялся, значит, он на битву небывалую, да... Вышли воины на бескрайнее степное поле, все разноцветьем покрытое. И начали с басурманами биться. И полегли, почитай, все, но врагов побили, а остальных вспять повернули, да погнали, да погнали... Ну, после вернулись на потоптанное да разрытое копытами поле. Врагов мертвых пособирали да в речку кидали, что во вражий стан текла. Получайте, мол... А своих похоронили. Могильных холмиков не стали делать, разсыпали все поле, чтоб, значит, опять ромашки на нем выросли, другие цветы всякие, чтоб испокон веку было оно все так же солнечным брызгом обсыпано... Но чудная трава какая-то стала прорастать на этом поле — жесткая, стебlistая. А под осень каждая травинка выбросила белые волосы. Поседело, значит, все поле от горюшка... Вот так. И с тех пор повелось — погибнет человек за землю, в нее же и ляжет... И вырастет где-то

еще одна седая травинка, стоит да плачет под ветром. Так в песне той поется...

Все это старик говорил негромко и ровно, а в груди Ивана Ивановича что-то возникло щемящее, поднималось к горлу, закладывало его.

— Плакал мой отец, когда пел эту песню. Мне бы, дураку, слова-то все заучить. Счас бы и сообщил их тебе и другим. А я... Так вот и теряем мы свои песни.

Солнце уже село, скрылось с глаз за пологим увалом и прощальным веером било из-за него по всему небу. Солнечные лучи еще захватывали голые верхушки деревьев за амбаром, окрашивали их в красно-медный цвет почему-то все сильнее и сильнее. Чудилось, что тонкие верхушки берез и осин раскаляются, как перепутанные мотки проволоки, сунутые в кузнечный горн, и сейчас вспыхнут злым и торопливым пламенем.

Глухо застучали по земле колеса брички — женщины и конопатая девчонка куда-то поехали, может быть, за новой партией семян. Старый Евсей поглядел им вслед и, отрешаясь от своих дум, вздохнул:

— Сколь работы им, сердешным, после войны будет.

— Кому?

— Бабам-то. Жадно рожать после войны зачнут.

Иван Иванович медленно повернул к старику голову. Еще не очнувшись как-то от рассказа про необыкновенную песню, он поразился даже не этим необычным словам — «жадно рожать», а тому обстоятельству, что для женщин это будет работа, много работы!

— Что так смотришь?

— Это ты... правильно, пожалуй.

— Причем тут правота-неправота? От бога так али, по-теперешнему, от природы... Седых ковылей на матушке-земле все прибавляется, но и народ тоже убытку не терпит. И все так в природе под солнцем. Вот, в пример возьми хотя бы, ну, сказать, лес, поле... Рана на человеке как ни болит, а затягивается, рубцуются. И на лесном пожарище тоже... Через первую же зиму всякие елки-метелки проклевываются. И тянутся к солнышку, тянутся, крепнут помаленьку... Али проплешину от костра на лугу возьми. Обуглит огонь землю вглубь на полсажени, бывает, сгорит все там, всякие семена и травяные корни. И год чернеет эта проплешина, и два... А потом начинает затягивать с краев травкой... И, глядишь, затянулась, кучерявится зелень-то как ни в чем не бывало. Так и в народе. И бабам тут — дело-ов!

Из кухни вышла повариха Тоня с тряпкой в руках, вытерла этой тряпкой лицо и направилась прямо к хозяйственному сараю. Подойдя, она остановилась шагах в пяти — крупная, налитая ранней женской спелостью, с красным

лицом — не то от жара плиты, не то от смущения.

— Я сготовила. Пойдемте ужинать, — проговорила она, торопливо скользнув по Хохлову глазами, и сразу же отвернулась.

— Спасибо, Тоня. Сейчас.

Она стояла боком, прижимая тряпку к тяжелым буграм груди, точно стеснялась их и хотела прикрыть. Хохлов видел эту девушку не раз, но все как-то издали. Черные глаза ее, как он считал, ничего никогда не выражали, кроме привычного равнодушия ко всему миру. А сейчас он разглядел вдруг совсем иное. Во-первых, глаза у нее были вовсе не черные, а густо-синие, как набрякшее первой грозовой силой весеннее небо. Опушенные хотя не густыми, но длинными ресницами, они таили в себе, оказывается, что-то робкое и восторженно-любопытное одновременно. И еще что-то ожидающее, чего нет сейчас, но что скоро будет обязательно... Во-вторых, в ее полноте не было ничего безобразного или неприятного. Просто крупная от рождения, широкая, как говорят, в кости. Хохлов видел ее всегда в какой-нибудь старенькой телогрейке или в широком застиранном платье... А сейчас на ней был свежий, синий, под цвет глаз, рабочий халат, схваченный в талии пояском. И сквозь халат обрисовывались ноги — длинные, крепкие и стройные... И в-третьих, она была просто красива. Полные, румяные щеки, губы яркие, над верхней губой золотистый пушок. И голову с гладко зачесанными и собранными на затылке в большой узел волосами она держала как-то по-особенному — не гордо, но и не униженно. И даже немного досадно стало Хохлову — зачем она неловко прижимает тряпку к груди, чего стесняется? Все в ее фигуре к месту...

— Сейчас я... — сказал он еще раз. Повариха опять взглянула на него — теперь с откровенным любопытством, повернулась и пошла.

Иван Иванович и старик провожали ее глазами до стряпки. Она это, видимо, чувствовала, шла, чуть опустив голову, все торопливее и торопливее, а последние метры почти пробежала.

Когда она скрылась, Хохлов опустил в задумчивости голову, а дед Евсей сказал:

— Вот и эта мать добрая растет.

Хохлов думал примерно об этом же и совпадению своих мыслей со словами старика не удивился.

— Хорошая девушка.

— Ага, — кивнул старик. — Чистая она, Тонька. Пошли ей бог хорошего мужика.

Через несколько минут Иван Иванович, раздевшись в маленькой опрятной комнатке, мыл руки над тазиком, и Савельева Анна, подвязанная пестреньким платком, сливала ему.

Иван Иванович вкратце знал историю ее жизни со слов Поликарпа Кружилкина.

— Как здесь приживаетесь-то? — спросил он.

— А чего мне приживаться? — чуть усмехнулась Анна. — Я здешняя. Да ведь, поди, и сами знаете.

— Знаю. И что партизанила тут в гражданскую, знаю...

— Только это? — Она подняла на него большие строгие глаза. Губы ее, немного выцветшие, но еще свежие, были плотно сжаты. Иван Иванович был уверен, что в уголках этих губ сейчас проступит горьковатая усмешка. И, чтобы она не проступила, он хотел еще что-то спросить, но не успел — открылась дверь, вошел Назаров, неуклюже топая и следя грязными, в комьях прилипшей земли, сапогами, по чисто вымытому полу, стянул дождевик, фуражку, сел на скамейку и стал разуваться. Оставшись в носках, вымыл руки, заскорузлими ладонями пригладил на голове торчащие седые космы и сел к столу.

— Ну вот... Пока то да се — на пашню глянул. По колено, считай, грузнет еще нога. Да на вешнего Егорья, пожалуй, коли такая погода стоять будет, начнем сеять, помолясь...

— Когда это? — спросил Хохлов.

— Егорий-то? Шестого мая будет. Хорошо ныне, спасибо вам, не подгоняете. Полипов, бывший секретарь райкома, а потом на твоём месте работал, наверно, уж баню бы нам не раз устроил. Саботажники, мол, и преступные разгильдяи, сев умышленно задерживают! А земля не скоро еще подойдет... Ну, где там Антонина со своей ухой?

Анна вышла. Панкрат, постукивая ложкой о столешницу, глядел в окно на сгущающийся вечер, о чем-то думал.

— А что, ежели возьму да и поставлю Анну вот сюда бригадиром? — неожиданно проговорил Назаров. — А? Будете в районе возражать?

— Да нет, чего же. Тебе виднее.

— Хорошо! — воскликнул Назаров, с шумом отворачиваясь от окна. И пояснил непонятно: — Хорошо это, говорю, когда начальство понимает, почему рыба в воде плавает, а птица по небу летает...

Тьма за окном все сгущалась. Назаров встал и зажег висящую над столом лампу под эмалированным абажуром.

Скрипнула дверь, появилась Антонина, неся большую сковороду и закопченный котелок. Она поставила все это на стол, сняла крышку с котелка, налила в тарелки. Из рассохнувшегося стеного шкафчика достала два ломтя черного, клейкого на вид хлеба.

— Ну, ужинайте, — сказала она и вышла.

Уха была пахучей, запахом ее наполнилась вся комната.

— Вкусна! — проговорил Хохлов. — Будто сроду такой и не ел.

— Вкусна не вкусна, да голод — он не тетка. Он и надоумил нынче нас хоть немножко взять моментом рыбешки. Оно не мед в ледяной воде мокнуть, а потом каждую малявку чистить. Но какое никакое, а подспорье. Вот так одно, да другое чего придумаем, да третье — и люди наши на себе будут, не скажу, что сытые, но и не впроголодь. И маленько лишних гектаров напашем, и эти прибавочные шестьсот центнеров вырастим, сожнем, обмолотим и сдадим... А теперь вот и хочу задать тот вопрос тебе, что на речке хотел. Почему это каждому доказывать надо, что ты честный человек? Ну?

Улыбка, бродившая по лицу Хохлова, сразу исчезла. Он почувствовал вину и неловкость за свои недавние мысли относительно Назарова.

— Это что ж... тот старик, Петрован Головлев, вам доложил? Когда ж он успел?!

— Там, в Михайловке, подошел к амбарам да и сказал. Покуда ты ко мне приближался, мы уже побеседовали.

Хохлов глядел на доски давно не крашеного, облупившегося, но чисто вымытого пола, чувствуя на себе по-стариковски обиженный взгляд Назарова. И все-таки нашел в себе силы поднять глаза на председателя.

— Было такое у меня в мыслях, Панкрат Григорьевич... нехорошее, — сказал Хохлов негромко. — Ты прости меня... Понял я все.

Впервые он назвал его «ты». От внимания Панкрата это не ускользнуло, желтоватые ресницы его дрогнули.

— Ладно, Иванович. Чего там, ничего, — так же негромко промолвил он в ответ. — Я знаю разговоры, какие плетутся про меня. Но жулик я али еще каков человек — это уже вы да господь пусть рассудит.

...Уезжал в Шантару Хохлов уже какой-то не такой, каким приехал в Михайловку, и ясно чувствовал это. Понял все, сказал он Назарову. А что? Объяснить это самому себе он не мог. Но понимал: прожитый день сразу сделал его не то мудрее, не то старше.

Лошадь шла шагом, время от времени пофыркивая в темноту. В ночном небе чернела громада Звенигоры, над ее зубчатой хребтиной, над рекой, над холодными и пустынными полями, в которых кормятся где-то сейчас журавли, стояло, текло и переливалось нескончаемое море звезд.

Ехал Иван Иванович под этим ночным звездным небом, и непривычные мысли, незнакомые ранее чувства одолевали его. Где-то горит край земли, думал он, и споряют в том безжалостном огне люди. А здесь все тихо и мирно, лишь неизменно тяжело. Но невозможно одному человеку во всем размере представить все то горе, всю трагедию, которую переживает сейчас земля. Как невозможно представить все величие

и необъятность этой жизни, этого неба и полей под ним. Это можно лишь немного почувствовать, как вот он сейчас чувствует... Пройдет сто лет, пройдет двести... И уже не будет на земле ни Панкрата Назарова, который спит сейчас, разбросав на постели длинные руки с жесткими ладонями, ни этой девушки Тони, налившейся крепким женским соком, ни Анны Савельевой, продрогшей сегодня в ледяной воде, ни его, Ивана Ивановича Хохлова. Но по-прежнему будет полыхать над землей звездный океан. И сколько бы ни прибавилось на земле белых седин-ковылей, народ убытку своего не потерпит. И кто-то другой будет так же ехать по молчаливой ночной дороге под звездным куполом, будут так же спать люди, раскидав по постелям натруженные за день руки. Каждый вновь проходящий под это вечное небо будет заново пытаться понять — какова она, Земля, в чем ее красота и сила. Но неужели и потом, позже, понять это будет иногда так же непросто? Неужели и тогда будут войны? Будут зарастать все новые и новые поля ковылем? Неужели вот так же кто-то у кого-то спросит вдруг: «Почему это каждому доказывать надо, что ты честный человек?»

15 апреля 1943 года, дождливым и тусклым весенним утром, задолго до солнца, на запасной путь маленькой станции медленно вполз состав из двух десятков серо-зеленых, совершенно глухих, без окон, вагонов и, заскрипев тормозами, остановился. Тотчас вдоль состава по клейкой грязи, в свете занимающегося дня, такого же серо-зеленого, как вагоны, забегали черные фигуры в касках и коротких мундирчиках, раздался хриплые, лающие голоса. Затем послышался вой моторов, на пустырь перед железнодорожной линией, разбрызгивая колесами тяжелые комья грязи, въехало три грузовика. Машины остановились метрах в двадцати от состава. Еще через минуту загрели железные засовы дверей, пронзительно заскрипели кованые петли. К каждому вагону приставили сходни — узкие мокрые плахи с набитыми поперек невысокими реечками, по ним в каждый вагон гуськом вбежали по три-четыре охранника с резиновыми палками и с криком и руганью принялись выталкивать наружу, под мелкий холодный дождик, людей в полосатых одеждах. Впрочем, на людей они походили отдаленно — изможденные голодом, многодневной вонью человеческих испражнений, худые, как скелеты, заросшие грязным волосом... Они прыгали из вагонов в грязь, точнее, вываливались — почти никто из них не мог устоять на ногах после прыжка, не было для этого сил, и к тому же от чистого и влажного воздуха, хлынувшего в легкие, все мгновенно пьянели. Некоторые пытались сойти по узким сходням, но деревянные ба-

шмаки скользили по мокрому дереву, люди бревнами падали, ломали руки, расшибали о края вагонов головы. По обеим сторонам вагонных дверей стояли эсэсовцы, плетью и резиновыми палками хлестали упавших, яростно орали:

— Aufstehen! In Kolonne antreten! Los, ihr russische Schweine! ¹

В каждом пересыльном пункте, в каждом лагере набор слов эсэсовских охранников был почти одинаков, и люди давно понимали их. И встреча прибывающих заключенных повсюду была примерно одна и та же.

Василий Кружилин и Максим Назаров, стараясь не греметь цепью, которой они были скованы, по мокрой плахе скатились из вагона, ни тот ни другой ударов не получили, потому что сумели устоять на ногах. Правда, Назаров уже на земле пошатнулся, но Василий схватил его за локоть, дернул к себе.

С трудом отрывая ноги от клейкой земли, они побрели в дальний конец пустыря, где заключенные выстраивались в колонну по шесть человек в ряд.

— Спасибо, — проговорил Назаров, тупо глядя в чей-то грязный волосатый затылок.

— Куда же это привезли нас? — спросил вполголоса Валентин Васильевич Губарев, бывший преподаватель института, кандидат филологических наук. Кружилин и Назаров познакомились с ним еще в Галле, где жили в одном блоке. Спать им пришлось там на соседних нарах, а Губарев перед сном, если после тяжелого рабочего дня оставались еще силы, читал на память стихи. Он знал их множество, особенно любил Некрасова, а из иностранных — Гете. «Вот, послушайте...» — говорил он всегда неожиданно, выбрав момент, когда в бараке не было ни старосты, ни охранников, и, лежа с закрытыми глазами, начинал:

В Европе удобно, но родины ласки
Ни с чем не сравнимы. Вернувшись домой,
В телегу спешу пересечь из коляски
И марш на охоту. Денек недурной,
Под солнцем осенним родная картина
Отвыкшему глазу нова...
О матушка Русь!

Стихи он вспоминал обычно о Родине, о России, которая теперь была так далеко.

Сейчас Губарев, длинный, костлявый, с посиневшим от холода лицом, стоял рядом, уныло глядел под ноги на раскисшую землю. Сеял непрерывный мелкий ледяной дождь. Куда их привезли, спросил Губарев. В том-то и вопрос!

Пленные все стояли и стояли на холоде, под непрекращающимся дождем. Вдоль выстроившейся колонны бегали эсэсовцы, без конца пересчитывали заключенных, что-то орали, руга-

¹ Встать! В колонну, быстро! Русские свиньи... (нем.)

лись. Черные автоматчики безмолвно, как истуканы, держа наготове оружие, торчали чуть поодаль, растянувшись цепочкой.

— Боже мой! Боже мой... — вздохнул вдруг Назаров, угрюмый, ушедший весь в себя, о чем-то все думающий, думающий в последние недели. За это время Василий не слышал его голоса, кроме недавнего «спасибо».

— Ничего, товарищ капитан, — тихонько откликнулся Василий. — Не до света же нас тут держать будут. Приведут куда-нибудь — отдохнем. А Валя нам стихи почитает. А, Валь?

— Тихо! — вместо ответа проговорил Губарев.

Вдоль колонны медленно шел офицер в длинном, блестящем от дождя плаще, чавкая по грязи сапогами. Его сопровождал невысокий человек в тужурке и кепке, с белой повязкой.

Офицер остановился почти напротив Кружилина и, как показалось Василию, стал смотреть прямо на них с Назаровым, соединенных цепью в концлагере Галле перед посадкой в вагоны. Но ни страха, ни какого-то даже малейшего опасения это у Василия не вызывало. Во рту у него накопилась горячая слюна. Василий испытывал острое желание сплюнуть. Но плевать в строю нельзя, за это, случалось, немедленно расстреливали.

Василий сжал до ломоты зубы, сквозь тонкую сероватую кожу на щеках проступили желваки.

Послышался собачий визг и лай, откуда-то из-за хвоста поезда выбежало десятка два солдат с овчарками. Свирепые псы рвали из рук ременные поводки, тащили за собой солдат. Казалось, еще секунда — и солдаты, не поспев за собаками, распластаются на земле, а сильные, как лошади, псы поволочут их по жидкой и скользкой грязи.

Офицер что-то проговорил маленькому юркому человеку с белой повязкой и зевнул. Тот снял мохнатую, набрякшую тяжелой водой кепку и, прижимая ее к животу, подобострастно выслушал, часто кивая головой. Потом надел кепку, повернулся к колонне.

— Ахтунг! Внимание... Господин гауптштурмфюрер объявляет... Сейчас двинемся к месту назначения. Тут недалеко... По улицам идти тихо, без разговоров, чтобы не тревожить покой и сон жителей благословенного города. Держать строй. Один шаг в сторону рассматривается как побег... Карается немедленной смертью... Все. Напра-а-во!

Стуча деревянными башмаками по булыжнику, пленные узкой окранный улицей вышли в поле.

Когда пленных вели по городской улице, Губарев все оглядывался по сторонам, всматривался в маленькие домики, в какие-то продолговатые двухэтажные кирпичные здания с

полукруглыми окнами. Но ничего не говорил. И только в поле пробормотал, ни к кому не обращаясь:

— Что это за благословенный город, интересно? Очень даже любопытно...

Максим Назаров шел сторбившись, глядя себе под ноги.

— Устали, товарищ капитан? — вполголоса спросил Василий. — Ничего, скоро придем, наверное...

Назаров не ответил.

Молчание Назарова, его все более тяжелеющая угрюмость пугали Василия, рождали беспокойство. «Что он все размышляет, о чем? — часто думал Кружилин. — Всем не сладко, всех здесь за скотов считают. И каждую минуту, каждую секунду к любому может прийти смерть. Это так, но ведь не пришла пока, живы, черт побери!» Два побега они с Назаровым совершили вместе — из Ченстохова и Ламсдорфа. Бесконечные допросы, зверские избиения, издевательства — все Назаров переносил вроде бы даже легче, чем он, Василий. Особенно изощренно их истязали в лагере беглецов близ Ламсдорфа — однажды целую ночь заставили лежать в ледяной луже. Всю эту ночь шел дождь со снегом, к утру лужа подернулась ледком, Василий уж думал, что их трупы так и вмерзнут в лед, — но нет, на рассвете их пинками подняли, отправили в барак. «Л-ладно, сволочи! — лязгая зубами, угрожающе проговорил тогда Назаров. — В третий раз, Вася, обязательно убежим, доберемся до своих. Все равно доберемся!» Но в третий раз Назаров бежать неожиданно отказался. Это было в концлагере Галле. Отказался, когда все уже было к побегу готово — скономлены и припрятаны полторы булки суррогатного хлеба да три дряхлых брюквы, старые ботинки и рваная куртка. «Вот что, Вася, — сказал тогда Назаров, впервые отворачивая от него глаза. — Мы ведь в самом центре Германии. Разве выберешься? Нет... И силы, чувствую, ушли... Да и зима еще. Если хочешь — иди один. Но не советую». И он, Василий, совершил побег один. Схватили его на другой же день — в водопроводной будке на дне какого-то оврага, приволокли в лагерь и бесчувственного бросили в карцер. Он чудом выжил в этом карцере — мокрой и темной коробке, узкой, как гроб. И, когда снова появился в бараке, Назаров, так же отворачиваясь, так же не глядя в лицо, промолвил: «Я говорил... Бесполезно».

Все это было в начале марта. Вскоре разнесся слух, что самых крепких и здоровых заключенных переведут в какой-то другой лагерь. В число этих «самых здоровых и крепких» попал и Василий с Назаровым. Но как самых отъявленных и несправимых бегунов эсэсовцы сковали их перед погрузкой в вагоны

цепью. И всю дорогу Василий думал с тревогой о капитане Назарове: ведь раньше он был не такой, не такой...

Думал об этом и сейчас...

Тогда, прохладным и солнечным июньским утром 1941 года, конопатый, с розовыми губами немецкий офицер, похожий на стоящего торчком муравья, не соврал: их и в самом деле доставили в пересыльный лагерь для военнопленных советских командиров, устроенный где-то в окрестностях пограничного польского городишка Жешув. Василий, ощущая на плечах гнетущую тяжесть обмякшего тела капитана, вышел из загона, обнесенного колючей проволокой, где они провели первую кошмарную ночь в неволе.

Василий тогда брел позади толпы военнопленных, слышал, как сбоку и сзади глухо топаят по мягкой земле добротными сапогами конвоиры. Сердце Кружилина колотилось от усталости, разрывало грудь. Едкий пот катился со лба и заливал глаза. «Чуть отстану или споткнусь — и смерть! Смерть...» — больно долбила в череп одна и та же мысль.

Так, вслед за кучей командиров в изорванных одеждах, шел Василий, может, час, может, два, слыша сзади и сбоку глухой топот конвоиров. Кроме этих тупых звуков, мозг ничего не воспринимал. Не помнил он, кто и когда снял с его плеч тело Назарова, а только обнаружил вдруг, что капитана несет молоденький лейтенант с перебинтованной головой. Повязка его была черной от грязи и запекшейся крови.

— Вам тяжело, товарищ лейтенант, — проговорил Кружилин. — Давайте, я отдохнул.

— Ничего... А ты молодец, не бросил командира.

— Мы ж земляки с ним.

— А-а...

Пересыльный лагерь близ Жешува был образован наскоро и, видимо, всего несколько дней назад на территории каких-то складских помещений. Пленных привезли туда уже ночью, загнали в душный каменный подвал, из бетонных стен которого торчали ржавые крючья, вдоль одной из стен тянулись промасленные деревянные полки. Но подвал был «с удобствами» — на потолке горела тусклая электрическая лампочка, а в углу стояла ржавая раковина, и из медного, прозеленевшего водопроводного крана тоненькой струйкой текла вода. Подвал был тесно набит людьми. Когда Кружилин вошел туда с Назаровым на плечах, положить его было некуда, места на полу не оказалось. Василий повернулся вправо, влево. Никто из находившихся в подвале даже не обратил внимания на вновь прибывших, никто не пошевелился, чтобы уступить на полу ме-

сто для Назарова. Тогда Кружилин без жалости пнул лежащего ближе всего к нему человека:

— Т-ты... Встань! Не видишь?

Человек пошевелился, приподнялся, протер сонные глаза. И спросил удивленно:

— Чего... пинаешься?

— А я вот ему сейчас пну, товарищ майор! — донеслось из дальнего угла, и там угрожающе поднялся верзила в обгорелой гимнастерке.

— Успокойтесь, Кузнецов, — сказал тот, кого пнул Василий и кого назвали майором. — Нехорошо пинаться... даже и теперь, когда мы все... в таком положении. Что же это будет, если мы все начнем пинаться?

— Простите, товарищ майор...

— Ну, кладите сюда капитана. Что с ним?

— Где-то вода, вода течет, — простонал Назаров.

Василий, положив капитана, пошел к раковине, шагая через спящих. Раковина была полной, слив был замазан чем-то, кажется, куском глины.

— Кружку... дайте кружку.

— А хрустальный бокал не подойдет для вас? — усмехнулся длинный человек по фамилии Кузнецов с двумя кубиками на петлице. — Вот пилотка.

Он протянул грязную пилотку. Василий зачерпнул ею из раковины. Ему самому вдруг захотелось сделать хоть один глоток, по горлу прошла судорога. Но, заметив насмешливый взгляд Кузнецова, Кружилин пошел к капитану...

...Человек, которого пнул Василий, оказался майором медицинской службы, он осматривал ноги, плечо и грудь Назарова. Осматривал, почему-то брезгливо поджав тонкие губы. И попросил принести воды.

Кружилин тотчас еще принес полную пилотку. Майор мокрой тряпочкой — кажется, своим носовым платком — обтер Назарову раны, немного отмочил засохшую коросту. Помогал ему тот самый долговязый Кузнецов. Майор что-то сказал Кузнецову, тот помедлил, поглядел на Василия и откуда-то извлек небольшую, толстого стекла, пузырек с йодом.

Майор, крепко сжав тонкие губы, вдруг безжалостно сорвал с раны на груди Назарова коросту. Капитан дернулся от боли, вскрикнул. Крик перешел в стон, и тут же Назаров весь обмяк, вытянулся. Майор коротко бросил, буд-то у себя в операционной:

— Бинт.

Василий поглядел на Кузнецова, но тот лишь пожал плечами. Тогда Кружилин сбросил грязную гимнастерку, снял нательную рубашку, вонючую и еще мокрую от пота, тоже грязную до черноты, и начал рвать ее на полосы.

Снарядный осколок ударил в грудь Назарова чуть ниже правого соска и вскользь, вырвав порядочный кусок мяса. Края рваной, безобразной раны были воспалены, накопившийся под коростой гной майор вычерпывал и выковыривал из раны концом носового платка, смоченного в йоде. Затем плеснул в рану прямо из пузырька, взял лоскут от рубахи Василия, осмотрел его со всех сторон, со вздохом отложил в сторону и начал расстегивать свою гимнастерку.

Тело у майора было нежно-белым, чистеньким, как у девушки. Но, когда он рвал на полосы свою нателную рубаху, когда перематывал грудь, а потом ноги потерявшего сознание Назарова, тоже предварительно обмазав рану йодом, под белой кожей прокатывались тугие мускулы. На лбу у капитана начали проступать бисеринки пота, и майор вздохнул облегченно, стал натягивать гимнастерку.

— Через неделю ходить будет с палкой, — проговорил он, тщателью застегивая все пуговицы на гимнастерке. — Раны на ногах и плече, к счастью, пушьяковые — чуть мякоть задета. Да и на груди... Крови он только потерял много. Счастливо ваш командир отделался, товарищ боец.

— Все равно его в госпиталь надо, как только наши отобьют нас.

Майор медленно повернулся к Василию, тонкие губы его с болью изогнулись.

— Ну да, — кивнул он седеющей головой.

Майор сидел на цементном полу, подтянув ноги почти к подбородку, устало свесив с колен руки с широкими ладонями и длинными пальцами.

— Только я... если бы не товарищ капитан, не стал бы ждать, пока наши отобьют, — снова проговорил Василий. — При первой же возможности убежал бы... вырвался.

Майор не шевельнулся даже, будто не слышал, а лейтенант Кузнецов, сидевший сбоку, повернул к Василию голову и строго и неодобрительно посмотрел на него. И через несколько секунд, голосом насмешливым и недоверчивым, проговорил:

— Лихой ты... Как звать?

— Кружилин Василий.

— А я Герка. Герка Кузнецов.

Водяная струйка все текла в раковину, тоненько позванивая. Время от времени мигала пыльная электрическая лампочка, грозя потухнуть совсем. Когда она мигала, на мгновение наступала темнота, и Василию каждый раз почему-то казалось, что, когда лампочка снова вспыхнет, откроется совсем другая картина — просторная и светлая красноармейская казарма там, под Перемышлем, длинные ряды двухъярусных железных коек, на которых спит вповалку рота капитана Назарова, а он, Василий, дневалит... Но лампочка, вспыхивая, освещала

холодно-мертвенным светом все тот же сырой каменный мешок. На бетонном полу беспорядочно сидели и лежали командиры Красной Армии — лейтенанты, капитаны, а у дальней стенки лежал какой-то грузный человек с тремя шпалами на петлицах — подполковник. Он лежал на спине, все время глядя в потолок, не мигая. И было непонятно, жив он или мертв.

Рядовой здесь был только один — Василий Кружилин.

Всю ночь люди в грязных, разорванных, обгоревших и окровавленных гимнастерках стонали, храпели, ворочались. Василий, смертельно уставший, хотел спать, но сидя уснуть никак не мог. И только когда на потолке засинела отдушина, заделанная толстой решеткой, он обхватил руками колени и, опустив на них голову, впал в забытье.

Вторая ночь, как и первая, прошла в тяжелых столах и хрипах. Утром в подвал вбежали несколько эсэсовцев, загалдели, поднимая раненых и здоровых. Они пинали неуклюжие тела беспомощных людей, хлестали их палками и короткими толстыми плетьюми. Оружия ни у одного эсэсовца не было.

Когда пленные встали, сгрудившись толпой у стенки, в подвал вошел тот самый длинный и тонкий немецкий офицер, который приезжал за пленными в лагерь под Перемышлем и поразил Василия чистейшим русским языком.

Сейчас он был в мокром черном плаще, в высокой, сразу ставшей ненавистной Кружилину фуражке и походил не на муравья, стоящего торчком, а на морщинистый обрубок бревна с косо срезанным торцом, только что облитый смолой или гудроном.

Конопатый офицер был отчего-то в хорошем настроении, припухлые розовые губы его улыбались.

— Здравствуйте, господа, — проговорил он и окинул взглядом весь подвал, увидел Василия Кружилина, шею которого обхватил одной рукой Назаров, остановил на них свои холодные и цепкие зрачки. — О-о, примерный русский солдат! Очень похвально, что вы не бросаете своего командира.

С левого боку Назарова поддерживал Кузнецов, забросив, как и Василий, руку капитана за свою шею. Немец скользнул прозрачными глазами по лицу Кузнецова и повернулся к Василию.

— Фамилия?

Василий молчал. Он смотрел прямо в конопатое лицо немца и думал, что, когда его обливали смолой или гудроном, лицо чем-то прикрыли, но мелкие капельки все же попали на лоб, щеки, даже подбородок и вот прикипели. И эти конопатины рождали ненависть в душе Василия, она, эта ненависть, туманила мозг, хотелось не называть свою фамилию, а вы-

крикнуть немцу в лицо что-то обидное, грязное и непокорное.

— Вы что, русского языка не понимаете? — постронее спросил немец.

Василий почувствовал, как сатанеют его собственные глаза. Понимал, что если он не сдержится и что-то выкрикнет в лицо офицеру или даже и не выкрикнет, но заметит немец в его глазах ненависть, и он, Василий, и капитан Назаров, и, может быть, даже Герка Кузнецов будут немедленно застрелены. Кружилин неимоверным усилием воли сжал зубы и прикрыл веки. И тут же услышал, как предостерегающе и одновременно требовательно толкнул его в бок стоящий справа майор-медик Паровозников.

— Красноармеец Кружилин, — произнес Василий, открывая глаза. И добавил, чувствуя, что надо добавить: — Простите, голова закружилась.

— Мой чин — унтерштурмфюрер, — сказал немец, и прежняя улыбка заиграла на его губах. — Надо добавлять — господин унтерштурмфюрер. Запомните это крепко. Зовут меня Карл Грюндель. А ваше имя?

— Василий, господин... унтерштурмфюрер.

— Зер гут... Василий. Очень хорошее русское имя. Три шага вперед!

Василий стоял не шевелясь, окаменев, не чувствуя ни рук, ни ног, ни тяжести руки Назарова на своей шее.

— Ты свинья! Тебе приказано! — заревел, багровея, Грюндель. И Василий не видел, только почувствовал, как сбоку подскочил немец с плетью, взмахнул ею и будто глубоко просек левое плечо. Василий пошатнулся, но не выпустил перекинутую через шею руку Назарова, понимая, что, если упадет сам, упадет и капитан Назаров. Их пристрелят обоих, и он будет виновен в гибели капитана...

...Потом Василий стоял перед Грюндем, а тот долго смотрел на него. В жидких глазах немца подрагивало злое, беспощадное, белесоголубоватое пламя.

Вдруг Грюндель выдернул из кармана своего черного плаща руку в черной перчатке и молча протянул ее в сторону. Тотчас ближайший эсэсовец вложил в эту руку плеть. Василий сжался, опустил невольно глаза. Опуская их, он успел заметить, что во взгляде немца, на всем его конопатом лице проступило надменно-презрительное удовлетворение. И это удовлетворение своей силой, беспредельной властью оскорбило Василия, наполнило каждую клеточку мозга, каждый сантиметр измученного тела чем-то горячим и тяжелым, будто от ненависти закипела вся его кровь. Он с трудом поднял набрякшие этой горячей кровью веки, но смотреть стал не в глаза немца, а на его мокрые плечи и тонкую шею. На резино-

вой ткани плаща, сквозь которую проступал погон, были рассыпаны дождевые капли, каждая капелька отражала чужой утренний свет, падающий из зарешеченного окошка на потолок. Эти искрящиеся точки резали Василию глаза, и он думал, что сейчас, как только немец ударит его плетью, он качнется вперед и, падая, вцепится обеими руками в тонкую шею фашиста, повалит его вместе с собой, пальцами продавит кожу и рванет, раздерет эту шею на лохмотья. Пусть они стреляют в него, Василия, прошивают его тело из автоматов — он не умрет, не оставят его силы до того момента, пока он не задушит этого фашиста...

Грюндель не ударил Василия. Он только ткнул рукоятью плети в плечо, поворачивая Кружилина лицом к остальным пленным. И, постукивая рукоятью в свою ладонь, вновь заговорил:

— Вы находитесь уже не в России. И никогда больше туда не попадете. России больше нет. И никогда не будет. Войска фюрера продвинулись в глубь ваших... бывших ваших, лесов на несколько сот километров и успешно продвигаются дальше. Наши танки и автомашины идут полным ходом, сопротивления нигде не встречают, потому что войска ваши смяты, раздавлены и уничтожены. Львов, Минск, Киев и множество других городов уже в наших руках. Скоро германские танки появятся на улицах Москвы. Первое, что они сделают, — развернутся на Красной площади и в упор расстреляют Мавзолей Ленина. И это станет концом нашей самой блестящей войны, концом России... Это произойдет через две, в крайнем случае — через три недели.

«Врешь... врешь! — думал Василий неожиданно спокойно, понимая отчетливо и ясно, что конопатый этот немец действительно врет. — Верно, танки ваши где-то за Перемышлем, за Дрогобычем... Но так ли уж глубоко продвинулись ваши войска? Львов, Киев... А тем более — Москва?! Нет, нет!»

В голову Василия толчками била кровь, но все тише и тише, странным образом утихомириваясь.

— Из всех вас самым порядочным здесь является этот человек, этот солдат, — продолжал Грюндель, показывая плетью на Василия. — Мы, немцы, понимаем и ценим солдатский долг, мужество и верность. Этот солдат не бросил своего офицера, это вот дерьмо, которое вы держите на плечах... — немец ткнул плетью в сторону Назарова. — Если он выживет, будет у... Как вас? Василь...

— Кружилин, — проговорил неожиданно для самого себя Василий.

— ...будет у господина Кружилина в денщиках. Сапоги будет ему чистить, белье грязное стирать...

Грюндель вдруг резко повернулся к Василию.

— Назначают вас пока старостой этой камеры. Номер вашей камеры одиннадцатый, — и протянул ему плеть.

Василий, опешив и онемев, стоял, не двигаясь.

— Берите же! — рявкнул Грюндель.

Василий, теперь даже не вздрогнув от злобного этого окрика, немного помедлив, принял плеть.

— Так, хорошо... — усмехнулся чему-то Грюндель. — Хорошо, что вы приняли эту плеть — символ и средство вашей власти над этими безмозглыми существами, кое о чем раздумывая. Думайте, думайте, господин Кружилин. — Немец сделал ударение на слове «господин». — И вы найдете свое место среди великой немецкой нации, сделаете свою жизнь... К завтрашнему утру составьте список наличного состава вашей камеры — возраст, звание, состояние здоровья... Бумагу вам дадут.

Так же резко повернувшись лицом к угрюмо стоявшим вдоль стены пленным, Грюндель, сдерживая на губах усмешку, отчетливо произнес:

— За малейшее неповиновение вашему старосте — смерть. За словесное оскорбление его чести и достоинства — смерть. За недостаточное оказание ему знаков внимания, если он таковое в ком-либо усмотрит, — на первый раз публичная порка, на второй раз смерть... Надеюсь, я выразился ясно? Ауфвидерзеен, господа. До свидания...

Взмахнув полами плаща, Грюндель крутанулся и пошел прочь. Следом загрохотали по бетонному полу коваными сапогами эсэсовцы, затем автоматчики. С грохотом захлопнулась дверь, и в каменном мешке установилась тишина. Люди у стены стояли молча, только дышали тяжело и глядели на Василия. А Кружилин глядел на них, только сейчас поняв до конца, в каком же положении он оказался, не понимая, как это произошло, не зная, не представляя, что он теперь будет делать, какое первое слово им скажет.

Василий стоял, безвольно опустив отяжелевшие руки. Потом он почувствовал плеть в правой ладони, приподнял эту плеть — короткую, тяжелую, сплетенную из жестких ремней, будто хотел получше рассмотреть ее. Плеть была новенькая, только что со склада, кожа резко пахла. Люди, стоявшие у стены толпой, молча наблюдали за действиями Кружилина. Наблюдал исподлобья и капитан Назаров, повисший на плечах майора Паровозникова и лейтенанта Кузнецова.

Помедлив еще секунду-другую, Кружилин размахнулся и швырнул плеть в сторону раковины. А сам опустился на бетонный пол, осел, будто подломился враз, подтянул к лицу ко-

лени, спрятал в них голову. Спина его затряслась.

Тогда майор Паровозников глазами попросил кого-то поддержать вместо него капитана Назарова, подошел к раковине, поднял плеть и протянул ее Василию.

— Возьми.

Кружилин не приподнял головы.

— Подполковник умер, — кивнул Паровозников в сторону стены. — Теперь я самый старший в камере по званию. Я приказываю — возьми. А там видно будет... как ею действовать.

— Никак я не буду действовать.

— Ну расстреляют тебя, — жестко произнес майор. — Легче нам всем, что ли, от этого будет?

Толпа уставших от долгого стояния людей зашевелилась, расплзлась по камере. Люди принялись устраиваться кто как мог. Назарова бережно уложили.

Никто ничего Василию не сказал. И сам Василий, приняв от Паровозникова плеть, долго молчал. Потом спросил:

— Унтерштурмфюрер — это что за чин у них?

— Это эсэсовское звание. Соответствует армейскому лейтенанту, — ответил майор Паровозников.

Василий еще посидел недвижимо, поднялся, прошел к Назарову, сел возле него.

— Как вы себя чувствуете, товарищ капитан?

— Голова кружится. Наверное, от... от этого долгого стояния. А так ничего... Неужели я буду жить?

Назаров за эти несколько дней оброс густой щетиной. На голове у капитана не было ни одного седого волоса, а вылезшая щетина на лице оказалась наполовину белесой. Это удивило Василия, и он почему-то подумал: «Неужели с бороды люди седесть начинают?»

— Я буду, буду жить, Кружилин! — зашептал вдруг капитан Назаров, лихорадочно блестя глазами. — Ах, сволочи! Что с людьми делают! Я назло им выздоровлю! И вырвусь отсюда! Мы с тобой вырвемся вместе. И будем их, гадов, бить, стрелять, давить... Пока ни одного не останется! Пока ни одного... на всей земле!

«Да, раньше капитан Назаров был не такой...» — все размышлял Василий Кружилин, пока их колонна по раскисшей дороге тащилась куда-то, в неизвестность. Дорога петляла между жиденьких перелесков с молодой, ослепительно засверкавшей под первыми лучами солнца листвой, мокрой от ночного дождя, иногда выбегала на открытое поле. Грязь была не такой, как в Сибири, как в Ойротии, отметил Василий. Светло-серая, клейкая, точно переме-

шанная с яичным белком, она крепко присасывала деревянные колодки, и, чтобы выдернуть ногу и сделать следующий шаг, нужно было напрягать все силы.

Солнце часто скрывалось за текущими по блекло-зеленому небу дымными облаками, и тогда сразу становилось холоднее, ветер пронизывал ветхие лохмотья и по грязному, давно не мытому телу Василия словно рашипелем шоркало.

Валентин Губарев, хлюпая по грязи, сильно размахивая руками, пристально всматривался в перелески и невысокие холмики, часто оглядываясь, чем привлек даже внимание конвоиров.

Максим Назаров шагал бок о бок с Василием, согнувшись, уныло глядя в землю. По-красневшие от холода ладони он беспрерывно совал в рукава полосатой куртки. Сковывающая их цепь была длиной метра в полтора, и Василий, чтобы Назарову было легче, почти всю ее наматал на свою руку.

По этой дороге они тащились до полудня, сделав один только привал где-то на открытой поляне. Конвойные приказали им сесть прямо в холодную грязь, и послушаться было нельзя. Отдых превратился в пытку.

Вскоре за верхушками деревьев показались темные от дождя крыши строений. Миновали пропускной пункт, из будки высочил высокий солдат, торопливо поднял полосатый шлагбаум, и пленные потащились дальше. Впереди замаячила какая-то кирпичная башня, по всем признакам водонапорная. А за башней возникали островерхие сторожевые вышки, такие знакомые каждому заключенному. «Кажется, пришли», — с облегчением подумал Василий.

Но конец мучительного пути все не наступал. Водонапорная башня давно осталась сзади, а колонну гнали и гнали дальше по залитой грязью дороге, мимо высокого дощатого забора, поверх которого в несколько рядов была натянута колючая проволока, мимо сторожевых вышек. За забором виднелись темные постройки заводского типа, высокие кирпичные трубы, некоторые из них жиденько дымили...

Минут через двадцать колонна вышла на мощенную камнем довольно широкую улицу, по бокам которой стояли деревянные дощатые, казарменного вида, бараки, каменные коробки с редкими и очень маленькими окнами, миновали гараж. Опять показались сторожевые вышки...

Наконец колонна уперлась в какие-то кирпичные строения и остановилась на просторной площадке. Грязи здесь не было, отмытые дождем гладкие бульжники блестели. Василий понял, что они наконец прибыли в какой-то лагерь. На миг ему почудилось, что площадка вымощена не бульжником, а человеческими

черепами. Голова закружилась, он закрыл глаза. Но, боясь упасть, тут же открыл их, стал глядеть на высокую трехэтажную деревянную вышку, под которой был, видимо, главный вход в лагерь, на запертые массивные чугунные ворота. Поверху ворот шли какие-то буквы. «Obes recht hat oder nicht — es ist mein Vaterland», — прочитал Василий и поглядел на стоявшего рядом Губарева. Тот чуть скривил губы и вполголоса перевел: «Право оно или нет — это мое отечество». Назаров поднял глаза, тоже прочитал странные слова, затем поднял глаза еще выше — на болтающийся под несильным ветром флаг со свастикой, укрепленный на тонком железном стержне, но ничего не сказал.

Справа и слева к сторожевой вышке примыкали не очень длинные одноэтажные каменные коробки с крепкими железными решетками на окнах. А далее, в ту и другую сторону, тянулись высоченные, в несколько рядов, заборы из колючей проволоки. Проволока была натянута на изоляторы. Это означало, что колючий забор постоянно находится под током высокого напряжения.

Колонна, обессиленная переходом, стояла недвижимо и безмолвно, лишь беспрерывно кашляли измученные люди. Конвойные, повернувшись лицом к колонне, держали автоматы на изготовку, будто боялись, что именно сейчас-то люди в полосатых одеждах взбунтуются и побегут в разные стороны. Возле ног каждого конвоира лежала или сидела рослая, с теленка, овчарка. Собаки, вывалив языки, тяжело и часто дышали. Едва какой-нибудь заключенный, стоящий в крайнем ряду, переступал с ноги на ногу, овчарки угрожающе рычали и скалили зубы. Псы знали свое дело.

Остроту их зубов Василий помнил.

Тогда, в середине января, в Ламсдорфе, стояли лютые морозы, на работы не выводили, потому что у заключенных никакой одежды, кроме полосатых курток из тонкой материи и штанов, вот этих, какие на людях и сейчас, не было. На весь блок, в котором жил Василий, имелось рваное, пропитанное мазутом вапное пальто, неизвестно как там очутившееся. Староста блока, пожилой поляк, разрешил им пользоваться тем заключенным, чья очередь подходила заготавливать дрова или воду. Подошла очередь Василия. Он поднялся затемно, сполз с верхних нар, натянул это заскорузлое от мазута и человеческого пота пальто и вышел наружу. После спертого и затхлого воздуха тесного помещения в грудь ударили свежие струи, и, как всегда, голова закружилась. Прислонившись к бревенчатой, покрытой хлопьями изморози стене, Василий чуточку отдышался, впрягся в лямку обледенелых санок,

на которых стояла железная бочка, и потащил их к колодцу.

Колодец был в дальнем конце лагеря, там уже раздавались крики и ругань. «Опоздал, пораньше надо бы, простишь теперь в очереди...» — мелькнуло у Василия. От соседних блоков тоже двигались к колодцу санки с бочками.

Чтобы как-то выиграть время и поспеть к колодцу хотя бы не последним, Василий решил пробежать с санками прямо через плац. Вообще-то это запрещалось, но в такую рань офицеров в лагере еще не было, а часовые на вышках не обращали на водовозов внимания. Главное — не попасть на глаза дежурному по лагерю или внутренним охранникам. Но если и попадешься, огреют тебя несколько раз плетью, на том все и кончится.

На этот раз, однако, едва Василий дотащил санки до середины плаца, со стороны входных ворот послышался рев мотора, и через несколько секунд мелькнули из-за угла эсэсовской казармы автомобильные фары. Сердце Василия оборвалось. Если его заметят — быть беде: в автомобиле солдаты не разъезжают по ночам, в машине, конечно, офицер.

Согнувшись, задыхаясь от напряжения, Василий побежал. Но было поздно. Развернувшись у казармы и перерезав плац сильными лучами фар, автомобиль, набирая скорость, стал приближаться к Василию. «Задавит!» — пронеслось у Кружилина в мозгу. И он действительно попал бы под колеса, если бы не успел отскочить в сторону, за санки с бочкой.

Черный автомобиль с ревом сделал полукруг и, заскрипев тормозами, остановился. Из него вышел, почти вывалился, короткий, но угловатый и костлявый гауптштурмфюрер — сам помощник коменданта лагеря, а следом за ним еще несколько человек. В машине еще кто-то остался, белело в глубине чье-то лицо, Василию даже показалось, что там сидит женщина с распущенными волосами.

— Stinktler! — заорал помощник коменданта. — Zeig dein Nummer! Deine Nummer, du Misthund! ¹

— Siebzehntausenddreihundertvierundzwanzig, Herr Hauptsturmführer ², — проговорил Василий.

Раздался собачий лай, к месту происшествия тяжело бежали два охранника, псы на коротких поводках рвались у них из рук. Охранники, разжиревшие, толстые, вытянулись по швам перед начальством, но зады их, обтянутые шинельным сукном, выпячивались. Гауптштурмфюрер, тряся от гнева щеками, что-то

орал, грозя отправить обоих на восточный фронт, стегнул хлыстом одного по лицу, потом другого. И вдруг оба они нагнулись словно заводные, сняли поводки с собачьих ошейников. Василий попятился от ринувшихся на него собак. И тотчас почувствовал, как безжалостные собачьи зубы обожгли икру на левой ноге. Второй пес с ходу прыгнул на грудь Василия, словно бревном толкнуло, он упал...

Потом Василий и остервенело ревущие псы катались по утопанному снегу, от ватного пальто летели клочья, под бока, спину и плечи ему словно сыпались крупные раскаленные угли. Василий чувствовал, как пахнет собственная его кровь, понимал, что озверевшие от этого запаха псы, если их не оттащат, заедят его насмерть. Он прикрывал руками лицо и горло, и делал это скорее инстинктивно, потому что в голове все сильнее звенела страшная, предательски соблазняющая мысль: «Пуцай разом перекусят горло, все... все... Ведь это просто какая-то секунда...» И все-таки прикрывался до тех пор, пока левая голая ладонь не оказалась в горячей собачьей пасти. Василий еще почувствовал, как острые собачьи зубы вроде откусили пальцы — и тут сознание разом потухло...

Очнулся он в вонючем лагерном лазарете через трое суток, долго глядел в грязную, облупившуюся штукатурку потолка, пытаясь сообразить, где он и что с ним произошло.

— В счастливой ты рубашке, видно, родился, — сказал ему пожилой костлявый лазаретный санитар. — В машине той какая-то потаскушка ихняя еще была. Она и заверещала: хватит, мол, ее мутит от запаха крови. Они и оттащили псов, а то бы...

— Ты, папаша, русский, значит... Где в плен попал? — спросил Василий.

— Кака те разница, где попал? Допросчик! — хмуро откликнулся санитар. — Спасибо скажи твоему старосте блока... Он тя, поляк долговязый, сюда на свой страх и риск велел привезти. Помощник коменданта приказал никакой тебе помощи не давать. Русы, грит, живучи, зарастет, как на собаке. Не заросло бы... Узнает если, не сдобровать поляку... Ну, раз очнулся, скажу, чтоб в барак тебя сейчас. Поляка тоже надо пожалеть. Ничего, там доклемаешься. Я буду ночами ходить... Так ничего, мяса фунта с три оборвали с тебя собаки. Мы кое-чего, какие лохмотья висели, прилепили тебе назад их. Отметины, само собой, на всю жизнь останутся на память. Ну, а палец — конечно дело, уж не отрастет... Безымянный-то пальчик отъела тебе собачонка.

...Переступая с ноги на ногу, глядя на чугунные ворота с надписью «Право оно или нет — это мое отечество», на псов с вываленными горячими языками, Василий почувствовал вдруг, как заныла изжеванная собаками

¹ Вонючая сволочь! Номер? Номер?!

² Семнадцать тысяч триста двадцать четыре, господин гауптштурмфюрер.

кисть левой руки. Именно за эту руку он и был прикован к Назарову.

Рядом тяжело вздохнул Назаров. Василий глянул на него — капитан стоял, уронив голову, тупо глядел вниз, отрешенный от всего. Не один Назаров стоял в такой позе, но обвисшие и скорбные щеки Назарова вызывали почему-то не жалость, а досаду, и впервые вдруг где-то в глубине шевельнулось раздражение на него, бывшего командира. Кружилин перевел взгляд на Губарева, тот стоял сбоку, спрятав в рукава полосатой куртки посиневшие ладони, как-то странно выпятив губы, точно хотел свистнуть. Почувствовав на себе взгляд Василия, наклонился к нему и не менее странно произнес полупшепотом:

— Вот, послушай, Вась...

И начал вполголоса декламировать:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листья...
Подожди немного —
Отдохнешь и ты.

— Как? — спросил он, кончив декламировать.

— Что?

— Стихи-то? — И Губарев поглядел строго и ожидающе.

— Хорошо. Я их с детства знаю.

— Это очень хорошо. Это «Ночная песня странника» Гете, величайшего поэта Германии.

— Гете? Это, по-моему, стихи Лермонтова.

— Лермонтов их перевел только, Вася. Гениально перевел...

С того места, где стояли Василий, Губарев и Назаров, была видна верхушка красной черепичной крыши длинного, видимо одноэтажного, здания, высоко над крышей поднималась квадратная кирпичная труба, стянутая в нескольких местах, через ровные промежутки, железными ремнями. Труба чуть дымила, и люди в полосатых одеждах знали, что это за крыша и что за труба, ибо крематории во всех лагерях почти одинаковы.

— А я защитил диссертацию по творчеству Гете, — все так же негромко сказал Губарев, глядя на эту трубу. Потом чуть повернулся направо, долго глядел вверх каких-то построек на синеватые склоны невысокой горы, густо заросшей деревьями.

И вдруг в свете тусклого дня в его глазах блеснули слезы.

— Валь?! — качнулся к нему Кружилин. — Чего ты?

— Ничего, ничего, — прошептал Губарев. — Я всю жизнь мечтал побывать в Тюрингии... в Веймаре... — Голос его прерывался, заглох совсем, будто горло заткнуло пробкой.

Он сделал глоток, проглотил эту пробку. — ...в городе, где жил великий Гете...

Василий не понимал, что происходит с Губаревым, не знал, что сказать.

— Ничего... Задавят наши фашистов, и побываешь...

— Уже, уже... — сдавленно прошептал Губарев. — Только что был там, несколько часов назад... Я узнал это место. По репродукциям, по фильмам... Там вот... — Губарев кивнул в сторону, — гора Эттерсберг. Она вся заросла дубами и буком. Гете здесь и написал эти стихи в тысяча семьсот восьмидесятом году, на стене охотничьего домика, в горах, карандашом. Мы, знаешь где? В концлагере Бухенвальд. Бухенвальд — это значит буковый лес...

Поликарп Матвеевич Кружилин наскоро закрыл заседание бюро райкома, отпустил всех, кроме парторга ЦК ВКП(б) на заводе Савчука, председателя райисполкома Хохлова, встал из-за своего стола, шагнул к дивану, на котором вот уже минут пять лежал недвижимо Федор Федорович Нечаев. На ходу он взял ближайший стул, поставил возле дивана, сел. Глаза директора завода были приоткрыты, веки чуть подрагивали, большой лоб покрыт крупными каплями пота.

— Извините, Поликарп Матвеевич, — слабым голосом произнес Нечаев, не открывая глаз. — Вы извините меня.

— Сейчас придет врач, Федор Федорович.

— Это вы напрасно... Не надо врача. Я себя знаю, ничего страшного.

После аварии на заводе Нечаев чуть ли не полгода лежал в больнице, сперва в Шантаре, потом в Новосибирске, никто уже не надеялся, что он выкарабкается. Но он сумел встать на ноги, был назначен вместо погибшего Антона Савельева директором завода. Внешне он выглядел более или менее сносно, и первое время никто не догадывался, что его частенько скручивают и валят с ног приступы удушья и что его секретарша Вера Инютина, когда-то, еще в середине прошлого года, уволившаяся из райкома и поступившая на завод, иногда по целым часам отхаживала его в кабинете. Она поила его какой-то микстурой, всегда стоявшей в ящике его стола, клала холод на голову, иногда по его просьбе массировала худую, жиденькую грудь со страшными шрамами от ожогов. Нечаев строго-настрого запретил ей сообщать кому бы то ни было, даже собственной жене, о его болезни.

Но в марте нынешнего года Нечаев, никому ничего не объясняя, освободился от своей слишком уж заботливой секретарши, перевел ее в систему заводского ОРСа, а на место Веры взял Наташу Миронову. Новая секретарша при первом же головокружении у Нечаева подняла

на ноги весь райком партии, партком завода и заводской медпункт.

— Не смей! — приподнялся он было с дивана, когда Наташа у него в кабинете кинулась к телефону. — Холодное полотенце лучше на голову дай... Обрато в столовую прогоню!

— Это дело ваше! — резко проговорила Наташа. — Я не сама к вам в секретари напросилась.

Нечаев тогда потерял сознание, а когда очнулся, в кабинете уже находились Кружилин, Савчук, несколько врачей.

Это был первый случай, когда он потерял сознание. А затем приступы следовали один за другим, иногда его схватывало прямо где-нибудь в цехе, прибегали из заводского медпункта врач с санитарями, уносили на носилках...

— Надо капитально подлечиться, Федор Федорович, — заявил в конце концов Кружилин, видя, что дело может кончиться плохо.

— Да? А завод?

— Что ж завод... Дело идет о вашей жизни и смерти.

— Нет, я здоров. Это — так...

Кружилин посоветовался по телефону с Субботиним, тот немедленно отреагировал на тревожные слова секретаря райкома, прислал из Новосибирска старичка профессора, известного на всю страну светила медицинской науки, в клинике которого Нечаев лежал после пожара.

— Денег девать некуда вам с Субботиним, так хоть на путешествие этого профессора истратить, — дернул только Нечаев своей кудей бородной. — Он и без того знает, что я здоров.

Приезжий профессор несколько дней возился с Нечаевым, на прощание выпил у него дома несколько чашек чая, вместе они пришли в райком партии.

— Федор Федорович абсолютно здоров, — огорошил профессор Кружилина.

— Вот, — торжествующе сказал Нечаев.

— Но процентов, знаете... ну тридцать не тридцать, а процентов двадцать кожи и мяса на костях у него сгорело. И сейчас организм просто не справляется, знаете ли... чихает, как мотор, когда кончается бензин.

— Вот, — опять произнес Нечаев, но теперь уныло, с обреченной усмешкой.

— Что — вот? — сердито вскрикнул старичок профессор. — Удивительно не то, что сейчас не справляется... Удивительно, как вы, любезнейший Федор Федорович, вообще обманули смерть.

— С вашей помощью, дорогой профессор, — буркнул Нечаев.

— С моей? Нет-с и нет-с. И сейчас я, собственно, еще раз приехал на вас взглянуть из любопытства. Я не знаю, не могу понять... почему, откуда и какие у вас жизненные силы?

А уж поверьте, в медицине, в человеческом организме я немного разбираюсь.

— Что ж вы посоветуете, профессор? — спросил Кружилин.

Старичок, худенький, седенький, снял очки, подслеповато сощурился, глядя поочередно то на Кружилина, то на Нечаева, протер носовым платком глаза и снова надел очки.

— Видите ли, молодые люди... Я советую ему работать, как работал. Федора Федоровича я предупредил — конец может наступить в любой день, в любую минуту... Но если оставить привычный ритм жизни... все эти заботы — кто знает, не наступит ли конец еще раньше?! Да, кто знает... Жизнь — суть движение, постоянная работа мышц, мозга, определенное состояние психики. Если еще популярнее вам сказать — всякий механизм в бездействии быстро ржавеет... Пейте, Федор Федорович, мою микстуру, я туда ввел некоторые новые компоненты...

Но микстура старичка профессора помогала все меньше. Нечаев сваливался с ног все чаще, синел, хрипел и надолго терял сознание. Придет ли он в себя после очередного приступа, никто сказать не мог. Никто, естественно, не мог знать, какой приступ будет последним, но все видели и понимали, что Федор Федорович Нечаев умирает.

Сегодня приступ случился во время его выступления на бюро райкома партии. Обсуждался — в который уже раз! — вопрос о жилье для рабочих завода. Два года идет война, и два года этот проклятый вопрос не сходит с повестки дня. Вокруг завода, там, где раньше была степь и гулял на свободе ветер, вырос целый бревенчатый город, на главной улице возвышалось десятка полтора, небольших правда, двухэтажных кирпичных зданий. Но около тысячи человек все еще жили в землянках. Правда, это были не те люди, что прибыли в Шантару осенью 1941 года. Завод расширялся, постепенно осваивая новые виды оборонной продукции. Сначала выпускал одни артиллерийские снаряды малых калибров, но постепенно переходил на более крупные. Завод находился по-прежнему в ведении Народного комиссариата боеприпасов, но год назад, где-то вскоре после пожара, появилась в Шантаре группа работников Народного комиссариата минометного вооружения с соответствующими полномочиями и распоряжениями Москвы организовать на заводе производство минометов и мин. Кружилин, привыкший уже к невозможному, нисколько не удивился, только поинтересовался, будут ли еще прибывать рабочие.

— А как же... — ответили ему. — И специалисты, и рабочие, и кой-какое оборудование. Как с жильем?

— Нормально, — сказал Кружилин ровно и спокойно, ибо что-то другое говорить было бесполезно, возражать, жечь нервы бессмысленно, как бессмысленно осенью протестовать против наступления зимы. Зима все равно наступит, небо не закроешь, и в положенный срок сверху повалит снег. В определенное время приедут и новые сотни, а то и тысячи рабочих, и надо их как-то принимать, устраивать. И они приезжали, их принимали, устраивали, завод уже выпускает и минометы, и мины к ним. Нынешней весной Кружилин Поликарп Матвеевич «за успешное выполнение специального задания правительства по разработке и изготовлению новых образцов боеприпасов» был в числе других награжден орденом Ленина.

Нечаев дышал тяжело, жиденькие волосы на голове смокли, висели сосульками. Савчук, пристроившись у изголовья, непрерывно и молча вытирал большой выпуклый лоб Нечаева носовым платком.

— Спасибо, Игнат Трофимович... Спасибо, — говорил директор завода Савчуку, человеку немногословному и, в общем, суровому, но сейчас в его темных глазах была боль и нежность.

Кружилин глянул на парторга и тотчас вернулся. «Черт, — подумал Кружилин, — как мы мало знаем друг о друге, что вот я, Кружилин, знаю о Савчуке? И как мало в этой беспросветной жизни проявляем мы забот друг о друге, как мало отдаем друг другу простого человеческого тепла». Только недавно он, Кружилин, узнал, что сам-то Савчук Игнат Трофимович с женой и двумя детьми-школьниками до сих пор живет в землянке.

— Ка-ак? — удивился Кружилин, в самом деле искренне не понимая, как же так получилось, ведь ему, помнится, выделялась даже двухкомнатная квартира.

— А что? — Савчук спокойно поглядел на секретаря райкома.

— Тебе же выделяли жилье?

— Я отдал квартиру одному старичку, мастеру механического цеха. Это гениальный старик... У него дочка туберкулезная.

— Это... это непорядок! — вымолвил Кружилин зло, с раздражением. — Нашелся филантроп. Старичка бы тоже не обидели.

— Какой там непорядок, — так же просто и мягко произнес Савчук. — Сейчас такой непорядок, может, и есть самый высший порядок... Из землянок я уйду последним.

— Это уж, извини, глупо.

— Может быть, — холодно сказал Савчук и отвернулся, давая понять, что разговор ничемный и продолжать его он не намерен.

Кружилин где-то в душе был обижен, что Савчук тогда, осенью сорок первого, жестоко отхлестал его на первом суматошном, непродуманном совещании в райкоме партии по воп-

росу сроков пуска завода. Он пригласил людей посоветоваться, что же делать — отправлять ли в обком партии нереальный, как он считал, график восстановления только что прибывшего завода, а Савчук высмеял при всех его беспомощность и потребовал объяснить, когда будут стройматериалы, жилье, когда дети рабочих завода пойдут в школы. Не скоро понял Поликарп Матвеевич жесткую правоту этого человека, правоту, вызванную обстоятельствами. И когда его утвердили парторгом ЦК завода, воспринял это без энтузиазма, скорее из чувства дисциплинированности. Потом увидел и понял, что малоразговорчивый, внешне неторопливый, этот человек обладает ясным умом, непреклонной волей, он всегда знает, чего хочет. Не одобрял он только этой его сверхскромности. Но тот короткий разговор о квартире как-то вдруг приоткрыл душу Савчука больше, чем все эти долгие и кошмарные месяцы. А теперь вот выражение глаз, носовой платок в жилистой худой руке, которым он молча и беспрестанно вытирает пот со лба и щек Нечаева, словно подтвердили, что этот украинец из той же породы, что и покойный Антон Силантьевич Савельев, что и Нечаев, и Хохлов... Только у каждого из них своя суть и свой характер.

— Я вот что думаю, — с трудом заговорил Нечаев с дивана. — Я это и хотел сейчас на бюро сказать... Что там наши рабочие в тайге делают? Грибы, что ли, собирают? По ягоды ходят? Пора, наконец, кончать с землянками. Лесу-то нам требуется всего ничего, кубометров с тысячу. Ну, может, чуть больше... Надо к концу июля лес заготовить, как хотите... И сплавить сюда. Ведь подумать только, как нам повезло — река! Несколько дней — и дровесина здесь. Распиленная. Пилить, пилить прямо на месте. Поезжай туда сам, Игнат Трофимович. Я понимаю, ты только что вернулся из Москвы, у тебя на заводе дел накопилось. Но это для нас сейчас самое главное. Мы тут без тебя ничего... Я оклемаюсь, вот... Поезжай. Возьми пилы, сколько надо. Слесарей бери, токарей снимай со станков. Бери кого хочешь, я разрешаю... К зиме ни одного человека чтоб в землянках не было. Тебя последнего я лично приеду выселять. Надо бараки из плах строить, засыпные... Мы сделали ошибку, построив много барачков из бревен. Расточительство в наших условиях. Поезжай...

— Хорошо, Федор Федорович, — негромко сказал Савчук.

— Ну вот, — облегченно вымолвил Нечаев. — Ты все это сможешь... И вообще, что бы завод, что бы я делал без тебя?

— Ну... уж.

— Нет, я знаю.

Длинная речь заметно утомила Нечаева, с каждым словом пот выступал все обильнее,

под конец грудь директора затряслась, он кашлянул и захрипел. Потом голова его свалилась легонько набок. Хохлов, молча стоявший у окна, сделал несколько шагов к дивану и испуганно замер, Кружилин стремительно поднялся. Только Савчук не шевельнулся, все продолжал мокрым уже платком вытирать с лица Нечаева испарину. Потом взял руку, пощупал пульс.

— Потерял сознание! Где же врач?

И в это время внизу, на первом этаже, хлопнула входная дверь, по лестнице затопали чьи-то ноги. Первой в кабинет вбежала жена Нечаева — еще не старая, красивая женщина, с измученными глазами, простоволосая и растрепанная. «Федя! Федя!» — вскрикнула она, рванула ворот его рубашки и, плача, принялась растирать ему грудь. За ней мелькнула Наташа Миронова, опустила перед диваном на колени, всхлипнула.

— Ты что?! — крикнула на нее жена Нечаева сквозь слезы. — Перестань скулить! Намочи полотенце... Есть тут какая-нибудь тряпка?

Наташа вскочила и побежала из кабинета, на ходу сдергивая косынку. У дверей она чуть не столкнулась с врачом заводского медпункта. Врач, женщина лет сорока, чем-то похожая на жену Нечаева, на ходу раскрыла медицинский свой баульчик, опустила, как Наташа до этого, на колени перед диваном. В руках у нее был шприц, она сделала укол в худую руку Нечаева... А в кабинете гремели, раскладывая носилки, двое санитаров.

Через несколько минут директора завода, так и не пришедшего в сознание, унесли. До дверей с одной стороны носилок шла, вытирая мокрые щеки, его жена, с другой — врач в белом халате, а сзади всех Наташа. Потом сзади оказалась жена Нечаева, она, прежде чем скрыться за дверью, обернулась, вздохнула:

— Боже мой... боже мой... — А вам — спасибо.

Неизвестно, за что она поблагодарила их, троих крепких и здоровых мужиков, и от этой благодарности всем стало неловко, все почувствовали какую-то великую обязанность перед Нечаевым, его женой, перед этим ярким, солнечным июньским днем, полыхающим за окном...

Потому, может быть, в кабинете стояла некоторое время неловкая тишина, а Сталин в в полувоенной, полугражданской своей форме строго глядел с портрета над столом, и его сухой и усталый взгляд стерег эту тишину.

— Ах, как несправедливо, несправедливо это, — хрипло выдавил наконец Хохлов.

Ему никто не ответил. В кабинете стоял резкий запах лекарства, Кружилин почувствовал его только после этих слов председателя райисполкома.

— Да, дело плохо, — кивнул Кружилин, прошел к столу, но не сел на свое место, остановился. — Дело все хуже. Я вас, собственно, оставил, чтобы посоветоваться. Завод не может сейчас и неделю жить без руководителя... Надеюсь, вы меня правильно понимаете? Мы должны быть готовы...

Кружилин говорил трудно, сбивчиво, не глядя на Хохлова и Савчука. Но чувствовал, как парторг сурово поджал сухие губы, а Хохлов неловко глядел в окно.

— Я лично давно готов, — проговорил Савчук негромко и невесело. — И если что, я рекомендовал бы на должность директора завода Ивана Ивановича... вот его.

Хохлов, примостившийся было на подоконнике, сполз с него, заморгал быстро глазами.

— Что-с?

— А что же... — раздумчиво произнес Кружилин.

— В Новосибирске и в Наркомате, я думаю, с нашей рекомендацией согласятся.

— Нет, позвольте, позвольте! — Иван Иванович торопливо подбежал к столу, не соображая, видимо, что делает, взял стопку папок и бумаг, лежавших с краю, приподнял их, будто хотел этими бумагами сердито хлопнуть по зеленому сукну, но передумал в последнюю секунду и осторожно положил на место. — Я вот все удивляюсь недоразумению, в результате которого я хожу в председателях исполкома... Не делайте еще одной нелепости.

— А я — так рад, что это недоразумение произошло, — чуть улыбнулся Кружилин.

— Да?! — и Хохлов опять часто заморгал и покраснел. — Вы все подшучиваете надо мной? Рядовым инженером — пожалуйста. Я сам просился.

— Рядовым я тебя не отпущу, — сказал Кружилин. — Ладно, кончим пока об этом.

— Поразительно, — пробормотал Иван Иванович. — Очень, знаете, поразительно. Вы серьезные люди?

На это Хохлову никто ничего не ответил. Савчук и Кружилин, за два военных года как-то осевший, заметно ссутулившийся, думали каждый о своем.

— Ну что ж, Поликарп Матвеевич... — вздохнул наконец Савчук. — Пожалуй, дня через два я выезжаю в тайгу.

Кружилин кивнул, соглашаясь.

Теплый дождь, хотя и робкий, негустой, накрапывал с самого утра, обмывая крыши и деревья. Он снимал с уставшей от зноя земли усталость и молодил ее, возвращая ей первоначную красоту и свежесть, и все видели, что земля, как и прежде, юна и прекрасна.

Во всяком случае об этом думал Поликарп Матвеевич Кружилин, шагая по шантарской

нелюдной улице в ту сторону, где стоял домик вдовы Антона Савельева. Он шагал и чувствовал, как теплая и благодатная влага проникает сейчас в каждую пору земли, производит там свое оплодотворяющее священнодействие, почти физически ощущал, как в лощинах, сырых балках, над рекой и в дебрях леса зарождаются свежие, пахнущие небом туманы и, растекаясь, плотно закрывают землю, и именно под этим покровом и происходит извечное и непонятное таинство возникновение живого.

Из переулка вынырнула ватага босоногих перемокших мальчишек, пронеслась, шлепая по дождевой луже и окатив Кружилина как раз в тот момент, когда Поликарп Матвеевич обходил ее. «Вот сорванцы», — беззлобно подумал Кружилин, и на миг возникли перед ним глаза сына, глаза Васьки, сгнувшего бесследно, сгоревшего где-то в безжалостном пекле войны. Глаза эти были беспомощно-незащищенными, они будто бы с тоской спрашивали: что ж ты, отец, как же ты допустил и смирился, что я погиб, что никогда не будет меня больше на земле? А ведь я вот так же любил бегать под дождем по лужам, любил дышать вот таким же влажным и теплым июльским воздухом.

Поликарп Матвеевич, чувствуя тупую боль в сердце, проникающую куда-то все глубже и глубже, остановился, одной рукой ухватился за чей-то штaketник, другой растегнул пуговицу френча, сунул под нее ладонь, начал поглаживать сердце. «Ах, Вася, Вася! Сынок... Хоть бы кто сказал, где косточки твои лежат».

И глаза его, оплетенные сеткой морщин, заблестели.

Откуда ж было знать Поликарпу Матвеевичу, что сын его Васька пока жив, что он находится в Бухенвальде, концентрационном лагере, неподалеку от благословенного города Веймара, что полчаса назад он, подгоняемый плетью некоего Хинкельмана, пьяного и рослого эсэсовца в чине гауптшарфюрера, влез на молодую пятиметровую ель и под его визгливую ругань раскачивается сейчас на самой верхушке дерева. Это было одно из любимых развлечений вечно пьяного Хинкельмана. Он загонял несчастных на деревья, которыми было обсажено одноэтажное, двухсотметровой длины, здание, похожее на конюшню, расположенное неподалеку от лагерной каменоломни, и заставлял их раскачиваться на верхушках до тех пор, пока они от головокружения или обессиленные не срывались оттуда, ломая руки, ноги и позвончики. Дальнейшая их судьба зависела от степени увечья. Если заключенный ломал позвончик, Хинкельман либо капо рабочей команды каменоломни, некий Айзель, тоже пьяница и к тому же гомосексуалист, присутствовавший обычно на развлечениях Хинкельмана, тут же его пристреливали, а труп велели отво-

лочь в крематорий. Если была сломана рука или нога, заключенного могли отправить после побоев в больничный барак... И еще судьба сорвавшегося с дерева зависела от каприза, от настроения самого Хинкельмана. Вместо больничного барака он мог плетью указать на входную дверь этого длинного здания, похожего на конюшню. Но это была не конюшня, а специально оборудованное помещение для убийства выстрелом в затылок. Василий это уже знали, раскачиваясь под нещадным в тот день бухенвальдским солнцем на верхушке ели, урывками вытирал едкий пот с лица, прикидывая, сколько времени он еще сможет продержаться на дереве и что сделает Хинкельман, как только он сорвется, — пристрелит, отправит в лазарет или в это здание, похожее на конюшню. А сорвется скоро, вот уже в голове все плывет, мешается, и начинает подташнивать...

...Поликарп Матвеевич усиленным воли заставил себя не думать о погибшем сыне — он умел, научился это делать, — постоял еще несколько секунд возле забора и пошел дальше. Он думал теперь о том, что ему и самому хорошо бы съездить в тайгу и поглядеть, как там заготавливают древесину, но сделать это будет невозможно. Надо ему сейчас, за предстоящую неделю, объехать весь район, еще и еще раз поглядеть, что с посевами, как люди готовятся к уборке. Сиротская, кажется, нынче уборка будет. Весной не было ни одного дождя, яровые почти посохли, оживит ли их этот дождичек? Хилый он, негустой, разошелся бы! Ах, если бы хоть и такой, да побрызгал две недели назад?! А план хлебосдачи невиданный. Иван Иванович Хохлов похудел нынче с этим планом. Добрый он мужик, еще, правда, малоопытный и стесняющийся как бы своей должности, но жаль, жаль будет, если его придется отдать на завод. Да, план хлебосдачи... И чувствует он, Кружилин, план этот будет еще увеличен. Кажется, Иван Михайлович Субботин уже поглядывает на телефон, чтобы сообщить об этом Кружилину... А что сдавать, вырастет ли нынче что?

Подойдя к маленькому домику, где жила жена Антона Елизавета Никандровна с сыном, счищая грязь с сапог, Поликарп Матвеевич подумал еще, что вот уже почти три месяца — апрель, май и июнь — на всех фронтах стоит относительное затишье, сводки информбюро, все три месяца скупые и короткие, сообщали в основном о незначительных боях и стычках. В публикациях Совинформбюро примелькалась фраза, что повсюду «шли бои местного значения» и «за последние сутки на всех фронтах существенных изменений не произошло».

Елизавета Никандровна встретила Кружилина в кухне, всплеснула обрадованно худыми руками, кинулась раздевать.

— Ничего, я сам...

— Ах, боже мой, Поликарп Матвеевич! Как я благодарна вам, что вы зашли. Вот сюда садитесь, я вас чайком напою.

Кружилин сел за кухонный стол, огляделся. Он не был здесь давно, пожалуй, с весны, когда и без того хлипкое здоровье Елизаветы Никандровны стало особенно плохим, сердечный приступ следовал за приступом, и однажды мартовской ночью она чуть не скончалась. Тогда-то он и был тут. Но потом ей неожиданно стало полегче, сердечные приступы не возобновлялись.

В кухне ничего не изменилось со дня похорон Антона, вернее, с того дня, когда Кружилин впервые побывал тут, приглашенный вместе с Нечаевым и Хохловым на ужин, во время которого впервые встретились три брата — Антон, Иван и Федор. Сколько времени прошло с того вечера! Антона нет в живых. Иван и Федор на фронте, вернуться ли, живы ли? С Иваном пока вроде все нормально, воюет, а Федор... Ушел и будто в воду канул, ни одного письма домой. Кружилин этому как-то не удивлялся, Анна, кажется, тоже. «Да живой, должно, чего ему... такому делается...» — сказала она как-то при случайной встрече. И Кружилин почувствовал, что писем от мужа она не ждет, они ей не нужны, а если бы письмо пришло, никакой радости оно ей не принесло бы... А здесь, в крохотной квартирке Савельевых, все так же... Тот же маленький посудный шкафчик, тот же горшочек с цветами на подоконнике. Даже, кажется, тот же половик на полу, только износившийся, более потертый...

Сама Елизавета Никандровна вот не та. Она до предела усохла, сделалась маленькой, словно невесомой, волосы, ослепительно белые, поредели. Когда-то угольно-черные, длинные, как крылья, брови тоже поседели. И лишь глаза ее, большие и зеленоватые, горели на худом лице двумя яркими пятнами, освещая и одухотворяя его. В глазах была жизнь — не затухающая, а возрождающаяся, в них светилось какое-то детское изумление, как у ребенка, для которого в первый раз открывается непонятный пока и удивительный мир.

Поликарп Матвеевич все это отметил в одну секунду, внутренне обрадовался, и теперь, наблюдая, как Елизавета Никандровна заваривает чай, с тихой грустью думал о судьбе, выпавшей на ее долю.

— Вы извините, Поликарп Матвеевич, что я вас не в комнате угощаю, — проговорила вдруг она. — Там Юрий спит после смены.

— Ну что вы! Какие, право, пустяки.

«Пытки унесли ее здоровье, — думал далее Кружилин, — она была не в состоянии нигде работать, не могла больше рожать, но, как говорил Антон, она никогда, ни разу не пожаловалась на свою судьбу. И, когда погиб Антон,

она, сама находясь на краю могилы, тоже ведь ни разу никому не пожаловалась, ни к кому не обратилась за помощью, за участием. И только сегодня позвонила в райком и сухим, сдавленным голосом попросила принять ее».

— Мне очень нужно. Вы должны помочь мне... Мне надо безотлагательно.

— Хорошо, Елизавета Никандровна. Я сейчас зайду к вам.

— Ну спасибо. Я тогда чай поставлю.

Он отложил все дела и вышел из райкома, обеспокоенный. «Что же случилось, какая ей нужна помощь?» И у него отлегло от сердца, когда он увидел живой блеск ее глаз.

Разливая чай, Елизавета Никандровна задавала ровным и тихим голосом обычные вопросы о положении дел в районе, на заводе, Кружилин отвечал, она внимательно выслушивала, кивала головой. Спросила вдруг, нет ли каких известий о его сыне? Поликарп Матвеевич ответил, что нет.

Чай они пили молча. Елизавета Никандровна будто забывала о своей чашке, двигала бесцветными бровями, чуть приметно вздыхала. «Если все-таки она оправилась, что в общем-то невероятно... значит, в ней идет какая-то борьба, — думал Поликарп Матвеевич, тихонько наблюдая за ней. — И что-то ее мучает. Что?»

— Так я слушаю, Елизавета Никандровна, — сказал он, отодвигая чашку. — Спасибо большое за угощение. Я готов, если в моих силах, оказать любую помощь.

— В ваших, — улыбнулась Елизавета Никандровна. — Я чуть... я чуть не отправилась вслед за Антоном в могилу. А зачем?

— Действительно ни к чему... — осторожно подержал Кружилин.

— Вы можете верить, можете нет, но когда я спросила себя: «А зачем?» — у меня вдруг начали прибывать силы. Что-то в мозгу проясниться начало... Ради сына надо жить. Антона не вернешь... И в память о моем отце. Вы знаете, мой отец погиб на царской каторге. Его застрелили во время побега из Александровского централа.

— Мне рассказывал Антон.

— Антон... — Она вдруг всхлипнула.

— Ну, ну, Елизавета Никандровна!

— Простите, — проговорила она, вытирая глаза.

Немного помолчав, Елизавета Никандровна вдруг спросила:

— Где сейчас Полипов Петр Петрович? Бывший председатель райисполкома?

Кружилин ответил не сразу. Он, глядя в посветлевшие, начавшие вдруг отдавать холодком глаза Елизаветы Никандровны, пытался сообразить, почему вдруг она задала такой вопрос, хотел уловить смысловую связь всего этого в общем-то беспорядочного разговора. Но не

мог, хотя теперь уже чувствовал, что она, эта смысловая нить, существовала. А в том, что разум Елизаветы Никандровны в полном порядке, был теперь твердо уверен.

— Он, кажется, редактор какой-то военной газеты. И кажется, где-то в глубоком тылу. Я как-то спрашивал у Полины Сергеевны, его жены. Такое что-то она мне сказала. Вы знаете Полину Сергеевну? Она работает заведующей в библиотеке...

— Да, он где-то в армии, Полипов, — проговорила Елизавета Никандровна, не отвечая на его вопрос. — Ах, товарищ Кружилин, товарищ Кружилин...

Она умолкла, задумавшись, и Кружилин ее не тревожил, ожидая с интересом и почему-то с беспокойством дальнейших слов.

Дождь за окном, кажется, кончился, утих, весело затрещали воробьи, неугомонные маленькие птицы, может, и глупые, но без которых жизнь на земле была бы намного беднее. Воробьи в предствлении Кружилина всегда были связаны с появлением солнца, их беспорядочный крик по утрам был особенно яростен на солнцевосходе. И вот сейчас Кружилин ждал появления солнца, и точно, через минуту, а может и меньше, тугие солнечные лучи проломили где-то облака, ударили по стеклам и желтыми пятнами обрызгали побеленную стенку за спиной жены Антона, растеклись по крашеному полу.

— Он где-то в армии, — повторила Елизавета Никандровна резко и неприятно, глянула на Кружилина почти враждебно. — А вы знаете, он... — Голоса у нее не хватило, она задыхнулась и, сильно вытянув шею, глотнула воздуха. И вдруг воскликнула резко: — Это он выдавал Антона царской охранке! Он! он!

Последние два слова она выкрикнула истерично, маленькое лицо ее пошло пятнами, щеки и губы затряслись. Поликарп Матвеевич, вспомнив, как били ее припадки, встревоженно поднялся. А она в эту же секунду осела, упала на стул, худенькие плечи ее мелко дрожали.

— Успокойтесь, Елизавета Никандровна! — Он неловко, неуклюже подошел к ней, но дотронуться до нее не решился, не посмел. — Очень прошу вас. Не надо...

Она, рыдая, взяла полотенце со стола, прижала к глазам.

— Хорошо. Вы не беспокойтесь... Не беспокойтесь.

Плечи ее еще вздрагивали, но Кружилин по каким-то неясным и необъяснимым для себя признакам понял, что это не припадок, что ничего худого не случится.

— Вы поняли, что я сказала? — негромко спросила она.

— О Полипове?

— Да, о нем. Он был ловким провокатором!

— Но... Елизавета Никандровна... Как это доказать? У вас есть что-нибудь? Какие-то доказательства?

Подбирать слова Кружилину было трудно.

— Доказательства! Ах, боже мой, какие могут быть доказательства? — вытирая полотенцем глаза, проговорила она, уже относительно спокойно.

— Да, конечно, — вымолвил Кружилин, не то соглашаясь с ней, что доказательств за давностью лет быть не может, не то упрекая ее за горячность и необдуманные слова. — Вот видите.

— Нет, я знаю... Впрочем, вам, конечно, странно такое вообще услышать. Вы же не знаете... ничего. Как мы жили и боролись...

— Почему же? Хотя, конечно, очень мало. Из рассказов Антона Силантьевича, Субботина...

Елизавета Никандровна вздохнула, положила полотенце себе на колени.

— Нет у меня никаких доказательств, Поликарп Матвеевич. Но я уверена... Тогда, до революции, едва Антон оказывался на воле, его местонахождение быстро становилось известным царской охранке. И его брали всегда неожиданно, быстро, его находили даже в таких местах, о которых, как говорится, ни одна собака не знала... Но как-то же его находили! Как? Это мне всю жизнь не давало покоя. Я всю жизнь раздумывала, сопоставляла, анализировала... Знала о его местонахождении, конечно, всегда я. Знал Субботин Иван Михайлович. Еще кое-какие товарищи... Я, снова и снова раздумывая о том или другом аресте Антона — а я-то помню их все наперечет, — вспоминала тех, с кем он тогда общался, кто знал его местонахождение. И я всех подвергла своеобразному рентгену. Не мог ли тот? Не мог ли этот быть провокатором? Нет, вы знаете, нет... К такому выводу приходила я. И вот, как говорится, по принципу исключения всегда оставался Полипов...

Говорила теперь Елизавета Никандровна хотя и сбивчиво, но ровным и спокойным голосом, и Кружилин отлично понимал ход ее мысли.

— А... сам Антон? Вы когда-нибудь говорили с ним... об этом?

— Нет. Я боялась. Чего, вы спросите? Это не так просто объяснить. Не все в жизни бывает так просто объяснить... Полипов был... равнодушен ко мне в молодости. — Елизавета Никандровна немного смутилась. — Сейчас это, конечно, трудно предположить... И я не решаюсь...

Она умолкла. За окном все орали воробьи, Елизавета Никандровна будто прислушивалась к их трескотне, пыталась разобрать их запо-

лошный язык. Солнце залило всю кухню своим щедрым светом, горячие и тугие лучи били в закрытые двустворчатые двери, ведущие в комнату, где спал Юрий, сильно давили в них, и казалось, что обе створки сейчас поддадутся этой солнечной силе и медленно раскроются.

— Я сказала — это всю жизнь не давало мне покоя... Это не совсем так, — снова заговорила Елизавета Никандровна. — За многие годы я так устала от всех этих дум, бесполезных и бесплодных, что решила забыть... заставить себя забыть о прошлом... И обо всем. Что толку? И заставила. Это было еще до войны, когда мы жили в Харькове, потом во Львове. Ну, а потом — война, Антона назначили директором этого завода... Я приехала с сыном сюда и обомлела. На перроне стоял... встречал меня тот, кто не давал мне столько лет покоя, о ком я заставляла себя больше не думать! Что это? Рок судьбы? Невообразимо... Опять, опять этот человек стоял на пути Антона! На нашем пути... Я чуть не упала в обморок. И все прежнее ко мне вернулось...

При словах «на нашем пути» Кружилин чуть шевельнул бровями.

— Ну, допустим, — проговорил он, когда Елизавета Никандровна умолкла. Проговорил как-то машинально, раздумывая не о том Полипове, которого знала она, а о том, которого знал он. И, только проговорив, опомнился: что он может допустить! На каком основании? Но слово было сказано, надо было продолжать. И Кружилин видел, что жена Антона ждет продолжения. — Допустим... что все это так, как вы говорите. Хотя я... Я не очень высокого мнения о Полипове, о его, если хотите, нравственных качествах. И все-таки то, что вы говорите...

— У меня, повторяю, нет никаких доказательств, — сказала жена Антона сухо и резко. — Но они у меня будут. Я их достану.

Кружилин опять пошевелил бровями, спросил:

— Как? Каким образом?

— Не знаю. Но это мой долг. Перед памятью Антона. У меня хватит сил! Я не умру, пока не достану эти доказательства. Я должна! Обязана!

Она проговорила это залпом, глаза ее горели зеленым светом, ноздри шевелились. Изумленному Кружилину на миг показалось, что перед ним не немощная, болезненная Елизавета Никандровна, а какая-то другая женщина, молодая и сильная, пропитанная насквозь каким-то невиданным фанатизмом.

— Елизавета Никандровна! — удивленно промолвил он.

— Что — Елизавета Никандровна? — переспросила она, угрожающе подняв голову. — Я так решила. Понятно?!

Да, перед ним сидела неукротимая фанатичка. Это было невероятно, но это было так.

А потом это ощущение у Кружилина прошло. Они помолчали с полминуты, может, с минуту — и перед Поликарпом Матвеевичем снова сидела слабенькая, бессильная Елизавета Никандровна. Она как-то по-старушечьи расправляла лежащее на коленях полотенце и тихо говорила:

— Давайте не будем... не будем больше об этом. Ах, боже мой, куда ушел наш разговор? Но я не хотела, это как-то само собой. Просьбы-то у меня к вам, Поликарп Матвеевич, маленькие. Помогите... пусть с Юрия моего снимут бронь, пусть он пойдет на фронт. А мне помогите устроиться на работу... Вот... такие две просьбы.

Кружилина поразили и первая и вторая просьбы. Первая удивила несказанно. Он знал, как мучился Антон, что его сын, здоровый тридцатилетний мужчина, находится не на фронте, а тут, при нем, на заводе. Кружилин как-то заметил, что зря он, Антон, мучается этим обстоятельством, мало ли на заводе работает и тридцати- и сорокалетних мужчин, тут тоже фронт, снаряды должен кто-то делать. Антон Силантьевич на это ответил:

— Да, но он мой сын, сын директора... И людям не запретишь по этому поводу думать что угодно. Пойми мое состояние.

Савельев во время того мимолетного разговора, как припомнил сейчас Кружилин, немного помолчал, потер большой свой лоб, точно хотел ладонью расправить собравшиеся на нем морщины, и добавил:

— Я бы давно отправил его на фронт, но Лиза... Я, говорит, умру, не перенесу этого, во мне потухнет что-то, если его не будет рядом... И потухнет. Она сошла с ума от пыток в белогвардейском застенке тогда, в восемнадцатом... Я до сих пор не могу понять, как она оправилась, что помогло ей вернуть разум. И знаю — он помутится снова, если Юрку отправить. Но и держать сына возле нее я больше не могу.

И вот Елизавета Никандровна вдруг сама просит отправить сына на фронт!

Кружилин, не зная, что сказать, что ей ответить, отодвинул зачем-то подальше чайную чашку. Елизавета Никандровна молча встала, подошла к окну и, сложив руки на груди, стала глядеть на пустынную улицу. Обочины улицы заросли мягкой травой-конотопом, трава была мокрая от недавно прошедшего дождя, словно обсыпана искрящейся росой. Елизавета Никандровна долго глядела на горящие под солнцем зеленые лоскутья, молчала, губы ее были сложены обиженной подковкой.

— Вы удивлены, видимо, — проговорила она наконец, не меняя позы. — Мне вам не объяснить, почему я так решила со мной... во мне что-то произошло.словно какая-то пелена

с глаз упала. Он — сын Антона и мой... Почему же он здесь, а не там... не в том пекле, где идет смертная битва за то дело, за которое мы с Антоном боролись всю жизнь? Он, Антон, переживал, мучился, а я, старая дура, понять не могла...

Елизавета Никандровна опять всхлинула, вернулась к столу, села.

— Вот... И знаете, во мне откуда-то... я не знаю откуда, появились силы. Вы понимаете, Поликарп Матвеевич?

— Что же... Это можно понять, — проговорил он, потому что ничего иного сказать не мог. Но Елизавета Никандровна вдруг отрицательно помотала головой.

— Не-ет. Этого понять вы не можете, невозможно. Как невозможно кому-то постороннему понять, что мне вернуло тогда разум... После тех пыток. А мне его Юрка вернул.

Кружилин ничего не говорил, слушал молча, размышляя, что с Елизаветой Никандровной действительно что-то происходит или произошло необыкновенное и что понять это до конца и в самом деле кому-то постороннему невозможно.

— Хотите, я расскажу... попытаюсь рассказать, как это произошло?

— Расскажите, — кивнул Кружилин.

Елизавета Никандровна помолчала. Ее глаза были полуприкрыты, но Кружилин все равно видел, как в них то разгорается, то притухает лихорадочный зеленоватый огонек. Видимо, далекое и злое прошлое возникало перед ней волнами, одна картина, вызываемая усиленным памятью, тотчас уступала место другой, и Елизавета Никандровна выбирала, с какой начать.

— Нас арестовали вечером двадцать шестого мая тысяча девятьсот восемнадцатого года, в тот день и час, когда начался в Новониколаевске белочешский мятеж, — наконец начала она. — Меня, жену Митрофана Ивановича Савельева Ульяну Федоровну. Митрофан Иванович — это дядя Антона. Я, как вышла замуж за Антона, так у них и жила... В тот день Антон ехал из Москвы, со съезда комиссаров труда. Он был избран томским губернским комиссаром месяцев пять назад, был, значит, делегирован на съезд, теперь возвращался в Томск и по пути хотел нас с Юркой забрать к себе. Ульяна Федоровна пошла нас проводить... Нас и арестовали всех, прямо на вокзале, и Антона, едва он выпрыгнул из вагона и подошел к нам... Опять, опять кто-то знал, что Антон возвращается из Москвы. И этот кто-то знал, что в этот вечер начнется мятеж чехословаков! Знал! Поезд еще подъезжал к станции, а Антона уже ждали... этот, Свиридов, ждал. Был у нас такой в Николаевске... Он был комиссаром одного из красногвардейских отрядов. В прошлом Свиридов был томским

меньшевиком, потом порвал с ними, перешел к нам. Так мы считали. А на самом деле сволочь это была, обманул он всех нас. Иван Михайлович Субботин очень хорошо знал этого Свиридова. И Субботина он провел. И вот со своим «красногвардейским» отрядом он пришел нас арестовать. И Юрку тоже взяли. Я до сих пор помню, каким светом горели глаза этого Свиридова, как вздрагивали тонкие крылья острого носа... А из-под кожаной фуражки торчал клоч белесых волос. Этот клоч был мокрый от пота. Я помню, как он вяло и нехотя будто, зная, что никакая сила не в состоянии нарушить его приказа... и... наслаждаясь этим... сознанием этого, произнес, глядя на Антона: «Взять его! Забрать и этих двух баб. Да и этого щенка тоже на всякий случай». Голос его помню... хриплый и пропитой. Он в ушах всю жизнь у меня звучит.

— Так, может, этот «кто-то», который знал о прибытии Антона, и был Свиридов? — осторожно проговорил Поликарп Матвеевич.

— Нет, — опять мотнула головой Елизавета Никандровна. — Нет... Полипов знал...

Солнце все било в комнату, только оно скатывалось уже все дальше на запад, лучи теперь не доставали до пола, солнечные пятна ползли по стене все выше, стали захватывать потолок.

— Нас повели по темным и окраинным улочкам Новониколаевска в сторону городской тюрьмы, — продолжала она, отдохнув. — Откуда-то, не очень издалека, доносились выстрелы. Палили беспорядочно и часто. В северной части Новониколаевска стояло зарево, там что-то горело. Юрка, помню, шел не хныкая, только все прижимался к отцу. А у того руки в наручниках... Только Ульяна Федоровна всхлипывала... И вскоре втолкнули нас в тюремный двор. Боже! Там негде было повернуться... В Новониколаевске военных было не так много в том месяце. Несколько небольших отрядов красногвардейцев, да был еще квартирован в городе пеший эскадрон. И все почти военные были здесь, в тюрьме. Их захватили врасплох, многие были избиты, окровавлены. Кругом стоны, глухой говор. О нас Свиридов тут же распорядился, как только привел: «Этих — сразу в камеры». «Слушаюсь!» — ответил ему Косоротов. Был такой у нас в Новониколаевске знаменитый тюремный надзиратель.

— А-а, припоминаю этого типа, — произнес Кружилин. — Он, знаете ли, у нас здесь, в Шантаре, долгое время жил, затаившись. Но в конце концов Алейников, наш районный чекист, выследил и арестовал его.

— Да-а, — неодобрительно качнула головой Савельева. — Ну, Антон, едва ступил на тюремный двор, сразу узнал Косоротова, улыбнулся ему. «А-а, — говорит, — старый знако-

мый, видно, никак нам не разойтись на этой земле...» Господи, откуда у него сила-то взялась улыбаться в эту минуту?! Я, как вспомню, так ужасаюсь прямо. Такой был Антон... Ну, а Косоротову шутить было некогда, работы у него в тот день было много, запарился весь. Он молча и сердито снял с Антона наручники, повел всех нас. Отомкнул какую-то камеру, толкнул туда Антона и Юрку... Когда отомкнул, Ульяна Федоровна закричала как зарезанная. Там, на полу камеры, лежал в луже крови ее муж Митрофан Иванович... мертвый уже. Он, как установилась Советская власть в городе, работал в Чека. Его, значит, одним из первых взяли. «Дедушка! Дедушка-а!» — закричал Юрка, бросился перед ним на колени, но, поняв, что тот мертвый, отскочил к отцу, ударился об него, прижался к его коленкам... «Ничего, для всех вас такой карачун приближается, — буркнул Косоротов с усмешкой, обернулся, крикнул через плечо: — Эй, кто там... уберите с третьей камеры тело». И начал нас с Ульяной Федоровной толкать дальше по коридору. И через минуту впахнул в какую-то камеру...

Дрожащей рукой Елизавета Никандровна смахнула выступивший на лбу и на верхней губе пот. Щеки ее горели тяжелым и сильным огнем, дышала она по-прежнему часто, ей не хватало воздуха. Кружилин видел, что ей невероятно тяжело рассказывать, что надо, может быть, как-то прекратить ее рассказ, но сделать это не решался.

— Ну, а потом — допросы, пытки... — чуть передохнув, опять начала Елизавета Никандровна. — На моих глазах... и на глазах Антона пытали его... Юрку. — Она кивнула на запертую дверь в комнату. — Я всего рассказывать не буду. Я... я просто не могу...

— И не надо, — поспешно сказал Поликарп Матвеевич.

— Всего этого не выдержал... не выдержал даже наш палач Свиридов. Он, как я потом узнала, застрелился... Выдержал Антон. И Полипов. Он тоже... он тоже оказался тогда вместе с нами в застенке.

— Вот видите, — проговорил Кружилин. — А вы говорите, что «кто-то» опять выдал в тот день Антона. Значит, не он.

— В этот раз — возможно. Я и не утверждаю... Но я вот все думаю: я сошла от пыток с ума... И Свиридов, прежде чем застрелиться, выбросил меня из тюрьмы вместе с Ульяной Федоровной. Антон совершил побег, когда его повели на расстрел. Это организовал Субботин Иван Михайлович. Непосредственно все обеспечили для побега наборщик городской типографии Баулин Корней и новониколаевский извозчик Василий Степанович Засухин. Да еще Данила Кошкин, был такой парнишка у нас... —

И вдруг жена Антона замолчала, подняла медленно голову, в упор взглянула на Кружилина. — Мне Антон говорил, что они все трое тут, в Шантаре, потом работали... Так вот... А каким образом Полипов Петр Петрович вырвался из лап белочешской контрразведки! Тоже, говорил он, бежал во время отправки на расстрел. Когда, как, каким образом? Кто ему помогал в этом?

Жена Антона Савельева спрашивала таким тоном, будто именно сидящий перед ней Кружилин обо всем этом знал, но по каким-то причинам не хотел сказать.

— Да... — проговорил Поликарп Матвеевич задумчиво, и она опомнилась, встрепенулась, потеряла больно саднящие виски.

— Зачем же я обо всем этом так подробно и долго? Не знаю... Может, затем, чтоб лучше самой понять, что со мной произошло? И почему я хочу, чтобы Юрий ушел на фронт...

— Ну, а сам-то он как? — спросил Кружилин. Он не хотел задавать такого вопроса и все же задал.

— Конечно, говорит, мама, я пойду... Я должен быть там, где все.

Елизавета Никандровна произнесла это ровным и спокойным голосом, но Поликарп Матвеевич все равно почувствовал, что она чего-то недоговаривает, что-то тщательно и искусно пытается скрыть и что ее разговоры с сыном о фронте были, вероятно, не так легки и просты.

— И еще потому, Поликарп Матвеевич, так подробно я... — тут же заговорила Елизавета Никандровна, явно не желая длительной паузы, — ...чтобы вы попытались все же понять, если это возможно... как сын вернул мне разум. Как это получилось. Я говорила, что Свиридов перед своим самоубийством распорядился выпустить нас троих — меня, Ульяну Федоровну и Юру — из тюрьмы... Тоже, кстати, непонятен и странен, если хотите, этот его поступок. Почему он отдал такое распоряжение? Что это на него нашло? Ну ладно... Так или иначе, мы все оказались на воле. Как это все произошло, я, конечно, не помню, мне об этом потом рассказали...

...Лиза не помнила и до самой могилы не могла вспомнить, как она и Ульяна Федоровна оказались на воле, не помнила, как в камеру, битком набитую узниками, зашел, брэнча тяжелой связкой ключей, Косоротов, Свирепо оглядел всех, поморщился и прохрипел:

— Вы вот... Савельевы, шагом марш за мной. Живо!

Лиза как сидела, так и осталась сидеть возле стенки. Косоротова она не видела, голоса его не слышала. В руках она держала узел и что-то мычала, чуть раскачиваясь.

— Поднимите эту дуру! — заорал Косоротов.

— Опять на допрос, что ли? — послышался чей-то голос.

— Ироды-ы, — обессиленным голосом вскрикнула Ульяна Федоровна, шагнула, грязная и растрепанная, к Косоротову. — Баба умом тронулась, а вам мало, мало... Меня, старуху, лучше бейте! Все равно мне помирать.

И, схватившись за грудь, повалилась. Лицо, губы ее посинели.

В камере все как-то враз зашевелились, заволновались.

Косоротов отступил к дверям, взмахнул тяжелой связкой ключей на проволоке.

— Тих-хо! А то я успокою мигом! Вызову караульную роту...

И в самом деле все будто испугались этой угрозы, быстро смолкли. И в полной тишине Косоротов сказал, глядя на хрупкую фигурку Лизы:

— Освобождаем их. Хотя, будь моя воля... ее вот к солдатам в караулку на ночь сперва запустить. Все ж таки людям радость.

Ульяна Федоровна чувствовала, что умирает. Но она еще нашла в себе силы вывести Лизу на улицу, оттащить на несколько метров в сторону от окованных железом дверей здания контрразведки. И здесь, когда они лежали на земле под чьим-то забором, их нашел Юрка.

— Мама! Бабушка! Они меня отпустили... Я думал, опять бить будут, а они отпустили! Дядька Косоротов только по голове напоследок шибанул, гад. Мам, ты почему ничего не говоришь?

Лиза, безучастная ко всему, прислонившись спиной к дощатому забору, широко открытыми глазами смотрела на звездное небо, кое-где закрытое тучами, смотрела так, будто видела впервые и эти звезды, и ночные черные тучи, и ныряющую в эти тучи ущербную луну.

— Ты не трогай, сынок, мамку-то, — тяжело дыша, проговорила Ульяна Федоровна. — Не тревожь... Захворала она. Сбегай на нашу улицу, кликни кого-нибудь. Одним-то нам не добраться до дому.

Юрка убежал. Через час он привел двух мужиков и женщину. Вполголоса переговариваясь, мужики подняли тяжелую, почти бесчувственную Ульяну Федоровну и, поглядывая на глухой забор, которым было обнесено здание контрразведки, повели, потащили прочь. Лиза шла сама, женщина только ее чуть поддерживала. Юрка бежал сзади, слышал всхлипы этой женщины, глухие голоса мужиков, и, понимая, чувствуя, что неотвратимо надвигается какое-то новое и страшное горе, тоже швыркал носом, временами подвывал, как щенок, и смахивал грязными кулаками выступающие слезы.

Лиза никого не узнавала, даже сына. Не узнала она и квартиры, ходила по комнатам, натываясь на стены, спрашивала Юрку и умирающую Ульяну Федоровну, кого они-то ждут здесь, на вокзале, почему так долго не приходит поезд, с которым она должна уехать?

— А вот куда ехать я должна — и забыла, — говорила Лиза, терла виски. — Вы не знаете, куда мне надо ехать?

Все это ускорило кончину Ульяны Федоровны.

В день похорон Лиза испуганно притихла, сидела в уголке, смотрела, как женщины-соседки собирают покойницу, шевелила бровями, будто что-то мучительно пыталась вспомнить. И в тоскливой суматохе никто не видел, как и когда Лиза исчезла.

Первым отсутствие матери заметил Юрка, обежал все комнаты, обшарил двор.

— Мама, мама-а! — закричал он. — Куда она делась? Вы не видели маму?

Какой-то старик с костылем и котомкой, подошедший к калитке, сказал, что час назад видел блаженную вроде бы женщину на самом выходе из города. «Это она, она!» — крикнул Юрка, выскочил на улицу. Но тут же вернулся, затормошил старика.

— Где... на каком выходе? Слышь, дедушка?

— А там, сынок... На Верхнюю Ельцовку она, кажись, побрела.

Это было в последний день июня, а числа десятого июля к поскотине небольшой деревеньки Барлак, что верстах в тридцати от Новониколаевска, подошел грязный, оборванный мальчишка с исхудавшими глазами, с давно нечесанными, пыльными волосами.

— Ты чей такой? — спросила его низенькая босая женщина с прутом, пасшая гусей.

— Савельев Юрка я.

— Откуль же ты?

— Я с города.

— Ну, ступай, пройдишь по деревне, — вздохнула женщина. — Може, кто и подаст. Сейчас мало дают. А что там у вас, в городе-то?

— Я не за милостыней. Я мамку ищу. Я в соседней деревне был, мне сказали, что она сюда пошла.

— Кто же твоя мамка?

— Она такая высокая. И она... она никого не узнает. Ее в тюрьме били.

— Блаженная? Постой, седни в полдень какая-то блаженная побирушка была в деревне. Ее старая Ферапонтиха, кажись, к себе покормить увела. А ну-ка, пойдём...

У старой Ферапонтихи никакой побирушки уже не было.

— Ушла она, сердешная, — сказала грузная, рыхлая старуха, выслушав Юрку и женщину с прутом. — Поела маленько и пошла.

— Куда, куда она пошла? — крикнул Юрка.

— А туда, по Сокуровской дороге. Ты кто ей, сын, че ли? Голодный ты, видать. Поешь и ты сядь.

Но Юрка не стал есть, хотя и был сильно голоден. Он выбежал на подворье, кинулся по указанной дороге. Уже больше двух недель он ходил по пригородным деревням, разыскивая мать, питаясь случайным подаянием, ночуя где придется. И дня четыре назад вроде напал на ее след, но все никак не мог настигнуть.

Солнце яростно пекло, дорога была сильно развезженная, пыльная, горячая. Обжигая босые ноги, Юрка то шел, то бежал, опасаясь, что мать, если она действительно пошла по этой дороге, опять свернет на какой-либо проселок. Но отворотов, к счастью, не было.

Мать он увидел издали, сразу узнал ее худые плечи, обтянутые синей кофточкой, косо болтающуюся на ней юбку, растрепанные волосы. Она шла медленно, опустив голову, внимательно разглядывая дорогу. Юрка припустил, собрав последние силенки, и, подбегая, услышал, как мать бормочет бессвязно:

— Над городом запах... давно отзвенели... Тоску запрокинь...

— Мама! Мамочка! — закричал он.

Лиза остановилась, глянула на сына тусклыми, бессмысленными глазами.

— Мама!

— Прочь, прочь, — чуть отшатнулась она. — Ты кто?

— Да это же я, Юрка. Я тебя давно ищу.

— Юрка? Какой Юрка? — спросила она, не мигая стала глядеть на сына, наклоня голову то вправо, то влево. Брови ее нахмурились, затрепетали вроде, но тут же расправились и застыли. — Нет, я не знаю тебя...

— А ты вспомни, мама! — и он схватил ее за руку. — Я же Юрка!

— Отстань, мерзкий мальчишка! — вскрикнула она, вырвала руку. И пошла быстро, торопливо. Но вдруг вздрогнула, остановилась, попятилась, глядя куда-то в небо, показывая вверх пальцем.

— Я их всегда вижу, они меня всегда пугают... Кто это?

В небе играли ласточки. Они стремительно и высоко взмывали, падали камнем вниз и снова взмывали.

— Да это ласточки, — крикнул Юрка. — Ну вспомни, папа еще песню тебе про ласточек сочинил. Ты ж мне рассказывала. А мы ее часто пели с тобой...

— Песню? Какую песню?

— Да вот эту...

И Юрка, снова хватая мать за руку, торопливо, глотая слезы, заговорил:

Над городом запах... черемух струится,
Давно отступила уж зимняя стынь.
И ласточки, ласточки... быстрые птицы
Пронзают небесную синь...

Едва Юрка заговорил это, брови Лизы опять задергались, она опять потерла виски и мучительно застонала. И мальчишка недетским чутьем угадал, что происходит с матерью, встал перед ней, умоляюще глядя ей в глаза:

— Мамочка! Ну — вспомни! Я вот сейчас... даже спою. Вот, послушай...

И он неумело запел срывающимся от волнения голосом:

...И ежели в сердце тоска застучится —
Ты голову в небо чуть-чуть запрокинь...
И сразу увидишь, как вольные птицы
Пронзают небесную синь.

Он замолк. Он с надеждой глядел на мать снизу вверх.

— Ну — вспомни! Ты еще говорила, что папа не до конца сочинил эту песню, потому что ему некогда. Но он ее досочинит тебе.

— Да, да, ему некогда, — пробормотала Лиза. — И сразу увидишь... как быстрые птицы...

Лицо ее, измученное, некрасивое, исказилось совсем до неузнаваемости, стало вовсе страшным. Потом по нему прошла, прокатилась судорога, глаза широко раскрылись, в них затрепетал неясный свет, загорелось что-то осмысленное. И вдруг быстро-быстро, в две-три секунды, ее глаза наполнились слезами, губы задрожали, и она, шатаясь, протянула к сыну руки, закричала на всю степь пронзительно и страшно:

— Юрка-а! Ю-юрка! Сыно-ок!

— Мама! — бросился к ней мальчишка.

— Сынок! Сыночек! Сыно-ок! — кричала и кричала Лиза, крепко прижимая к себе худенькое и грязное дрожащее тельце.

— ...Вот так он мне, Юрочка мой, разум вернул, — утомленная разговором, произнесла Елизавета Никандровна. Голос ее рвался, был слаб и беспомощен. — Постороннему это не понять, я говорю. Да и сама я... Я ничего не помню, все это со слов Юрика. Я помню только смутно, как мы с ним... я и сын... возвращались откуда-то в город. Это я помню уже... И все, что после. А до этого — темный провал. Но Юра говорит, что все это было так.

Поликарп Матвеевич, потрясенный услышанным, молчал. Да и что было говорить, какие слова найти, чтобы ее утешить, ободрить, поддержать? Их не было, этих слов, а кроме того, он чувствовал, что она, переживая все это, не то чтобы не нуждалась, а просто не хотела сейчас таких слов, потому что они были бы бесполезны.

Вздыхнув, Елизавета Никандровна с грустью произнесла:

— Антон так и не досочинил мне эту песню. Все ему было некогда, некогда...

Она медленно стала поднимать голову с гладко зачесанными седыми волосами, собранными на затылке в небольшой узел. И, когда подняла, в широко открытых глазах ее стояли светлые слезы, где-то в зеленой глубине этих глаз дрожали две колючие солнечные искорки.

— Боже мой! Ведь у меня был Антон! Какая же я счастливая...

Голос ее стал еще тише и слабее, чем раньше, но он, этот слабенький голос, больно разрезал что-то внутри у Кружилина, щемящая боль растеклась по всему телу. Ее полные слез глаза, в которых дрожали светлые искры, были невыносимы. И Кружилин в эти короткие секунды наконец-то, кажется, понял, что произошло с Елизаветой Никандровной, какая она сейчас, и даже, как ему казалось, представлял, какой она теперь будет... Он не то кашлянул, не то сдавленно крикнул и начал подниматься из-за стола.

— Спасибо... Спасибо за угощение, Лиза, — проговорил Поликарп Матвеевич. — А с Юрием, что ж... Это нетрудно. Я скажу в военкомате и Нечаеву...

— Он сам заявление напишет, — сказала Елизавета Никандровна. — Чтобы... как бы бровольцем...

— Почему — как бы? Так и будет. А на счет твоей работы — я подумаю, куда и как...

Елизавета Никандровна тоже встала. Высокая и худая, она стояла теперь на ногах прямо и твердо.

— Думать вам не надо. Я хочу в райсннюю библиотеку... Там, кажется, нужен библиотекарь. Там тепло и мне по силам. Книги буду выдавать.

Лицо ее было спокойно, лишь на щеках слабенько проступал румянец. Солнечные искры из глаз ее исчезли, они смотрели куда-то в пространство холодно и жестко.

— В библиотеку? Ну что же, очень хорошо, — сказал Кружилин.

Савчук хотел поехать в тайгу сразу же по возвращении из Москвы, но дел на заводе за его отсутствие накопилось действительно много и, пока он их решал, прошла неделя.

В тайгу с собой он взял человек пятьдесят крепких мужиков, поехали на трех грузовиках, потом, отправив грузовики назад, потому что дальше проезжей дороги не было, около суток тащились на верховых лошадях, шли пешком. Громотуха текла здесь между горных теснин, грозно ревела на многочисленных перекатах, оправдывая свое имя. Когда лесная тропа, означающая дорогу, подворачивала к берегу, грохот звенел такой, что не было слышно голосов.

Стояла июльская жара, безжалостно палило белое солнце, обваривая листву на деревьях. Обычно липкая сосновая хвоя жухла, обильно сыпалась с ветвей. Лишь кедром такая жарынь была вроде ничем, косматая хвоя держалась на них крепко, горячий ветер трепал ее, как лошадиные гривы, но оборвать не мог. Кедровые массивы, не очень крупные и нечастые, выделялись среди моря поблекшей зелени темными пятнами и одуряюще пахли расплавленной смолой.

— Божье наказание прямо-таки... Экое пекло! — пробормотал маленький кривоногий старикашка по имени Филат Филатыч, высланный навстречу с лошадьми. — Ну ни одного дождика, почитай, с Арины-рассадницы. Громотуха прям обдонила... А досок напилили, слава те господи, высокие штабеля! Да еще эких ты молодцов ведешь. Ирванем счас, ух... ничего. Успеем до Ильина-то дня. А там вода будет, только ирвануть счас надо. Это ты правильно, что подмогу ведешь. И в Шантаре, гряд, тоже сушь стоит?

— Да, плохо нынче, — сказал Савчук. — Хлеба горят.

— Ага... Рассказывал этот, что с милиции приехал к нам, Елизаров. У нас тут, хе-хе, события одна случилась. Двое парней из-за девки... чуть до смерти друг дружку не ухайдакали. Знаешь? Из-за этой, Инюткиной Верки. — Инютиной, — поправил Савчук. — Знаю. Разберемся.

— Тьфу, — плюнул старик в сторону. — Хучь бы девка была... А то так, Инюткина. Ни ума в глазу, ни добра в заду.

— Насчет добра-то, дед, наоборот вроде, — усмехнулся один из молодых мужчин.

— Это — на чей вкус, — отрезал старик. — Такого добра — как песку на берегу, ты зачерпнешь, а мне так и нагнуться лень. А они — спорить из-за нее. Тьфу.

— Отнагibalся ты, дед, — усмехнулся тот же мужик.

— Да оно так, — без всякой обиды согласился старик. — Был рысак, да сбил подковы...

Филат Филатыч слыл на всю округу непревзойденным сплавщиком плотов по своенравной Громотухе. В молодости он характер имел лихой и необузданный, как речка. Мог он ни за что ни про что по известным ему одному причинам обидеть человека, зла ни ему, ни кому бы то другому никогда не делавшего, всячески его ослабить. Мог завести дружбу и старательно опекать человека, по общему признанию, никчемного. И до сих пор остались у него в оценке людей и в отношении к жизни какие-то свои мерки и свои принципы, непонятные другим.

Он был уроженец этих мест, всю жизнь прожил в верховьях Громотухи. До революции услугами Филата Филатыча частенько пользовался богатей Кафтанов. Филат Филатыч

иногда сплавлял ему огромные плоты в малую, как в нынешнее лето, воду за суций бесценюк, почти даром, рисковал при этом не раз собственной жизнью. А иногда и в высокую воду, когда сплавить вниз древесину не составляло никакого труда, ломил такую плату, что у Кафтanova от ярости тряслась борода. «Ну, как хошь, как хошь, это дело хозяйское... — отвечал на такие вспышки Филат Филатыч со спокойным смешком, который еще больше стервенил Кафтanova. — Ты хозяин, стало быть, башковитый, тебе и видней, что те в выгоду, а что в убыток».

И как-то так получалось, что даже в высокую воду плоты Кафтanova без Филата Филатыча частенько разбивались. И Кафтanova, матерясь, снова шел на поклон к строптивому плотогону.

В гражданскую Филат Филатыч несколько раз оказывал партизанам Кружилина кой-какую помощь, когда полковник Зубов совсем уж достигал измотанных бойцов Поликарпа Матвеевича: уводил их в непроходимые урманы и укрывал в недоступных лесных делянках. И в то же время этот Филат Филатыч в те грозные годы держал где-то у себя, укрывая по таким же урманам, малолетнего сына Кафтanova Макарку вместе с приставленной к нему в няньки Лушкой Кашкаровой, а потом, после гибели Зубова, и его сына Петьку.

— Я, Филат Филатыч, не знал точно, что ты прячешь сыновей Кафтanova и Зубова, — сказал старику Кружилин, когда вместе с Савчуком отыскал его прошлогодней весной в тайге, чтобы лично попросить сплавить в Шантару заготовленный лес. — Не знал, но мысль иногда мелькала — не ты ли их прячешь? А может, теперя признаешься? Дело прошлое.

— А выведаль бы, так что ж, прикончил дитев бы? — вскинул старик маленькую, но упрямую голову с косо сидящей на ней шапчонкой. Умные глаза его, длинные и узкие, как у монгола, поблескивали, точно бритвы.

— Я зверь, что ли, какой?

— А что ж тогда тебе за дело?

— Да любопытно просто.

— Ну что жа... удовлетворю, — усмехнулся старик, снял шапку, по-крестьянски пригладил ладонью все еще густые и почти не поседевшие лохмы волос. — Так было дело.

— Ах ты хитрец! — смеясь, воскликнул Кружилин. — Должно быть, высокую плату тебе платил Кафтanova. Ведь рисковал все же. Время-то было горячее — могло и ошпарить...

— Какая там плата, — махнул рукой Филат Филатыч, нахлобучил шапку, но опять криво. — Вся радость-то в деньгах разве?

— Значит, что же ты, из идейных соображений?

— Из человеколюбия, — строго произнес старик. И вдруг хихикнул как-то смущенно. — Я что ж, всегда такой кривоногий, што ли, был да хилый?

— Да я помню, какой ты был.

— Ну вот... А Лушка-то в те поры, хе-хе... Вся плата была при ней.

Секунду еще и Кружилин и Савчук молчали, а потом оба разразились хохотом. Смеялись долго, до слез в глазах. Улыбался и сам старик, отворачивая узкие свои глаза.

— И жук же ты, Филат Филатыч, — вытирая глаза платком, проговорил Поликарп Матвеевич.

— Да уж как умели, так и жужжали. Лукерья ничего, довольная была.

Савчук, отмахиваясь от свирепых, казалось чуть не со стрекоз, комаров, шагал по стиснутой деревьями лесной тропе, поглядывал на лохматый, как кедровая ветка, затылок Филата Филатыча, на сверкавшие порой то слева, то справа заснеженные громадины гор, думал об этом необыкновенном крае, куда забросила его судьба, о живущих тут удивительных людях. Он родился и вырос в украинских степях, прожил там всю свою жизнь, и ему казалось, что нет ничего прекраснее этих степей и чарующего неба над ними. По ночам звездные волны, казалось ему, схлестывались со звоном, а потом на землю до утра сыпалась бесшумно звездная пыль и луговые травы по утрам горели не от росы, а от этой пыли. Теперь он как-то обостренно понимал, что красота на свете бесконечна и разнообразна, что природа никогда себя не повторяет и вот здесь, в Сибири, тоже натворила дивы дивные...

Филат Филатыч шел с костыльком, посапывая, но легко и быстро, время от времени оборачиваясь, вытирая ладонью потный лоб в мелких морщинках.

— Ниче, мужики, скоро уж, — говорил он весело, поблескивая узкими глазами. — Туточки, раз вздохнуть да два шагнуть.

Старик очень был доволен, что в прошлом году к нему в такую глухомань приехал сам секретарь райкома партии.

— Понадобился, стало быть, я? — спросил он, сперва вроде недружелюбно и настоженно.

— Человек, Филат Филатыч, всегда нужен людям, — ответил Кружилин.

— Это так, — мотнул головой Филат Филатыч, настоженность его исчезла, он по-стариковски засуетился вокруг самовара, принес большую чашку застарелого меда, стал угощать. — Давайте. А плотики я вам, как яички, целехонькие доставлю. Это нам дело знакомое.

— Надеемся, Филат Филатыч. Кроме тебя-то, и попросить некого.

— Ну, есть людишки, — не согласился старик с Кружилиным. — Вон Акимка из-за белков... Да Акимка, ежлив уж до конца-то, охладом все ж таки да пьяница. Не-ет, я вам, как яички...

И действительно, всю древесину Филат Филатыч доставлял аккуратно, никогда не терял даже бревнышка. Нынче, в мае, сплавил еще несколько больших плотов, а потом вода резко упала, на перекатах обнажились мокрые лысины камней. Сейчас лысины высохли, даже брызги до них не доставали. И строительство жилья на заводе фактически прекратилось.

— Значит, Филат Филатыч, будет вода, говоришь, после Ильина дня? — спросил Савчук.

— Обязательно. Раз белки вон обещают.

— Как они обещают?

— Глянь, слепой, что ли? Синь между белками синится. Это уж точно, побегит вода с ледников к Ильину дню.

Савчук, сколько ни вглядывался в вершины заснеженных гор, никакой сини между ними не видел. Небо и небо, белое, как и повсюду. Но спорить со стариком не стал, только произнес машинально:

— Дай-то бог.

— Во-от! Приперло, так и ты, партейный, тоже взмолился.

— Да я так, по привычке.

— А может, зря? Зря, если только по привычке?

— Ну, зря не зря, а раз не верю в бога... Ты вроде веришь, а я нет. Ты уж прости, Филат Филатыч...

Старик на это ничего не сказал, отвернулся и долго, часа полтора, шагал молча.

Потом остановились передохнуть и перекусить. Рабочие вскипятили чай в двух больших медных чайниках, вынули хлеб, сахар. Большой ломоть хлеба, кусок сахара и кружку чаю дали и старику. Он все так же молча и сердито выпил чай, съел хлеб и, по-прежнему сдвинув кустистые брови, неодобрительно вслушивался в разговоры и смех молодых парней. И Савчук уже пожалел, что ввязался с этим своенравным и непонятным стариком в ненужный разговор о боге, даже встревожился: черт его знает, этого Филата Филатыча, возьмет да и выкинет какой-нибудь очередной фокус. А где другого такого плотгона найдешь? Кружилин шкуру снимет.

— А вот спрошу тебя, Игнат, — проговорил вдруг неожиданно Филат Филатыч, впервые назвав Савчука по имени. — Вот в народе говорят: нельзя работать в Ильин день... И рассказывают: один мужик в селе нарушил такой запрет, сено у него было скошено. Ну, на Илью обыкновенно гром погромыхивает — катается Илья, значит, на своей колеснице по небу, по тучкам. Мужик-то испугался, давай торопиться сено в зарод сметывать. Успею, грит, до дождя, что ж, что Ильин день, не пропадать сено-то... И сметал. А тут и прилетела невесть откуда ворона с горящей веткой во рту, села на мужиков зарод да подожгла. Да еще на другие зароды стала перелетывать. Сядет — и подож-

жет, сядет — и подожжет... Вся деревня на зиму и обескормила, по миру пошла вся деревня... Вот. А?

— Предрассудки же это, Филат Филатыч, — сказал Савчук. — Сказки, понимаешь.

— Ой ты, — поморщился старик. — Я ж о другом спрашиваю — отчего Илья такой злой-то?

Савчук не мог понять движения мысли старика, не мог уразуметь, чего тот хочет, — и только пожал плечами.

— Или вот еще в наших краях рассказывают... ну, пушай сказку, как ты определяешь, — заговорил опять неугомонный и непонятный старик. — Святой Николай-чудотворец ходил по земле с Ильей-пророком. Ну, ходят, глядят... Углядели, что хрестьянин один землю пашет. Подошли да попросили попахать. Пашут по очереди. Потом спрашивают — кто лучше из них двоих пашет-то? Хрестьянин тот показал на Николаю. Озлился Илья на пахаря и говорит: «Ну ладно, инда... За такие несправедливые слова я те хлеб градом выбью. Налив хороший на твоей полосе будет, а я выбью...» Тады Никола пожалел хрестьянина да и шепнул ему: «А ты обмани этого Илью, поменяйся полосой с богатым мужиком, у которого хлеб худой будет. А мне за совет свечку поставь». Хрестьянин так все и сделал. Пришел к богатому и говорит: «Давай обменяемся полосами, видишь, какой у меня хлеб тучной. Токмо в придачу маленько деньгами дашь, деньги нужны больно — лошадь купить...» Ну, богатея увидел выгоду, обменялись. Стали поспевать хлеба. И тут накатилась туча, да как ударит бывшую хрестьянскую-то полосу, и градом ее всю повыбило. Илья-пророк о той хрестьянской хитрости прознал, рассердился, собирает тучу на его полосу, какая раньше богатому принадлежала. Хлеб на ней все ж таки кой-какой уродился. Тут опять явился к хрестьянину Никола да шепчет: «Живо разменивайся с богатым, я те, дескать, говорю... Да опять придачу попроси деньгами: коровку, мол, хочу купить, детишки малые, молочка хотят». Ну, разменялись. Токмо успели — как посыпал град. И повыбило полосу, которая теперь уж к богатею обратно вернулась. А у хрестьянина выбитая раньше градом полоса отошла. И хлеба он много собрал, да на придачу два раза от богатея получил... Ну, а Илья, получается, остался ни в тех, ни в сех. И осерчал тогда пророк на чудотворца. Ах ты, грит, шаромыжник такой! Во все и не чудотворец ты, а как есть шаромыжник! Обзарился, что хрестьянин свечку тебе с синичью ножку поставил! Да ить богатый мужик пудовую бы не пожалел. Ты ж мой авторитет среди народу подрываешь... Да за бороды друг дружку, да пошли там, за облаком, кататься. Пошел гром! И что же ты думаешь? Никола-чудотворец и покаялся: критику, грит,

признаю твою, Илья. По легкомыслию я научил хрестьянина, да я выправлюсь, хрестьянин этот у меня запоет... Наутро упала у хрестьянина скотина вся, а хлеб в сусеках вдруг загорелся да сгнил в одну ночь. Утром глянули — а там одна труха. И пошел тот хрестьянин с детьми по миру...

— Ну вот, — с улыбкой промолвил Савчук, когда старик умолк. — Выходит, ошибался я. И ты, кажется, не очень в бога-то веришь.

— Ну, очень или нет — это мое дело, — промолвил старик сердито. Помолчав, он вздохнул, и было в этом вздохе какое-то сожаление. — Я человек темный, жил в лесу, топтал росу. И что ж, раньше я бога соблюдал, хоть и грешил... Да-а, несправедливости много в жизни уж больно. Куда ж бог-то смотрит, ежели он есть? Что же он своих причиндалов всяких распустил? Этого вот Илью? Или опять же Николу-чудотворца... Вот у меня женка ране была. Разошлись мы с ней давно, она в Шантаре живет, старая. Каторжница она была, а за что? Сына помещика вилами запорола. Сильничал он ее, а она отомстила. А душа-то у нее! Муравьишку всякую жалела. Обижал я ее, грешный, обманывал с Лушкой этой, вот она и ушла от меня. Да и с другими обманывал. То же — как бог допускал? Али вот эти войны... Хоть та, гражданская, хоть эта, нынешняя. Видел я в кине-то, как плоты в Шантару пригонял. Такая красота на земле, а ее огнем жгут, железом этим... порохом взрывают. Где ж он, бог? Не-ет, Поликарп Кружилин ваш правильно, в туза прямо: не бог, а человек всегда людям нужен...

Вот куда вывел старик! Мысли его были теперь понятны, но слова, которыми об облакал их, были настолько своеобразны, что Савчук только поражался.

Добравшись до лесозаготовительного участка, Савчук в сопровождении долгоязыго, изъеденного комарами бригадира лесорубов по фамилии Мазаев обошел все делянки, осмотрел груды сваленных, очищенных от сучьев, деревьев, штабеля напиленных досок, глянул в тетрадку Мазаева, где велся учет лесозаготовок. И спросил:

— Обед во сколько?

— С двух часов у нас. По участкам обедают. Сперва лесоповальщики, потом обрубщики сучьев, возчики, пильщики. Сразу для всех места за столами не хватает.

— Сегодня всех к двум часам собери. Посоветуемся.

В два часа на вытоптанной до черноты поляне, где стояли врытые в землю грубые, плохо оструганные столы, собрались все лесозаготовители. Заросшие волосом, давно не стриженные, в старых, пущенных на износ рубахах да

пиджаках... На поляне было тесно, кто стоял у столов, кто сидел на земле. Слышался говор и смех, плыл в синее и горячее небо табачный дым, мешался с влажным воздухом. Все ждали, что скажет им парторг, с чем он приехал.

Говор и смехи затихли, едва Савчук вышел с Мазаевым из палатки, служившей конторой лесозаготовителям.

— Ну как, лихо тут? — спросил Савчук, поздоровавшись с людьми.

— Зачем? Куро-орт...

— Воздуха много.

— Кина нету вот... Да девок бы на разживу хоть.

— Или Алеху сместить, язву... Свекровь она, что ли, им?

Вспыхнул опять смешок, не злой, добродушный. Повариха Евдокия Алексеевна, полная, сварливая, но в душе добрая женщина, которую все звали Алехой, строго следила за своими четверьями молоденькими подсобницами, медсестрой и продавщицей ларька, каждый вечер загоняла их в отведенный им семерым дощатый балаган, сколоченный из горбылей и обрезков. А больше женщин здесь не было. Нынче весной взамен заболевшей продавщицы ларька, в котором люди могли купить мыло, табак и всякую прочую мелочь, была назначена Вера Инютина. Она намеревалась было в этом же ларьке, сколоченном из досок, оборудовать себе и жилье, но Алеха, явившись, молча забрала ее тряпье, строго зыкнула: «Еще чего?! Тут одно мужичье, не соображаешь, дура?»

Смешок вспыхнул и тут же загас, придавленный голосом Алехи:

— Это кто там про меня высказывается? Захар, што ли? Тебе-то какое горе? Ты ж каждый вечер в Облесье за пятнадцать верст бегаешь.

— Он скороход, что ему!

— Марафонец!

— А там марафонки живут. Их не сторожат, — сказал Захар, крепкий в плечах, невысокий парень.

— От тебя усторожишь. — Повариха, обтерев потное и красное лицо фартуком, подошла к улыбающемуся Савчуку. — Убери ты его отсюда, всех баламутит. И этих, Мишку с Генкой, сомустил. А они вон каких делов натворили, милиция понаехала теперь...

«Понаехавшая» милиция в лице Аникея Елизарова была тут же. Елизаров за два года работы в милиции сильно раздоблел. Сейчас он, покуривая, сидел на врытой скамейке, спиной к столу, возле него стояла Вера Инютина, что-то ему обиженно говорила, а тот слушал, облокотившись о свои колени и опустив крупный нос к земле. Инютина была в белом с пестринами платочке, в светлом платье и отчетливо выделялась в толпе.

Все еще посмеиваясь, Савчук сказал:

— Ладно, Евдокия Алексеевна, во всем разберемся. Да и вообще недолго тут будем все теперь... Товарищи дорогие. Времени у нас нету много собранинчать. Положение, в двух словах, такое... Лесу заготовлено порядочно, досок напилено тоже порядком. Но недостаточно все же. Поэтому директор завода отдал распоряжение — заготовку бревен прекратить, все силы бросить на распиловку. Я вот даже еще пильщиков привез. Но, подсчитав все на месте и обсудив обстановку, думаю: надо в этот план кое-какие изменения внести... Вот Филат Филатыч говорит, что сплавная вода будет нынче только с неделю держаться после Ильина дня и спадет... Так?

— Так. Оно по всем приметам так, мужики, — уверенно сказал Филат Филатыч. — Я тут всю жизнь прожил. Гаранту даю полную, вот увидите...

— Если так, прохлаждаться нам некогда, товарищи. Упустим эту неделю — опять народ зимовать в землянках будет, потому что никаким способом древесину отсюда не вывезти.

По толпе прошел говорок. Многие из работающих здесь уже две зимы пережили в землянках, и зимовать еще одну было в таком жилье невмоготу.

— Поэтому принимается такое решение... Распиловку прекратить вовсе. В конце концов все можно и в Шантаре распилить, было бы что. Разделиться всем на две группы. Одна будет возить бревна к реке и сплачивать в плоты. Сколько надо, столько туда и назначим, чтоб к этому самому Ильину дню все плоты были наготове. Остальные будут продолжать день и ночь валить деревья. День и ночь... За оставшиеся дни нам надо сделать как можно больше.

После обеда, когда все рабочие разошлись по определенным местам, Савчук, слушая визг пил, стук топоров и голоса людей, тоже похлебал немного из миски и направился в сопровождении Елизарова к ларьку. Вера Инютина, увидев входившего парторга завода, вильнула испуганно глазами, вскинула ладонь на колыхнувшуюся грудь, обтянутую тонким платьем, встала боком к небольшому оконцу и опустила голову. За два последних года Вера как-то повзрослела, и хотя ей было всего двадцать три, шел двадцать четвертый, от ее глаз, походки, жестов, от всего ее облика веяло достоинством немало испытавшей женщины.

Елизаров, зайдя следом за парторгом в ларек, сел на перевернутый ящик из-под консервов и опять опустил нос книзу. Когда сядил, ящик под его налитым задом захрустел, и Савчук, не глядя на милиционера, поморщился.

— Ну, красавица, рассказывай, что тут такое приключилось?

Инютина всхлипнула.

— Разобраться надо. Расскажи...

Из сбивчивого рассказа Веры он понял, что дело было простое — двое молодых парней, как только Вера появилась в тайге, стали частенько забегать в ларек, потом и сторожить, когда она возвращалась по вечерам на ночлег или утром шла умываться к ручью. Вера улыбалась при встречах и тому и другому («Что ж я, ведьмой должна смотреть на всех?!»), и между парнями, ранее дружившими, стала возникать неприязнь. А несколько дней назад после работы оба умотали с тем самым Захаром, о котором говорила повариха, в деревушку Облесье, что расположена километрах в пятнадцать, в горах. Там у знакомой Захара они всю ночь пили медовое пиво, а к утру объявились здесь.

— Я только умылась в ручье, иду назад, — говорила Вера, не глядя на Савчука, — а он, Мишка, вывалился из-за кустов. Пьяный, улыбается... — Тут Вера подняла глаза на Савчука. В глазах ее горели желтые точки, как у рыси, губы были обиженными. — Говор идет, будто хотели... хотели они меня... Неправда это! Они оба хорошие — и Михаил и Генка. Только дураки. Зачем они мне?

Проговорив это, Вера прикусила нижнюю губу своими остренькими зубами. Елизаров поднял на Инютину глаза, усмехнулся и снова опустил взгляд.

Дальнейшее, по рассказу Веры, развивалось следующим образом. Михаил начал объясняться в любви, раскинул руки, прижал ее к стволу сосны и стал целовать. В это время из леса вышел Геннадий, тоже пьяный. «Не лапай ее!» — «А твоя она, что ли? Следом крался, как шпион?! Уматывай!» — «Сам катись!»

— Слово за слово, и пошло у них, — рассказывала Вера. — Потом один схватил сук, другой какую-то палку. И начали друг друга молотить... Я опомнилась, когда у Мишки кровь потекла, закричала...

Через несколько минут Савчук в сопровождении того же Елизарова подошел к землянке, где сидели драчуны.

— Ну-ка, выводы их.

Елизаров отомкнул двери из почерневших плах. Геннадий и Михаил вылезли на свет осовелые, у одного была перебинтована голова, у другого плечо. Вылезли и встали, опустив виновато длинные руки с сильными ладонями. Савчук знал обоих — они работали в литейке и были неплохими мастерами.

— Красавцы! — произнес Савчук насмешливо и холодно. Парни молчали. — В военкомат что ли, вас обоих отсюда направить?

— Во-во, — подал неожиданно голос Елизаров. — Разбаловались до края тут.

— А вы не пугайте! — вскинул голову Геннадий. — Чем нашли пугать?

— Вы вон енту милицию на фронт спробуйте, — желчно бросил и Михаил. — А мы — с полным желанием и удовольствием. Наели тут рыла...

— Вот-вот, — усмехнулся Елизаров. — Это они и про вас... Хулиганы!

— Замолчите! — прикрикнул Савчук на Елизарова в бешенстве. Этот человек все больше чем-то раздражал его. И недоволен был Савчук собой, этими своими глупыми словами о военкомате, неизвестно как вырвавшимися. Действительно, нашел чем пугать...

— За драку — прощения просим, — заговорил Михаил. — Так, по дурасти...

— Как же вы додумались побоище такое устроить? — спросил Савчук.

— Пиво проклятое... Когда Мишка исчез из дому той знакомой Захара-то, мне стукнуло — к Верке это он, тайком от меня. Ну, я и следом подался за ним. За дорогу хмель не выветрился. Умеют в Облесье пиво варить... А, что там! Наказывайте, чтоб поделом... Мишка-то вроде и ни при чем. Меня уж давайте.

— Марафонцы! — вспомнил почему-то Савчук словечко, выкрикнутое недавно на поляне. — Марш к медсестре!

— Да мы вроде бы... От безделья только ослабли.

— Марш, сказано! Оттуда — к Мазаеву. И смотрите мне! В другой раз не такой разговор будет!

Парни пошли. Елизаров поднял свой тяжкий, в красных прожилках нос.

— Прощаете, выходит? Непорядок это, незаконно. Мы боремся с такими, а этак-то...

— Слушайте, вы... борец! — Савчук свирепел все больше, не понимая даже, от чего. Ребята, подравшиеся из-за девчонки, если говорить честно, даже нравились ему чем-то. За пьянку и драку надо проучить конечно, тут уж как положено. А вот этот Елизаров... Действительно, разжирел, растолстел, как баба... — Марш... к Мазаеву!

— То есть? — хлопнул длинными ресницами Елизаров.

— Он на работу определит.

— Извиняйте... У нас свое дело. Мне в райотделение надо. Выделите лошадь.

— А я говорю — к Мазаеву! — угрожающе повторил Савчук. — Будете тут до конца вместе со всеми деревья валить. А с райотделением я объяснюсь как-нибудь...

Елизаров переступил с ноги на ногу, сложил губы обиженной скобочкой, повернулся грузно и пошел...

В деревне Облесье, неизвестно почему так называвшейся — стояла она как раз среди самой дремучей тайги, провалившись на дно горной котловины, — была почта. Дня через че-

тыре Савчук съездил туда на верховой лошади, позвонил Нечаеву, объяснил директору завода, что тут, на месте, исходя из условий, он принял несколько иное решение, а распиловку бревен на доски прекратил.

— Ну что ж, пожалуй... пожалуй, — глуховато покашливая, произнес Нечаев. — Тебе на месте виднее.

— Не мне, Филат Филатычу. Любопытный старикан. Вяжет плоты каким-то известным ему только способом, материт всех остервенело... Позавчера на ночь уехал куда-то. Погляжу, говорит, чем белки дышат. Прилетел вчера к обеду, загнав лошаденку, заматерился еще яростнее. Через неделю, утверждает, вода поднимается. Надо как-то нам бы его... премировать побогаче.

— Сделаем. Как вообще-то там?

— Лесу достаточно навалили. Успеть бы плоты сколотить. Я уж почти половину людей по требованию Филат Филатыча ему отдал. А у вас как?

— Все нормально.

Возвращаясь из Облесья, Савчук думал о состоявшемся разговоре с директором. Голос у Нечаева вроде бодрый, покашливает только. Значит, оправился после того жестокого приступа в кабинете у Кружилина.

Вернулся Савчук уже затемно, выслушал доклад Мазаева о том, что сделано за день, остался доволен.

— Многие только, что на сплотке, кашлять начали, — сказал Мазаев. — Старик их целый день в воде держит. А сам как железный, зараза... Одна лошадь ногу сломала. Пристрелить пришлось.

— Эти как... Марафонцы, которые подрались?

— Работают как звери.

— Людей на сплотке менять надо...

— Да меняем.

Когда совсем стемнело, Савчук, поужинав, взял мыло и полотенце, пошел к Громотухе. Всюду на отлогом галечном берегу громоздились кучи бревен, длинные готовые связки плотов лежали на воде, привязанные канатами к большим валунам или вкопанным в землю столбам. Савчук зашел на один из таких плотов, разделся. Здесь, на реке, было свежо, тянул ветерок, относил комаров, и они почти не беспокоили. Вдыхая с жадностью холодный запах мокрой древесины, Савчук прыгнул в теплую, усыпанную звездами воду. Здесь было неглубоко, всего по грудь, течение слабое, дно песчаное. Савчук вымыл голову, с наслаждением поплавал, разбрызгивая руками звезды, вылез на плот, натянул брюки и рубаху, закурил.

За его спиной горели редкие огни костров, слышались нечастые голоса, иногда раздавался смех. Все это доносилось реже и реже, люди,

утомленные долгим и нелегким рабочим днем, укладывались в палатках, в землянках, а то и просто у дымокуров.

Неожиданно сзади послышались всхлюпы оседавших в воду бревен. Савчук обернулся — кто-то шел к нему по плоту. Через секунду-другую он различил, что это Вера Инюткина.

— Ой, ноги чуть не поломала. Там еще бревна не связаны. Извините... Я не знала, что это вы здесь. Думала, из девчонок кто.

— Сюда вообще не следует ходить купаться, — сказал Савчук. — Не положено...

— Кем это? — спросила Вера. — Вы же ходите... Тут вода чистая.

Она проговорила это приглушенно и, кажется, чуть с улыбкой. На этот раз в ее голосе Савчук уловил откровенное желание разрушить грань официальности.

— Тут везде вода чистая.

Савчук встал.

— Вы простите... Ей-богу, я думала, что тут... Я уйду. Купайтесь.

— Я уже выкупался, — ответил он и пошел на берег.

Минут через двадцать, когда Вера с мокрыми волосами шла от берега по протоптанной в лесной траве дорожке, из-за толстого ствола метнулась к ней расплывчатая тень, кто-то железной хваткой защемил ей и голову, и шею. Она не успела крикнуть, только охнула, чей-то горячий рот поймал ее губы, начал жевать их, и чья-то другая, свободная, рука нырнула под растегнутую кофточку, больно сжала холодную от воды грудь. Вера, пытаясь вывернуться, зарычала, а потом, догадавшись, кто это, затихла и даже, когда тот оторвался от ее губ, сказала:

— Ну что же ты, Аникой? Еще целуй, а то у меня кровь застыла.

Елизаров, однако, отпустил ее, сел на корточки под сосну.

— Дурак ты, — зло сказала Вера, застегивая кофточку. — Что пугаешь? Захотел потискаться — сказал бы. Сама б пришла.

Вера постелила полотенце на землю и села рядом с Елизаровым, натягивая юбку на колени.

— Я, Верка, Нинуху свою из-за тебя выгнал, — сказал он тоскливо. — Айда за меня.

— Не будет этого.

— Тогда... вот те крест, Верка, силой тебя подомну как-нибудь. Нарушу твою невинность драгоценную.

— И этого не будет, — спокойно сказала Вера. — Тогда ведь тюрьма, фронт. А ты этого боишься. Трус ты. Вон, цыкнул на тебя Савчук, и ты остался, вкалываешь. Трудненько? — усмехнулась она.

— А зачем мне на рожон с этим пустяком лезть? Я вот хочу на желдорогу перейти работать. Устроюсь кем-нибудь — кладовщиком или где по механизации. Я ж тракторист все же.

А из-за такого пустяка он, Савчук-то, еще и озлиться может.

— А у вас-то что, в милиции? Сняли бронь, что ли?

— Ну, у нас... — неопределенно махнул рукой Елизаров.

Вера, поняв, что у Елизарова по службе какие-то неприятности, опять усмехнулась. Он заметил это, схватил сильными пальцами ее за плечо, тряхнул.

— Ты! Не скалься... Все рыбачишь, где поглубже? Ишь, на плот приперлась. Дура! Да разве он клонет!

— Вывел, а! — и Вера хохотнула. — Зад отрастил, а мозги совсем ссохлись. Я и не знала, что он там.

— Слушай... Инюткина, как этот старый хрыч тебя зовет, — прохрипел Елизаров. Он схватил Веру и притянул близко к своему лицу.

— Отпусти сейчас же! — вскрикнула она сдавленно. — Я закричу!

— А я что, не понимаю, что закричишь? — усмехнулся ей в лицо Елизаров. — Потому я тебя силком брать не буду. Сама ты подстелишься под меня. Добровольно. Запомни.

— Жди, как же!

— Подожду, я терпеливый. — И он оттолкнул ее от себя. — Никого ты, рыбачка, не поймаешь. Крючки у тебя не те. Я только для тебя...

Он повернулся и пошел, раскачивая в темноте огруженным задом. А она стояла, взбешенная, ее просто колотило от ярости, но глядела, как он уходит, молча, а чтобы не закричать, острыми зубами кусала край полотенца.

День уходил нехотя, тяжело и трудно меркло небо, не желая поддаваться наплывающей темноте, потом яростно и долго горел закат, отсвечивая на каменных верхушках Звенигоры.

Развешивая постиранные пеленки, Наташа Миронова поглядывала на потухающее небо, на бледнеющие горные вершины и представляла себе, что где-то там, на другой стороне земли, идет вот такая же обратная борьба утреннего света с ночной тьмой, солнечные лучи, пронзая мрак, цепко хватаются за горные утесы, за верхушки деревьев, за крыши домов, как бы подтягивают за собой и само солнце. И мрак рассасывается, тает, откатывается прочь.

Закат наконец погас, над горизонтом горела лишь бледновато-желтая полоска, но света в эту узкую щелку проливалось всего ничего, и он не доставал уже до земли.

Войдя в дом, Наташа разобрала свою постель, но раздеваться медлила. Присела на кровать, посидела, потом встала, подошла к окну, принялась высматривать что-то во мраке.

— Да что ты все маешься? — проговорила старуха. — Не во зверях живешь, как я когда-то...

— Как это — во зверях... вы жили? — повернулась к ней Наташа.

Баба Акулина, высохшая, маленькая, в одной нижней рубашке, завертела беспомощно головой, уже повязанной на ночь по-старушечьи застиранным платочком, виновато и обескураженно заморгала.

— Ах ты, якорь меня тресни! — пробурчала она недовольно. — Язык бабий... — Она села на кровать, затеребила завязки на подушках. — Известно как... Старое время было, что тут... Спи давай.

Наташа подумала: она столько времени живет у этой славной старушки, а ничего, в сущности, о ней не знает. Кто она, откуда, почему стала бобылкой? И вот случайно старуха проговорила о чем-то, но тут же пожалела об этом.

— Нет, расскажите, а? — попросила Наташа. — Акулина Тарасовна, если можно...

— Чего там? Обыкновенно... Зачем тебе?

— Вы обо мне все знаете. А я о вас ничего. Вместе ж живем...

— Живем... Все люди вместе живут. Да поврозь часто думают. В этом все и горюшко на земле. Весь корень тут.

Наташа, еще более пораженная этими словами, шагнула к старухе, опустилась перед ней на пол, обняла ее худые ноги.

— Расскажите. Мне это нужно зачем-то. Я столько добра от вас видела! Сделайте еще одно.

— Чудная, право слово, — вымолвила старуха. — Какое тут может добро в моем расказе? Откудова возьмется?

— Не знаю. Только будет, я чувствую.

Слабая и сухая грудь старухи тихонько шевельнулась.

— О-хо-хо, доченька... Все в моей жизни перебивало — и солнышко, и слезоньки. Слез, должно, больше... И час вот живу как неприкаянная. Ты вот попалась мне, объявилась как-то, согрела маленько.

— Да все же, все наоборот!

— Ну, это ведь с какого боку смотря... Человек от человека греется-то. Мужик мой все так говаривал. Хороший он был... якорь бы ему за печенку! — Рука ее, поглаживающая голову Наташи, дрогнула. — Тьфу ты! Отчего мы злые-то такие? Нехорошо, грех.

Старуха помолчала, глядя куда-то в одну точку. Взгляд ее был грустноватый, но не тоскливый, руку она все держала на Наташиной голове. Потом убрала.

— Да, верно, слез больше, — неожиданно как-то раздался снова ее голос, скрипучий, изношенный. — А глянешь в глубь-то прожитого, в годы-то дремучие, большеем все густо зарос-

шие, — не-ет, видится, солнышка тож в достатке было, светило оно и обогревало славно... Отчего ж оно так, Наташенька?

— Не знаю. Я как-то... пока не ощущала такого.

— Ну да, ты молоденька еще... — И продолжала какую-то свою мысль. — Оттого, я думаю, что с жизнью-то расставаться тоскливо. Глядишься в нее и выискиваешь в первую очередь то... ну вот то, для чего родился. Зря или не зря, думаешь? Не-ет, вон и радовалась миру божьему, и посмеивалась. И любовь была человечья. Да, была...

И тут вдруг ее взгляд потух, она опустила голову. Но потух на мгновение всего, потому что когда она подняла глаза — они были прежними, чуть грустноватыми и раздумчивыми.

— Ты знаешь, доченька, я ведь каторжная... — произнесла она ровно и тихо, только зрачки при этом чуть шевельнулись.

Наташа почувствовала, как дрогнули веки, будто свет мигнул в комнате. А может, и в самом деле это мигнула электрическая лампочка.

— Как же?!

— Так... На каторге маялась больше десяти годочков. — И старуха рассмеялась неприятным, скрипучим смехом. — Да ты не бойся, давнее дело...

— За что же? — спросила Наташа деревянно и встала.

— За убийство.

Наташа стояла как оглушенная.

И старуха вдруг всхлинула по-девчончьи, жалко и беспомощно, и стала вытирать глаза сухими, костлявыми пальцами. С Наташей что-то случилось, что-то внутри оборвалось, расплавилось, зашипало... Как-то она никогда не думала о прежней жизни бабушки Акулины, а ведь эта жизнь-то человеческая была вон какой... жутко представить! И Наташа снова шагнула к старухе, опять упала на колени, схватила ее руки и уткнула лицо в жесткие ладони.

— Бабуся... Акулина Тарасовна, милая! — Высохшие ладони старухи пресно пахли запахом ее, Наташи, ребенка и немного речной мятой, которую она пила каждый день от сердца. — Да как же, как же? Ты прости меня...

И она стала целовать ее жесткие, негнущиеся пальцы.

— Вот, сердечушко мое, — несильно, беспомощно вздохнула старая женщина. И повторила: — Убивница я, человека я, значит... Бог-то и наказывает меня за это всю жизнь, должно... Сынок он нашего помещика был... На Ярославщине... Военный.

— Расскажите, — снова потребовала Наташа, хотя видела, что говорить старухе тяжело.

— Давно, говорю, было. Давным-давно.

— Но вы же все помните! Такого нельзя забыть!

— Нельзя, — согласилась старуха. — Хотела б, да не забывается... — Она помолчала, вынула тихонько свои горячие ладони из Наташних рук, опять погладила ее по голове. — Шестнадцать-то годочков мне всего и было в ту пору, семнадцатый шел, самый цвет, — начала старая Акулина. — Дворовые мы были у помещика, в деревне Косяковке жили. Там я и родилась в восемьсот семьдесят втором. Прошлый год мне уже семь десятков пробренчало. Долгонок что-то зажилась я...

Старуха судорожно глотнула воздух. При свете электрической лампочки лицо ее было бледным, неживым, лишь темноватые глаза горели на этом неживом лице двумя яркими пятнами.

— Да, в самую пору я входила, парни заглядываться начали. Пощипывать начали, известное дело. Помещик-то у нас ничего, добрый был. Гляди, говорит, Акулинка, без баловства что-то у меня, а я тебя за хорошего мужика замуж выдам. Я, грит, об тебе позабочусь, поскольку отец с маткой твои после воли у меня остались и служат исправно... А мои родители и правда у него так и остались, когда воля вышла. Ну ты знаешь про ярмо-то крепостное?

— Да, да, — кивнула Наташа.

— До меня оно еще было, а при мне что ж? То же самое... Родители мои куда могли пойти, чем жить? Так и остались у него. Вот за это, значит, он и говорил... А было у него два сына — Викентий да Евгений. Военные. Они служили где-то там, в самой Москве, а на лето часто к нам приезжали. Евгений был постарше на год, с усиками.

— Значит этот, Евгений, вас...

— Обои, — проговорила старуха негромко и хрипло, отвернув глаза. — Пьяные они были, трезвые-то, может... Евгений-то всякие шуточки говорил мне, когда где встретит, в красноту вгонял. А другой, Викентий, огнем заходил от братцевых шуточек. Стыдливый был. А тут... Ехали они откуда-то из гостей вдвоем, братцы-то. А я с луга шла. Хозяин всех сено метать послал, дождливое лето было, рук не хватало, чтоб сено ко времени прибрать. Он и собрал всех от мала до велика. День сгребали, металки, а под вечер родитель мне, помню, сказал: ступай, дочушка, на становье, самовар раздуй покуда, а мы сейчас... Становье недалече было, версты с две, за леском у дороги, возле речки. Ране тут пасека барская была, омшаник стоял брошенный, догнивал. А теперь летом косары жили... Да-а, иду я, к становью подхожу, а сзади коляска и стукотит. Я и не испужалась даже — мало ли народу ездит туда-сюда? Остановилась, гляжу, а это сынки бариновы. В рубахах белых — жарынь пекла в тот день невиданная. Евгений-то сходит с коляски, гляжу, усик свой пальцем поглаживает, будто наостряет. И глаза горят нехорошо. За ним,

гляжу, и другой братец пошатывается, плечами мотает. Тут-то я обомлела враз: господи, да в глазах-то у обоих звериное! Кинулась от них, метнулась туда-сюда по становью... Мне бы, дуре, за речку да в лес. Не догнали бы, где им, пьяным! А я со страху в омшаник юркнула, дверь спиной приперла. А что дверь-то, она даже без закладки была. Ткнул в нее плечом Евгений, она отмахнула, и я отлетела перышком. Прижалась в угол, шевелю губами, а голосу нету... Все же чую, что плачу, и говорю: «Не трожьте, ради Христа, уходите с добром, вон отец с маткой идут уж и мужики...» А Евгений все наостряет усики свои, в уши мне голос его долбит: «Не бойся, глупая... Колечко золотое дам...» Ну и... схватил за плечи да начал усами мне лицо, шею резать... Господи, чую, шарит по грудям уж.

Акулина Тарасовна рассказывала все это долго, с перерывами, голос у нее иногда угасал, горло перехватывало, и дряблая кожа на нем дергалась, будто она хотела что-то проглотить, но не могла, не было сил. Старческие глаза, по мере того как она рассказывала, наполнялись скупыми слезами. И наконец она тихонько, как мышь, пискнула и заплакала. Но выплакалась быстро, приподняла край пестрого, сшитого покрестьянски, из разноцветных лоскутков, одеяла, вытерла глаза и глянула на Наташу. Щечи ее горели, глаза стали еще темнее, чернота в них сгустилась, кажется, до предела, веки чуть подрагивали.

— Вот... нащемила я твое сердечушко, дура старая, — проговорила старуха виновато. — Да ить сама ты...

— И что ж... потом-то? — требовательно спросила Наташа. — Все, все расскажите!

— А что... Растянули они меня прямо на земляном полу... испохабили чистое девичество. Вот... ну и боле-то я ничего не помню, потеряла разум. Очнулась я, а первая дума — задавиться. Куда с этой славой в деревне? Поднялась, иду как неживая к дверям. Слышу, голос кричит: Евгений, торопись, мол, увидят, мол, нас тут. Дверь открытая, я и слышу, хотя в ушах звон стоит звонской... Вышла я за порог, гляжу — Евгений этот, с усиками, штаны на коленках от грязи обчищает. Спина его белым горбом передо мной. А тот, Викентий, видно, за омшаником, возле коляски. Оттуда, соображаю, это он кричит, убраться, паскудники, скорее хочут... Вот... И гляжу, вилы стоят у стенки омшаника, рожками блестят, как нарочно. И опалило меня: сейчас я их в белый-то твой горб! Это, получается, с вилами я на него. Как они в руках у меня оказались — я и не знаю, этот миг провалился из памяти.

Наташа медленно, чувствуя, как дрожат колени, поднялась, постояла возле старухи.

— Чтой ты? — спросила Акулина Тарасовна.

— Так... сейчас... — Она отошла к кровати Леночки, та крепко спала, откинув в сторону правую ручку. Поправила одеяльце, хотя нужды в этом не было.

— В шею прямо угодила, — сказала старушка тихо и просто. — Приколола его к почерневшей стене, как... Опять же не помню, как это я... Откудова сила-то взялась, непонятно... Попятилась я в страхе великом, в голове молотит — да это что же я такое наделала?! Хочу крикнуть — и не могу. Тут я крик услышала: «Женька, да что ты там, мужики с покоса идут!» И тут вот только прорезался голос у меня, взвыла я благим матом...

Наташа, чувствуя, что ноги ее не держат, шагнула к столу и села. Виски больно рвало, в голове шумело.

— Вот за такое убийство меня и сослали в каторгу, — проговорила Акулина Тарасовна, забираясь с ногами на кровать. Но она не легла, а поджала ноги под себя по-девичночь, укрыла их одеялом, спиной прислонилась к стенке, затянутой ситцевым ковриком. — В сибирское село Кару пригнали... На лошадях ехали, потом по чугунке. По этапу мужиков в кандалах гнали, а нас, баб, ослобоняли, милостивцы... На ночь только железо одевали. И там, в Каре, и мыкалась я год, другой... А на третий господь сбегать надоумил.

— Как... как же удалась вам? — после некоторого молчания спросила Наташа.

— Ну, как да что — упомнишь разве? Долгое дело рассказывать. Господь, а может, дьявол нашептал: беги, грит. Ну, я и кинулась в побег. Зверицей я по лесам таилась, варначкой, значит, по-местному, по-сибирскому сказать, год жила. Шла да шла куда-то. Добрые люди в Сибири-то живут, доченька. Без них я бы сдохла от голода через неделю же али к стражникам сразу попалась. В первой же избенке, куда я стукнулась, одежкой подсобили, сала соленого дали, сухариков. И проводили ночью подале... Богатеям, конечно, нельзя было на глаза попадаться. А бедный люд нам, варнакам да варначкам, на ночь выставлял где-нибудь на полочку возле дверей то хлеба, то крынку молока, то еще чего... Так было в те поры в Сибири-то. А мы возьмем все это ночью, поклонимся доброму дому да и опять в тайгу. Да-а. Одно время с рябой бабенкой я спаровалась, тож беглая, как я. На краю какой-то деревни с ней ночью столкнулись. Я, значит, к чашке, выставленной у дверей, подбираюсь неслышно, и она тож... Недели с четыре мы с ней шли. А потом отделилась я от нее. Воровством она стала забавляться, принесла как-то ворох мужских портков, рубах каких-то. С веревки, значит, ночью где-то сняла. Ну ее, думаю... Воры средь варнаков тоже были. Ну, когда их ловили на этом, убивали до смерти. Да, ушла я от нее... Зиму где-то в норе провела

земляной, чуть не замерзла, с голоду чуть не померла. Кору грызла, шишки всякие. Ну, силки ставила. Из проволок — на зайцев, из волоса — на птицу. Научилась. Да что в них попадалось? Тяжко зимой беглым, вымирают они начисто... Я выдержала. Весной, как солнышко пригрело, далее я побрела. Да тут и прям попалась в руки к стражникам.

— Как?! — тяжело, с болью вырвалось у Наташи.

— Как — просто... К ручью, помню, вышла — жара меня сморила. Лицо ополоснула, потом к водице припала, пью... Оторвалась, чтоб ломоту в зубах перевести, — а сбоку двое на конях. В белых форменках обои, и уж пашки вынули. «Сладкая, звать, водичка, бабонька? — спрашивает один. — Откуда ж путь держишь?» А чего — откудова? По обличью видно, что варначка...

Старуха вздохнула, прикрыла глаза. Тонкая и ветхая кожа на веках подрагивала, будто Акулина плакала с закрытыми глазами. Но, когда открыла их, глаза были сухи, только поблескивали острее обычного.

— Таково, доченька, дело вышло... Ну че ж, пригнали меня стражники в какое-то село, пытаться стали — кто такова да откудова. Известное дело, дурочкой прикинулась: не знаю, мол, и фамилии не помню, жожу, мол, по земле, христарадничаю. Про каторгу Кару молчу, пусть, думаю, что хотя бы со мной делают, только не сознаюсь. Да чего-о... В Иркутск город пригнали как бродяжницу, не помнящую родства, и объявили, что дале на остров Сахалин погонят. В этап зачислили. А в Чите, в пересыльной тюрьме, вдруг объявили: «Ах ты мерзавка шивая, да ты с Кары сбежала, с ампиракторских песков... И фамилия твоя такая-то, и срок тебе каторжный за убийство. Ну, а теперь, за побег, само собой, еще приварят вдвое, а то и больше. Да прежний отбыть надобно».

Бабка Акулина минуты три молчала, смотрела в одну точку, пошевеливала губами, будто молитву какую читала. Наташа боялась ее тревожить, ждала.

— В той же Чите меня сызнова и судили... — Акулина вдруг усмехнулась. — Да что там! Они судят, а в голове у меня легко и весело как-то. Судите, думаю, а я все одно сбегу. Что мне теперь-то терять. Да... Только в мечтах-то все легко — и решетки железные раздвигать, и каменные стены развалить. А оно вышло не так, не так, доченька... Больше десяти годков после этого осуждения томилась я по разным рудникам да тюрьмам. В Нерчинске руду копала, в Горном Зерентуе. В Кару не попадала больше — слышно было, что прикрылась там каторга почему-то. Может, золотые пески иссякли, может, еще почему — не знаю. А в году — вот даже и не помню, — может, году уж в девятисотом али чуть раньше пригнали меня

в Акатуй. Что-то женщин-каторжанок тогда много сгоняли туда. Место, доченька, такое — тайга да сопки. Сопки да тайга. Боле ничего нет. Там я и встретила несколько товаров своих с Кары. Они-то и сказали, что в Каре каторга прикрывалась. И потекли — зима да лето, зима да лето. Счет зимам да летам на каторге сперва ведешь, а потом думаешь: а для чего? В году, может, девятьсот четвертом я опять сбежала...

— Опять?!

— Ага,— кивнула старуха. — Летом это случилось, под Петровки где-то. В тот день я и не собиралась, а в беглых оказалась. Как случилось-то? Арестантское белье нас, баб, стирать гоняли на речку. Конвой кругом становится, а мы на берегу штаны да рубахи вальками колотим... Грохот стоит! Вот, значит, и я колочу. Жарища, оводы кусают, как звери. И гляжу я: арестантские штаны из кучки вывалились и поплыли вниз. Я шагнула за ними в воду. Ну, тут счас, когда такое что случается, окрик сразу да затвор ружейный щелкает — назад, мол, живо! А в этот раз тихо. Я головой крутнула — ближний солдат оперся об ружье свое, дремлет. Стою я по грудь в воде, глаз скосила и вижу: сбоку омут, над ним кусты свесились, за кустами голое речное пространство сажени в три, а там по берегу конвойные стоят, хохочут. За этой речной прогалиной опять кусты с обоих берегов — речка небольшая, кусты почти смыкаются. И за этими кустами стражи уж нету. Я как-то враз, даже не подумав что к чему, и присела, скрылась под водой. А как скрылась — тут уж в голову шибануло: что делаю-то! Счас вынырну, булькнет вода, конвойный от дремы очнется и влепит мне пулю. Нас предупреждали: глубже чем по колено в речку не заходить. Были уж случаи, что уплывали из-под надзора прачки-каторжницы под водой. Да, были, доченька... И я вот под водой очутилась. Что делать-то, думаю?

— Я бы... я бы поплыла! — воскликнула Наташа.

— Ты, ты... — недовольно проговорила Акулина. — Это на словах просто. Пронырнуть кусты в полторы сажени, да голое пространство — три сажени, да там еще... Попробуй, хотя и вниз по реке. А течение как назло в том месте ленивое. Да я к тому ж какое-то время потеряла, торчу, дура, на месте под водой и думаю. Воздуху-то уж в груди нету, а я еще на месте...

— И как же вы?!

— Не знаю... Не помню. Очнулась я уже за теми кустами. Стражники уж сзади хохочут. Все так же хохочут, отмечаю, значит, ничего не заметили. И как я пронырнула такой простор — до седни ума не приложу. Почернела аж, должно, без воздуха-то я под водой, голову высунула, а внутрь будто кто горящую головешку кинул — все так жжет. Ну, жжет, гло-

таю я воздух вместе с водой, а пошевелиться боюсь: плесну погромче — услышат же, и смерть. Речка меня тихонько и несет. Отволокла подальше. Тут уж я как-никак, через силу, выползла на берег, отлежалась маленько на гальках. Горячая, помню, галька была, заснуть бы, думаю, на них навсегда. Где ж они, сволочи, чего не стреляют? Ну, думать-то я так думаю, а сама быстро на карачки встала да в тайгу юркнула... Вот так. Так же, как в первый побег, кралась я тайком от села к селу, днем отлеживалась по глухomanным местам, по оврагам, ночью шла. Куда? А кто его знает? Все беглые каторжники из Сибири в сторону России, к Уралу, пробиваются. Будто там спасенье.

— Как же вы дорогу в тайге узнавали?

— Чего ее узнавать? Россия — она в западной стороне, это всем известно. Куда солнышко садилось, туда мы и шли. Озера обходили, речки пересекали. Байкал-море было самой тяжкой преградой. Ну, кто как мог и его одолевали. Вот даже в песне поется...

— А вы как?

— Я? А я обошла его. Уже осенью, под зиму. И город Иркутск миновала далеко-о стороной. А тут и зима накатила. Тут и погибель бы мне, кабы не человек один... — Старая женщина поглядела на Наташу и почему-то вздохнула. — Кабы не человек... Да и ему погибель бы вышла, не наткнись я на него. Он, как и я, замерзал уж в снегу. Тожеть беглый, с самого Александровского централа ушел... Это он потом обсказал мне, когда мы... — Старушка вдруг запнулась, опустила блеснувшие глаза. И, разглаживая одеяло на острых коленках, закончила: — ...когда мы оклемались обои маленько, отошли. Иваном его звали... зовут.

— Значит, он жив? — спросила Наташа.

— Живой... А тогда плох был, думала я — и не выживет. Медведь-шатун его поломал. Сильно поломал — снег вокруг него весь был кровью пропитанный. Его ли, медвежьей ли, не поймешь. И обои лежат рядом — он и зверь лесной. У медведя брюхо располосовано ножиком, кишки вывалились, пар от них идет... Я, как наткнулась на такую картину, — обмлела, попятилась было назад. Да он, человек тот, Иван, поднял голову, глядит на меня — откуда, мол, такое явление? А я до этого почти неделю шла голодная, во рту, кроме лесных шишек, ничего не было. И застудилась я — ведь оборванная, ободранная была, — голова который день как чугунная, горячая. Не знаю, зачем я еще шла куда-то, откудава силы бралась? Иду по тайге, а в мыслях одно — приткнуться в снег, задремать, да и дело с концом. Кончатся, мол, разом все мучения.

— Я это понимаю, — вырвалось как-то само собой у Наташи.

— Ты понимаешь! — вдруг проговорила старая женщина строго. — Да ты — дура голимая! Такое ли твое дело было, как мое тогда?! Да и я... Как призналась после Ивану об таких мыслях, он меня на чем свет обругал. Дура, грит, ну и кому что доказала бы? Человек до последней силушки должен за себя стоять.

— Да, это правда. Это правда, Акулина Тарасовна, — после некоторого молчания произнесла Наташа. — Ну и что... дальше?

— Дальше — что? — задумчиво, сама у себя спросила старуха. — Попятилась я, запнулась об валежину какую-то, упала в снег. А человек, Иван, все глядит на меня. И улыбнулся вдруг... Вот, доченька, хоть верь, хоть нет, до седни эта его улыбка стоит перед глазами. Сколь годов прошло... Жизнь минула. А я помню. С ней и помру. Глядит — и улыбается. «Откуда, — грит, — такая ты хорошая?» — «С Акутуя», — отвечаю. А сама на медвежьих кишки смотрю. Кровь еще с медведя течет и в голову мне долбит — подползти и напиться этой крови, мяса сырого зубами отхватить. Да не смею. Он догадался об этом, спрашивает: «Который день не ела?» Я говорю: «Четвертый, а может, — пятый». — «Совсем ничего?» — «Совсем... кедровые орехи жевала, правда». Ну тогда, грит Иван, ничего, глотни медвежьей крови...

Наташа при этих словах вопросительно приподняла лишь голову.

— А что ж... подползла к зверю, зачерпнула ладонью из брюха. Кровь уж загустела.

— Боже мой! Боже мой! — воскликнула Наташа.

— Страшно? Али противно?

— Не знаю...

— Да, Наташенька. А я вроде слаще ничего до этого не пила, не ела. Ну, крови этой я с пригоршню выпила — голова еще шибче кругом пошла. Опьянела я и про Ивана забыла, покуда его голос не пробился, как сквозь стенку: «Тут овраг рядом, вон за теми соснами, я там ямку вырыл, ночевал там... Отволоки меня туда как-нибудь, если сможешь...»

Во все это, что рассказывала старуха, Наташа теперь и верила и не верила. Бабка Акулина была худенькая, тощая, высохшая, трудно было представить ее молодой женщиной, трудно вообразить, что на ее долю выпали такие страдания, такая судьба. И Наташа непроизвольно воскликнула:

— Неужели... неужели так все и было?

— Так, дочка, — вздохнула слабенько старуха.

— Не может быть, не может быть!

— А было, — повторила она с какой-то грустью. — Как я отволокла этого Ивана в яму ту, не помню. Стонал только он громко, это помню. Спина и бок у него до костей были располосованы, правая рука вывихнута зверем.

Это я сразу покляла и вправила, как в земную норку заползли. Кости вправлять меня еще мать научила. Подергала руку, он в беспмятство ст боли ушел. А на лице капли постыые. Что ж, думаю, отойдет. Покуда он в бессознании — все тело обсмотрела. Оказалось, что и нога до самого паха тож когтями разорвана. Господи, что с им делать? И сама я вся в жару, в голову молотками колотит. Выползла наружу. Морозы не сильные, слава богу, стояли. Спички у меня были, разжгла кое-как костерок. Поплелась на то место, где его шатун ломал, там я вроде котомку этого парня видела. Подобрала котомку, в ней тряпье какое-то, котелок, тужурка рваная, один почему-то сапог. И ножик... ну, обыкновенный кухонный ножик с деревянной ручкой в снегу увидела. Этим, значит, ножиком ка медведя-то! Кухонным. Скажи — не поверят. Вернулась к костру, натопила снегу в котелке, обмыла, как могла, его ранки, обвязала тряпьем. И тут сама в беспмятство провалилась. Чую, что проваливаюсь, а в голове сверкает: околеет ведь обои от мороза! Кое-как дыру в ямку тужуркой этой, ветками прикрыла... Господи, Наташенька! Да разве все расскажешь? Где и слоз взять!

— А бы найдите! Найдите... — умоляюще прошептала Наташа.

Воспоминания о прошлом разболновали старуху, она легла, натянула одеяло до подбородка, голову чуть повернула в сторону. Тоскливыми глазами, не мигая, долго глядела в черный проем окна. Там, в черноте, за мраком нескончаемых лет, было ее страшное прошлое; она, подумала вдруг Наташа, видит его сейчас ясно и отчетливо, и от этой мысли у нее потек озноб по всему телу — страшно вспомнить все это, а каково пережить?! И где ж было взять столько человеческих сил?!

Чувствуя, что с ней что-то происходит, и не умея еще объяснить этого, Наташа еще раз попросила:

— Найдите... Как же вы там, дальше?

— А дальше что ж? Оклемалась я, а он еще турусит в беспмятстве. В жару пылает весь. Нет-нет уж открыл глаза, диким зрачком буравит меня во мраке. Потом, различаю, зрачок потеплел. Узнал, значит, вспомнил... Ну что ж, стала я ходить за ним. Первым делом мяса медвежьего ножиком кое-как наскоблила, отвар сварила... Э-э, да что! И у него, и у меня силушки кончились, потухали обон, как сгоревшие головешки. А сошлись вот в тяжкой судьбе — зачಾದили кое-как, огонек-то снова и занялся... Медвежьим мясом спаслись. Ранки его я хвойным настоем промывала, распаренной березовой корой обвязывала. Березка — она великий лекарь, доброе дерево, на счастье людям дадено. Через месяц он вставать начал... Ну, в

общем, окоротали мы зимушку. У меня в узелке петли проволочные и волосяные были. Зайчишек ловили иногда, рябчиков... А по ранней весне, как травка пробиваться начала, мы и разошлись.

— Разошлись?!

— Ага,— кивнула старуха. — По политическому делу он сидел, не могу, грит, больше в норе этой торчать, друзья-товарищи ждут. Норку-то жалко было покидать, обжили мы ее, раскопали пошире, печку из глины сделали, трубы из корья вывели. Внутри той же глиной обмазали — она, труба-то, славная получилась. Он, Иван, придумал, — улыбнулась Акулина Тарасовна. — Он на все руки оказался мастак. Мастак-ак, славный...

Отсвет улыбки долго держался на лице старухи, таял нехотя, медленно — видимо, она вспоминала из того давнего что-то приятное, сокровенное. Наташа это почувствовала женским чутьем, отчетливо поняла, что спрашивать об этом ни в коем случае нельзя. И сдержанно, осторожно вздохнула.

Но этот неприметный вздох все равно смахнул с лица Акулины Тарасовны остатки улыбки, дряблые веки ее испуганно дрогнули. Она прикрыла глаза ладонью и долго держала руку на лице.

— А вместе... нельзя вам было идти? — спросила Наташа. Проговорила и подумала, что и этого, наверное, не надо, нельзя было спрашивать, чтобы не оскорбить, не замарать то сокровенное, что почудилось ей за улыбкой старухи.

— А мы и пошли было вместе. Хотя, сказать, по одному беглым-то ловчее пробираться — где в щель юркнул, как ящерка, где в кусты заполз да затаился... Да Иван грит: «Ты меня не бросила помирать в беде, и я тебя одну не могу оставить в лесу. Пойдем вместе как-нибудь». Ну, пошли. Да недолго шли вместе-то. Через неделю, что ли, пошел он ночью в какую-то деревушку провизии добыть. Голод, как говорится, не тетка. Меня в канаве какой-то оставил на краю деревни. Сиди, грит, и жди. А ежели что, ты, Акуля, пробирайся к городу Новониколаевску. А доберешься — меня спрашивай. Не в полицию, ясное дело, а у рабочих в депо, на маслобойке спрашивай аккуратно. Люди тебе укажут, ежели я там буду, я тебя никогда не забуду... Да, так он и предупредил, будто чуял что. Деревушка та сплошь кержацкой оказалась. А кержаки беглых не шибко жаловали пропитанием-то. Чаще связывали — да к старосте, а тот — к стражникам, к уряднику. Сижу я и жду. Потом слышу — сполох в деревне. Сердце так и екнуло — попался! Крики всякие, собачий лай поднялся. И все это пошло, удалиться стало за другой край деревни от меня. Господи, соображаю, да он же от меня их уведит. Ну, тут соображать

нечего, надо мне от этой проклятой деревни подалее в тайгу. Сорвалась я, да и потекла...

— А его... поймали?

— Нет... Да я тогда не знала. Ну, отлежалась, как волчица загнанная, в глухом урмане где-то. Что ж дальше-то, думаю? Что с Ванюшкой-то? На другую ночь вернулась в ту канавку — может, там он меня ждет, коли его не поймали? Нет, никого нет... До свету полежала там. Вокруг темно, как в гробу, в деревушке — ни огонька, ни проблеска, собаки только взлаивают время от времени. На лесного зверя, может, али на какого запоздавшего жителя той же деревни. А голод в брюхе дырку уж проточил. Что ж, думаю, ждать-то Ивана, может, уже и заковали в железо снова. На рассвете, значит, выползла из канавы и поплелась куда глаза глядят... «Пробирайся, — сказал мне Иван, — к Новониколаевску». А где он, тот Николаевск? Ладно, думаю, не сдохну с голоду, так поспрашиваю, в какой он стороне... Ну и правда, добрые люди указали. Не все кержаки, в тайге много, сказывала я, добрых людей.

— И что же, встретились там с Иваном?

— Н-нет, дочушка. Не дошла я до Николаевска. Совсем маленько, а не дошла.

— Опять... стражники схватили?

— Не стражники. Такое дело, доченька, вышло, как бы тебе половчее обсказать... Судьба — как речка: течет-течет прямо, да заворачивает... Конец весны да лето и осень всю я, значит, шла по тайге прежним манером. И опять зима подкатывает, мухи белые полетели. Теперь-то уж, думаю, я погибну непременно. Оборвалась я по тайге, обремкалась — до голого тела. На ногах-то еще ничего — лыка надрала с осин, что-то навроде лаптей сплела. Юбочки на мне, считай, нету, одни лохмотья. Пиджачишко был прожженный весь на голом теле. Ну как я, куда я? А все же иду, ноги несут куда-то. Куда б дошла — неизвестно, да на счастье, уткнулась в избушку шишкобоев. Гляжу, стоит она на полянке, дверь доской заколочена. Два али три колота валяются брошенные, снежком уж их присыпало. Колот знаешь, что такое?

— Нет.

— Ну, бревно такое с пластиной. В кедровый ствол колотят им, чтоб шишки обсыпались... Чего ж мне делать? Покружила я вокруг избушки, как зверь. И решила. Шишкобои, думаю, отшишковались да уши, до другого лета не придут, что им зимой тут делать? Отодрала я доску с двери... Избушка славная, прибранная, в шкапчике я и соль нашла, и спички. Посуда кое-какая тут же. На стене одежонка висит таежная — дождевики, тужурка, мятые рубахи вроде. Господи, думаю, бывает же на свете такое богатство. В той-то избушке и нашел меня он... Козодоев Филат Филатыч.

— Филат Филатыч? — Наташа собрала морщины на лбу. — Где-то я слышала это имя.

— Да чего ж, на работе, должно. Он сейчас плоты на завод ваш по Громотухе сплавляет.

— Верно. Что ж вы никогда не сказали, что знакомы с ним?

— Знако-омы... — протянула старушка. — Мужик это мой. Муж законный.

Огорошенная, Наташа сидела теперь на табуретке у стола и во все глаза глядела на Акулину Тарасовну.

— Но почему тогда... не вместе вы?

— Так я и говорю: течет-течет речка, да заворачивает. А на завороте Лукерья Кашкарова обозначилась с двумя приемышами. Уж годов более двадцати мы с ним не живем.

— Кашкарова? Это та старуха, чей дом рядом с Савельевыми?

— Она не всегда старухой-то была, — усмехнулась Акулина Тарасовна. — Не всегда-а. Красивая она была баба в молодости, телом играла. И вот...

Наташа с нескрываемым изумлением все глядела и глядела на старенькую бабу Акулину.

— Что ты смотришь на меня этак? — проговорила старушка. — Жили-жили мы с Филатом, да разошлись. В житействе — обыкновенное дело... Он, Филат-то, недавно, годков пять назад, еще до войны, приходил ко мне. «Давай, — грит, — старая, все забудем, да крышу одну и будем чинить над головой, коли прохудится». Не легло сердце... Да и людей-то смешить?.. А любовь у меня с ним была-а! За все отогрелась. С того самого дня и отогрелась, как возник Филат на пороге той избушки... Как час помню — только-только я печурку раздымила, похлебку каку-то приставила, а дверь и отмахнулась. Он стоит в проеме белом, молодой, крепкий... Он и счас, как сутунок лиственный, не трушится от годов-то, не гниет, язва. А тогда... Глаза его щелястые режут, а мне не страшно... Свет такой хороший в них. «Ишь ты, — говорит, — фатерщица объявилась на моей избушке. Гляжу, — грит, — следки чело-вечи намараны по снежку. Потом, — грит, — гляжу — дым с избушки. Кто такова? Как звать?» — «Акулина», — говорю. «Ишь ты, — смеется, — Акулинка, ягодка-малинка. Не ел ишо, а во рту уж сладко. Штаны-то зачем мои натянула?» — «А нету, — говорю, — юбки у меня». — «А-а, ну тогда рассказывай... Варначка ты, что ль?!» Ну, а чего ж отпираться? Рассказала все. И кто такова, и за что на каторгу угодила. Чаем его с брусничным листом напоила. Пою его чаем, а сердце так и стукотит — он это, судьба моя, ей-богу, он! А он напился чаю, взад-вперед прошелся по избушке, остановился, раздел меня глазами-то острыми до наготы прямо. Аж, чую, вспыхнула я вся жаром... «Ниче-

го, — грит, — ты отоцала только, в бедрах-то об-вяла... А ежели вот я сейчас поваляю тебя спиной по полу — тоже приткнешь за шею к чему-нибудь?» Хотелось мне сказать, девка, не приткнуй, куда мне теперь, жизнь меня самую приткнула, делай ты что хочешь со мной. А вымолвила другое. «Приткнуй, — говорю, — али зарежу». Он усмехнулся хищно. «Ну ладно, — грит, — варначка, пошел я...» А куда, опять же думаю. Кликнет людей, свяжут меня да и вернут с бегов в каторгу. Да нет, думаю, сам бы справился с этим делом один... Дня три так прожила, на четвертый, гляжу в оконце, — прет он на лыжах. На санках за собой стреляного лося волочет. Выскочила я ему навстречу, да на шею, заплакала. А он: «Вот, бегляха, пировать счас будем да свадьбу делать». — «Как, — кричу, — свадьбу?» — «А что ж, — блестит он глазами, — мяса, где положено, нарастим тебе, бумаги всякие я выправлю тебе тож... И обвенчаемся к весне, уедем ко мне, в деревню Облеще, тут всего серст за двадцать. А пока — так, а? Поверишь?» — «Поверю, — говорю, — поверю, родимый...»

Старуха разволновалась, последние слова выговорила с трудом. У Наташи защемило сердце.

— Я вот удивляюсь вам... — проговорила Наташа, помедлив. — Такая вот жизнь у вас... тяжелее и не придумаешь. А душа не очерствела. Как это объяснить?

— Э-э, родимая. Не то говоришь-то, — сказала старуха тихо и раздумчиво. — Нет, не то, касатушка. Поп Филипп у нас на каторге был... всех каторжанок по очереди в прислуги себе брал. Вдовый он почему-то был. Вдового попа на каторге только и сыщешь. А пьяница-то — не приведи господь! И двое мальчуганов у него было годов по пяти-шести. Вот он и брал к ним каторжанок. Это там просто было. Договорись со смотрителем женской тюрьмы — и все дело. А какая ж не пойдет! Все шли, ждали, не позовет ли поп, перед смотрителем Ободьевым на коленки валилась каждая, чтоб ее направили. Ба-альшой приплод от попа на каторге был... И любил он говаривать, поп Филипп: «Страданиями душа человеческая очищается». Оно так, может. Да не совсем. Я думаю, не только очищается... Горе-то, горюшко доброты человеку к людям прибавляет.

— Значит, чтоб душу очистить... чтоб доброты прибавилось, надо через нечеловеческие страдания пройти?

— А что ж, — сказала серьезно старушка. — Не вкусив, не почувствуешь. А почувствуешь, так и врагу не пожелаешь. Хотя кто его хочет, горюшка-то? Да ведь земля под тучею, а туча-то — гремучая... Ох, устала я с тобой балакать... — Акулина Тарасовна потыкала высохшей рукой в подушку, прилегла. Голова ее была настолько легкой, невесомой,

что на тугой подушке не обозначилось даже вмятинки. — Ступай, подыши воздухом... А то совсем обночилось...

— И повенчались вы с Филат Филатычем потом? — спросила Наташа.

— Да что ж, конечно. Документ он мне выправил, к исправнику в Шантару ездил... Да-а, стали жить, стала я в радости купаться, — говорила старуха медленно, глядя в потолок. — «Вишь, — говорил Филат Филатыч, — человек от человека греется...» — «Истинно, — говорю, — родимый...» Дитев только у меня не было. Год живем, пяток летов — нету, и все. То ли эти... в омшанике, чего нарушили, то ли каторга надорвала. Помыла я золотца на Каререке, переверочала песочка мокрого лопатой! Все женское-то внутрих оборвала... И зачал мой Филат по бабам свистеть. Кончилась моя радость, значит. А я что же? Молчу, чего уж там, куда мне. А он одно с ухмылочкой теперь: человек, дескать, от человека греется. Вот, значит, какой теперь смысл... Ребяенок, слышу, у вдовы одной народился от него. Плачу я только. Потом, слух прошел, в деревушке за Облесьем еще какой-то приплод от него, козла, объявился... Ну, это я все терпела... А тут вскорости, значит, зачалось в мире-то... забродило, как пиво в логушке. Царя скинули. Кафтаны этот, властелин тутешний, рысью зарыскал в круговом огне... Видала, как рысь по деревьям мечется, когда лес горит? Нет? Ну конечно, не таежная жительница. Вот так и он... Филат мой от всего этого в стороне. «Нас, — грит, — это не касаемо, пущай они дерутся...» Да как не касается? Хучь тайга вокруг Облесья немереная, а и в ней не скроешься. Прискакивают, бывало, партизаны вот теперешнего начальника такой, али командир, по-военному... Зубов по фамилии. Большой полковничий чин он уж носил...

— Я знаю, — сказала Наташа.

— Ага... Объявляются и требуют у Филата — проведи через белки, через перевал. Филат каждое дерево в тайге знает, каждую тропку. Ну, он за шапку — и ведет. А следом, бывало, каратели объявляются. У них тоже был начальник такой, али командир, по-военному... Зубов по фамилии. Большой полковничий чин он уж носил...

— Зубов? — машинально произнесла Наташа.

Акулина Тарасовна привстала торопливо, глянула на Наташу хмуро:

— И его знаешь... Зубова-полковника?

— Нет, откуда же? По рассказам только. Анна Михайловна, мать Семена, мне рассказывала... будто Петр Зубов, бандит этот, который у Огородниковой Маньки был, — сын того полковника.

— То-то и оно, что сын, — горько произнесла старуха, на несколько мгновений умолкла. Затем, сглотнув тяжелый комок, чуть из-

менившимся, каким-то погрустневшим голосом продолжала: — Ладно, слушай дале, раз я начала... Ну, значит, заявляются каратели, опять же грозятся — где партизаны? Веди! Берет Филат шапку...

— И их водил?! — воскликнула Наташа. — Карателей?

Акулина Тарасовна неслышно и мягко опять легла, прикрыла плоскую грудь пестрым одеялом.

— Води-ил, а куда денешься? Коли нагном в рыло тычет?

— Но это же... — Наташа не договорила, захлебнулась в гневе.

— А ты ему, как увидишь, это и выскажи, — усмехнулась старуха. — Чего на меня-то?

— И выскажу! И не только ему!

— Поликарпу? — старуха повернула к Наташе легкую голову. — Да он и сам все знает. Эх ты, горячуха... Жизнь-то целовечья — речка вековая. Весной, бывает, разольется речка, берега затопит, дома снесет... Громотуха счас обмелела почто-то, а ране, бывало, целые деревни с берегов слизывала. Что же, за это ее надобно запрудить, камнями завалить, под землю схоронить с лица земли?

— Не о том вы говорите! — возразила Наташа. — Это стихия... И вообще — при чем тут река? О человеческих поступках речь.

— Ну да, об человеческих, — согласно проговорила старуха.

— А они бывают благородными, а бывают подлыми!

— Это тоже верно, — кивнула старуха. — Вот, много подлых-то я поступков от Филата моего перенесла. Взял-то он меня вон какую, от властей прикрыл, ладно уж, все думала. А вот одного дела его не вынесла... И сбежала от него из Облесья. Сюда вот. Сколь годов уж одна тут живу, люди-то и считают меня бобылкой.

— Какого же поступка?

— Петьку-то Зубова, бандита этого, мой Филат, считай, вырастил.

— Ка-ак?! — Наташа даже привстала.

— А так... Да ты сядь, чего уж, все по порядку доскажу... Значит, как произошло? Кафтаны-то, отец Анны Савельевой, живодером оказался — не приведи господь, тоже свой отряд собрал, за Кружилиным гонялся по лесам вместе с тем полковником Зубовым. А малолетнего сынишку своего Макарку с Лушкой Кашкаровой к нам в тайгу доставил, велел их Филату спрятать в лесных глыбах и, значит, оберегать. Ну, он и оберегал... Укрывал их по зайкам. И в той избушке, где меня нашел, она жила, и в других. У Филата их много по тайге было. Да и счас есть. Вот, значит... И жил он с Лушкой напропалую. С другими ладно — помакает в блюдо да бросит. А к этой прикипел. Я-то венчанная, значит, как бы там ни то — от бога,

а с ней — так... Две жены, значит, у него стало как бы. Приедет в Облесье, поживет со мной, да в тайгу на неделю... Потом, слышу, Зубова-полковника где-то прикончили, я помолилась за упокой... А Кафтанов прислал к Лушке его сына-малолетку, Петьку этого, который в вора-бандита теперь по тюрьмам вырос.

Акулина Тарасовна потихонечку, будто боясь, что услышит Наташа, глотнула воздух и затихла.

— Она, Лушка, и растила их обоих — Марку да Петьку. С помощью моего Филата, — немного погодя обиженным голосом проговорила старушка. — Все уж кончилось, Кафтанова самого прибили давно, и давно война гражданская притихла, колхозы начались, а Лушка все живет поблизости, все топчется вокруг нее Филат... Сколько я слез выплакала, кто б измерил! Ведра целые... А через край плеснулось, когда первый раз этого Петьку Зубова заарестовали. Магазин он какой-то обчистил. Стали судить его в Шантаре. Поеду-ка я, думаю, в Шантару, гляну на Петьку. Ведь я ни разу не видала его. Походит, мол, нет на отца-то?

Наташа удивленно приподняла голову.

— А что вам с того?

— А вот и что. Глянула — вылитый он... отец... Викентий Зубов, который полковником стал...

— Что?! — Наташа, еще ничего не соображая, снова поднялась и застыла столбом. — Что... вы хотите сказать?!

— Я не хочу, я сказала, дочушка. Жизнь такие петли выписывает... Энтот полковник, тот самый... который... в омшанике тогда вместе с братом своим... Евгением-то. Вот... младший сынок, значит, нашего ярославского барина... Как только он объявился у нас в дому, в Облесье, я как кипятком обварилась: вот она судьба неминуемая! С каторги ушла, в тайге зверем жила, все вынесла, не потушил господь зрачки... А счас момент — и все! Поднимет наган-то, да и... Что ему теперь, суда никакого не надо. Сразу я его узнала. Господи, рвется у меня в мозгу, в такой дыре сошлись, где жизнь светла! И чую, туск в глаза наваливается, заплывает все перед взором. И слышу его голос: «Что, дура, уставилась? Ненормальная, что ли, она у тебя?» Это он уж к Филату. А тот: «Болезная, ваше благородие, так точно, пурга в тайге прихватила пять годов назад, три дня под снегом пролежала, мозги-то, видеть, и подморозило, с тех пор и маюсь, рад бы избавиться, да баба же, а бог не прибирает... Пошла прочь, дуреха!» Хихикнула я и в самом деле по-идиотскому, да и пошла. Не узнал он меня, на счастье. Ох ты господи, думаю, есть ли ты, нету ли — спасибо тебе!

— Да-а, — только и протянула Наташа, упала обратно на стул. — Невероятно...

— Немыслимо, — кивнула и старушка. — Да что ж... Всяко бывает. Каких-каких только событий не приключается. Земля — она ведь хоть и большая, да махонькая. И все теснее на ней. От того, наверно, и войны бесконечные, а? Чтобы людям посвободнее потом было...

— Да вы что? Тут причины другие... Сложные.

— Ну, да это так. Оно конечно... А я, значит, как глянула в суде на Петьку Зубова, так и охолодела — вылитый отец! Ну и... осело у меня что-то внутри. В мозгу одно колотится: Филат же вырастил его, помог ему вырасти. Знал же, чей это сын... говорила ж я ему про Зубова, полковника, что тот это, Викентий. «Так что ж, — отвечает, — я его кокнуть должен? Я ни одного человека не убивал, слава богу, с тем и век проживу. А ты на глаза ему боле не пялся...» Все простила я Филату, всех баб, и Лушку... Что ж, думаю, коли козел? А вот этого — не могла. Чую, что не смогу больше жить с ним под одной крышей... «Купи ты, — говорю, — мне какую-нибудь избенку где-то, да освободи. Благодарная я тебе до гроба за все, и словом лихим не помяну...» Сверкнул он узким глазом да и сказал: «Ладно, Акулинка, ягодка-малинка. Тем больше что замучил я тебя. Третий сын у меня ведь родился в деревне Казанихе. Прости ты меня, грешного...» Вот с тех пор я и живу в Шантаре одиночкой, доченька.

Старуха, утомленная длинным рассказом, измученная всплывшим в памяти прошлым, вздохнула, умолкла, стала опять глядеть в потолок. В глазах ее, помутневших от времени, вроде и ничего не было — одна бессмысленная пустота. Но, приглядевшись, Наташа поняла, что это не так. Глаза старой женщины были просто очень усталы, в них стояла неизбывная теперь грусть по жизни, пускай сложившейся для нее так трагически, но уже уходящей безвозвратно в вечность. Наташа в ее глазах, в ее лице и во всем облике этой старухи словно бы снова прочла все то, о чем та только что рассказывала: были у этой женщины невообразимые страдания и муки, но было и солнце, которое щедро грело ее в самые тяжелые минуты, были запахи свежей весенней земли, трав и цветов, которые волновали и заставляли свободно биться сердце, встречались и люди добрые, которые искренне делились с ней теплом своей души и скудно отпускаемой во все времена человеческой радостью. И Наташа подумала: как бы ни горька была порой жизнь, прощаться навсегда с солнцем, землей и людьми человеку всегда грустно и тяжело, и это какая-то чудовищная дикость, что каждому человеку с этим приходится рано или поздно прощаться...

— Ну, а тот, Иван... виделись вы с ним потом когда-нибудь? — само собой вырвался

у Наташи вопрос. И на этот раз она не испытывала сожаления, что спросила, каким-то чутьем чуяла, что теперь этот вопрос не обидит, не оскорбит старушку.

Акулина Тарасовна медленно повернула к Наташе голову.

— А как же. Видела. — Помолчала и еще раз сказала: — Видела.

— Кто он, если не секрет? Где живет?

Старая женщина на это улыбнулась улыбкой — легкой, светлой и благодарной. Но отвечать не стала.

Разволнованная рассказом, ощущая потребность осмыслить все услышанное, Наташа захотела побыть одна.

Ночь над Шантарой была уже плотная, когда она вышла за хилую оградку, окружающую избенку бабушки Акулины, и медленно побрела вдоль пустой, глухой улицы, раздумывая о нелегкой судьбе этой женщины, снова и снова поражаясь ее доброте, незлобivosti, ее рассуждениям о смысле жизни на земле. «Сколько ж вы перенесли-то! — само собой и не в первый раз, кажется, вырвалось в конце ее рассказа у Наташи. — Это лучше б не родиться! Для чего, для чего?» — «Че мелешь-то, неразумная! — с досадой ответила старуха. — Не от нас зависит — родиться не родиться». — «Я не об этом, я... о смысле жизни вообще...» — неумело выкрикнула Наташа. Но старуха мысль ее поняла, помолчала и тихо, будто только сама себе, ответила: «Так что ж, смысл? Кровь-то человекья, да слезы, да пот людской — это для земли, может, как керосин для лампы? ЕСТЬ — горит, нету — потухла...» — «Что вы говорите? — протестующе воскликнула Наташа. — Этот керосин... совсем другой! Человекья улыбка, человекий смех! И вообще — радость, счастье...» На это старуха усмехнулась: «Да кто спорит, доченька! Только на земле и того и другого в достатке. И недаром то день, то ночь, то солнышко, то непогодь... О-хо-хо, Наташенька, вот и выходит, что смысл этот — тоже мудреная штукавина. Может, богу одному и ведомый. Да только ить и бога-то нету. Одни мы, люди, и есть... И нам вся эта жизнь и предназначена. Какая она ни есть. И нам надо понимать, в чем ее керосин...»

Проходя мимо дома Маньки Огородниковой, которая сидела сейчас где-то в тюрьме за укрывательство ворованных Макаром Кафтановым товаров, Наташа с жалостью вспомнила эту круглолицую, полноватую, с большими и тяжелыми грудями молодую женщину, которая спасла ей жизнь. Говорят, она сама пришла в суд, когда судили Кафтана, Зубова и Гвоздева, все сама рассказала. И еще кто-то слышал будто, как этот Петр Зубов, когда Огородникова села рядом с ними на скамью подсуди-

мых, прошипел сквозь зубы: «На коленки добровольно встала? Ну и подыхай... Выживешь в тюрьме — Макар тебя после прирежет».

«Они — прирежут, — со страхом и омерзением думала Наташа. — Зачем уж ей было говорить, что она прятала ворованное? Ведь не добровольно же, этот ужасный Макар заставил ее спрятать, угрожал... Но и тут опять эти странные слова Зубова: «На коленки встала?» Хотя что ж, у них, у бандитов, своя мораль, свое понятие всяких вещей...»

Огородниковой дали, кажется, два года, в дом ее вселили какую-то многодетную семью с завода. Наташа часто видела во дворе орущих на разные голоса ребятишек, а сейчас возле дома, как и повсюду, было тихо, но дом, как другие, не казался пустым, потому что одно окошко чуть подсвечивало, и Наташа поняла, что мать этих ребятишек, уложив всю семью, еще доделывает какие-то свои бесконечные дела, а может, ждет с завода мужа, — вот-вот должна была кончиться вторая смена.

И действительно, вскоре отовсюду стали доноситься голоса, а во многих домах — вспыхивать окна. Окон зацвело все больше, будто сейчас была не полночь, а приближался рассвет. Они погорят немножко, думала Наташа, люди, вернувшиеся со смены, торопливо поужинают и, усталые, лягут спать. Одно за другим окна будут гаснуть, и вскоре все большое село, как измотавшаяся за день хлопотливая хозяйка, вскочившая, чтобы встретить и накормить работников, снова будто приляжет и задремлет. Сон будет крепкий, но не продолжительный, через несколько часов уже прольется рассвет, потом опять зацветут окна, но на этот раз от веселых солнечных лучей, которые тугими снопами ударят в стекла из-за каменных круч Звенигоры. А вскоре свежий утренний воздух расколет знакомый и всегда волнующий, до боли щемящий сердце звон кремлевских курантов, и с площади перед сквером Павших бойцов революции, где укреплен на столбе радиодинамик, на все село разнесутся отчетливые слова диктора: «От Советского Информбюро...»

Так начнется новый день, который будет не легче, чем вчерашний...

— Наташа?! — услышала она удивленный возглас и увидела перед собой Юрия Савельева. — Гуляем?

— Здравствуй, Юра, — сдержанно произнесла она.

— Ты знаешь, Наташ... — Юрий, глядя вниз, колупнул носком грубого рабочего ботинка землю. — Я на фронт ухожу.

— Ты?! — невольно воскликнула Наташа, сразу же пожалев, что вырвался этот возглас.

Юрий скривил обиженно губы.

— А ты что же думаешь, одному Семену положена такая честь?

— Почему одному? Там — миллионы...

— Ну да, это я глупость сказал. Боже мой, сколько вообще человек делает глупостей!

Наташа пошевелила бровями, помолчала и вдруг резко и безжалостно сказала:

— А знаешь... Не верю я в твою искренность.

Он усмехнулся, теперь кисло и едко.

— Почему же?

— Ну вот... не похож ты на отца. Совсем не похож. — Она помолчала и добавила все тем же безжалостным тоном: — Не знаю я, почему ты на фронт решил... Мог бы и не идти, есть такая возможность. И тебе не хочется. Потому что ты боишься...

— Ты соображаешь... — Он схватил ее за плечи крепкими, привыкшими к железу руками, сильно затряс: — Соображаешь, что говоришь?!

Неподалеку от того места, где они стояли, горела на столбе электрическая лампочка, свет едва доставал до Наташи и Юрия, и в полумраке сверкали его глаза, а на простоватом, обычно добродушном лице отчетливо проступила жестокость.

— Оставь меня! — вскрикнула Наташа, сбросив его руки с плеч. — Вот... теперь ты на себя похож... Такой... такой ты и есть.

— Какой?

Оба они тяжело дышали.

— Душа у тебя чертвая...

— Спасибо, — выдал он сквозь зубы, отвернулся. Большие и сильные его плечи теперь торчали как-то одиноко и сиротливо. И звали у Наташи чувство жалости. «Да что это я на него?» — сама собой пришла к ней сочувствующая, бабья, как она все же понимала, мысль.

— Прости меня, — сказала она негромко. — Может, я не права, Юра... Прости.

— Что уж там... Валий дальше. — Он попрежнему стоял к ней чуть боком. — Все равно последняя у нас с тобой... пресс-конференция. Задавай всякие вопросы...

— Мать как же твоя будет одна? — спросила Наташа, будто и в самом деле решила воспользоваться его разрешением, и, спросив, тотчас поняла, что вопрос неловкий и, может быть, неуместный по всему ходу и смыслу получившегося у них разговора.

— Она как-то лучше чувствовать себя стала. На работу даже устраивается. В районную библиотеку.

— Что ж, очень хорошо... Я пойду, Юра, мне пора.

Он повернулся к ней, поймал ее взгляд. Она испугалась мелькнувшей вдруг мысли, что он сейчас возьмет ее за плечи, прижмет к себе и начнет целовать, и сделала шаг назад.

Наташа боялась такого его состояния, догадывалась, что с ним, старалась наедине не встречаться.

Раза два-три, когда она работала еще в столовой, он спрашивал ее о Семене, часто ли пишет, и, выслушивая скупые ее ответы, искоса, стыдливо как-то бросал взгляды на ее тяжелеющий живот.

Когда она была уже в декрете, он заявился однажды к ней домой, принес неизвестно каким способом добытые яблоки — много, целую авоську.

— Витамины. Полезно будет ребенку.

— Зачем? Не надо, — сказала Наташа, все же благодарная.

— Чего там...

Бабушки Акулины дома не было, она приболела и уплелась в больницу, Юрий сам вымыл над тазиком два яблока, подал Наташе.

— Спасибо, — сказала она, смущаясь своего огромного теперь живота.

И вдруг Юрий упал на колени, обхватил этот живот длинными руками, прижался к нему лицом. Наташа визгливо, по-бабьи, закричала, уронила яблоки, изо всей силы принялась отталкивать Юрия, за волосы оттягивала обеими руками его голову прочь, а он не выпуская Наташу, целовал сквозь ситцевый халат ее тугой живот и лихорадочно бормотал, как обезумевший:

— Наташа, Наташа! Люблю, люблю тебя!

Наконец она все-таки вырвалась из его цепких и сильных рук, отбежала прочь, давась обидой, гневом, рыданиями.

— Как не стыдно! Ведь Семен — твой брат... родственник...

— Пускай! Я ненавижу его, ненавижу...

— Замолчи! — яростно закричала она, сбрав все свои силы. И ухватилась сама за живот, чувствуя, как от крика он весь наполнился режущей болью.

От этого крика Юрий осел, съежился и, как побитый, побрел к дверям. Ей стало его жалко.

— Слышишь ты, Юрка, — сказала она жалостливо вдруг, забыв о боли в животе, подошла к нему, положила обе руки на его плечи, от чего он сжался еще больше. И, будто чего-то вымаливая, проговорила: — Я Семена люблю. Больше жизни. Ты это можешь понять?

— Понимаю.

— Если даже... если даже с ним случится что на войне, я буду ему верна до старости... до самой смерти. Никого мне не надо. Понимаешь?

— Нет, — сказал тогда Юрий, глядя на нее действительно непонимающими, изумленными глазами.

И вот теперь, в полночь, при тусклом свете электрической лампочки, Юрий снова оказался рядом с Наташей. Он был в чистом комбинезоне, от него пахло металлом.

— Ты знаешь, — усмехнулся Юрий невесело, — мне было семь лет всего, даже меньше,

седьмой, кажется, только шел... когда меня пытали враги революции.

Это — «враги революции» — прозвучало как-то неестественно, может, даже напыщенно, но Наташа, удивленная, этого не заметила.

— Как это... пытали? — выдохнула она.

— Обыкновенно. Как пытаются? Били жестоко, я помню... На глазах у матери и отца. Чтобы у них какие-то сведения вырвать... Я все помню...

— Юра... — Наташа невольно подалась к нему, невольно схватила за руку. — Я не знала. Он тихонько освободил руку.

— Спроси как-нибудь у матери... Разум у нее помутился тогда, еле-еле отошла. И вот такая же пытка для меня сейчас... С того дня, как увидел тебя... А-а, да чего!

И он, махнув рукой, резко повернулся, пошел прочь.

— Юрий? Юра! — беспомощно вскричала Наташа, сделала несколько шагов вслед. Но он, будто боясь, что она его догонит, пошел быстрее, почти побежал...

Своя жизнь, не всегда понятная родителям, идет у детей.

Димка Савельев, сын Анны и Федора, за два военных года незаметно налился силой, окреп, голос его сделался басовитым. Весной 43-го ему исполнилось пятнадцать лет, все мальчишечье в его фигуре быстро исчезало, ходить он стал менее развалисто, ноги на землю ставил твердо, словно не шел, а сознательно и размеренно печатал шаги. Черные, глубоко посаженные глаза стали какими-то еще более зацепистыми, смотрели на всех внимательно. Его взгляда не выдерживали даже некоторые школьные учителя, а преподавательница литературы, женщина пожилая, почти старуха, нередко говорила:

— Почему ты смотришь так на меня, Савельев?

Малоразговорчивый от природы, Димка теперь стал еще молчаливее и на такие слова только пожимал плечами.

— Ты, Савельев, кажется, не любишь меня. А за что? — спросила однажды эта же учительница. — Смотришь, будто насквозь продавливаешь...

— Почему же? — возразил Димка. — Я вас уважаю... И литературу люблю.

Он действительно любил литературу и вообще учился неплохо.

— И на меня... И на меня ты вот так же все зыришь... — в тот же день сказала ему Ганка, с которой он по-прежнему занимался в одном классе, сидел в одном ряду, только на задней парте, а она на первой. — Я затылком всегда чувствую. Перед девчонками стыдно. Дома гляди, сколько хочешь, а в школе не смей.

— Нужна ты мне... — буркнул Димка. — И дома, и в школе.

— Так... да?! — повернулась она к нему, глаза ее метали черные молнии. — Ты... так?!

Смуглые щеки Димки порозовели, и только это выдало его волнение, потому что внешне он остался совершенно спокоен. Он качнул лобастой головой и еще более упрямо и дерзко произнес:

— А как же еще? Воображаешь о себе много.

У Ганки от обиды мелко затряслись губы, большие и красивые ее глаза быстро-быстро переполнились слезами, засверкали ослепительно, сделались еще прекрасней. И с длинных ресниц на пылающие щеки капнула одна слезинка, потом другая.

— Ладно, — прошептала она почти беззвучно, крутанулась так, что чуть не хлестнула его по лицу тяжелыми косами, и убежала, оскорбленная и непокорная.

С тех пор ее заливистый и звонкий смех стал все чаще раздаваться со двора Николая Инютина. Тот, как слышал Димка через плетень со своего двора, что-то ей по обыкновению молло, она хохотала беззаботно, на всю улицу. «Куда мать-то ее смотрит, не видит, не слышит, что ли? — ворочались в голове у Димки тревожные и, как он сам чувствовал, беспомощные какие-то мысли. — Ведь он, Колька, совсем мужик... В военкомат все бегают к этому Григорьеву, обещают, говорят, отправку на фронт летом, вот как девятый класс закончу. Бродя, говорит, 26-й год будут летом брать, добровольцев. И Григорьев-то ничего, говорит, оказался, не злыдень, хоть и рябой... Что он тогда с Ганкой... ежели на фронт собирается? И Григорьев для него хороший стал... Паразит крочконосый».

А тут еще сам Колька однажды подлил масла в огонь:

— Ух, зараза такая! — сказал он восторженно о Ганке. — Тугая! Прямо от нее искры какие-то! Как при замыкании проводов.

— Так ты не сгори смотри, — сказал Димка с усмешечкой. — А то вон с одного места уже воняет.

— Ч-чего? — заморгал Инютин и уставился на Димку.

— Ничего. Болтаешь много. И врешь.

— Где?

— Да что это... тугая. Ты что ее... Откуда знаешь, какая она?

Николай Инютин хмыкнул, пальцем поскреб свой горбатый нос.

— Тетеря ты, Димуха, понятно... Не знаю, так узнаю. Мы сговорились в кино с ней по субботам ходить.

— Ты узнаешь? — воскликнул Димка. — Да я... вперед тебя узнал уж.

— Ч-чего-о? — опять протянул Николай. — Три хе-хе-хе!!! Молоко покуда у тебя на губах не обсохло.

— Тогда у нее спроси самой!

Димка выкрикнул это в запальчивости, понимая, что делает что-то мерзкое, неоправданное, и еще сознавал, что обычная сдержанность, которой он втайне гордился, здесь как раз и изменила ему, изменила именно тогда, когда важнее всего было взять себя в руки, промолчать.

— Ладно, я спрошу, не постесняюсь, — угрожающе проговорил Николай.

Все это было нынешней весной, когда в палисадниках только-только набухали сиреневые почки. А когда сирень запенилась, запылала перед окнами белым и голубовато-розовым огнем, случилось то, что и должно было случиться, раз он не сдержался.

Однажды ранним вечером Димка сидел на крыльце и от нечего делать строгал таловую палку, мастера костьлек. Когда он, надрезав тонкую кожицу, длинной лентой сдирал ее, закончил по всему костьльку замысловатый узор, во двор вбежал Витька Кашкаров.

— Ганка тебя зовет! Там она, за нашим плетнем стоит.

— Зачем я ей?

— Откуда я знаю! Я иду мимо, она стоит. С Колькой. Полные руки у нее сирени. Колька, видать, ей наломал где-то. Он, гад такой, всю сирень ей по всем улицам обломал.

Димка сразу догадался, зачем она зовет его... Не идти нельзя, тогда он совсем упадет в ее глазах — скажет: трус, и Колька скажет: трус да еще и врун несусветный. Да и Витька вот так же будет думать. И идти нельзя, потому что... Тогда же надо будет объяснить Кольке при ней, при Витьке вот, что он не соврал тогда Инютину про Ганку. Но это же значит... замарать Ганку, так ее обидеть... Смертельно. Как же быть? Что делать?

Витька, тоже вытянувшийся, похуевший, стоял, пошвыркивая носом, ждал, наклонив голову на длинной шее, разглядывал палку.

— Скажи, сейчас приду, — промолвил Димка, сказал это сознательно, чтобы отрезать путь и возможность поступить как-то иначе, ибо чувствовал: если он действительно струсит и не пойдет, то что-то в нем случится непоправимое, он потеряет уважение к самому себе.

— Дак пойдем вместе, — сказал Виктор.

— Айда...

Димка встал и принялся стряхивать с колен стружки. Страхивал их долго... «Что же сказать? Что сказать?!» — колотилось больно у него в голове, когда он выходил со двора, шагал мимо Витькиного дома. Вот уже и дом миновал, вот угол плетня, да вон и сама Ганка, а рядом с ней горбоносый Инютин. «Как же это я не сдержался? Язык бы лучше откусить».

Ганка стояла потная, некрасивая в гневе, только глаза сверкали по-прежнему ярко, так сверкали, что больно было смотреть. В руках у нее действительно был огромный букет сирени, только она держала его в опущенной руке, как веник.

— Ну, говори! — потребовала она, задыхаясь. — Когда это ты узнал... что я тугая? Говори сейчас же, при всех! Ну — сочиняй...

Это «сочиняй» было каким-то спасительным. Ведь Ганка в конце концов не виновата в том, что в ту ночь он, Димка, впервые дотронулся до ее тела и, теряя разум, сжал в ладони теплый бугорок ее груди. Она ведь даже не проснулась, только вздрогнула во сне и перевернулась со спины на бок, напугав его своим движением до потери сознания...

«А может, и проснулась?!» — вдруг впервые опалила его, ошеломила вдруг сейчас, здесь, у ограды кашкаровского дома, страшная догадка. Ведь именно после той ночи, бессонной, какой-то дурманной, началось что-то непонятное между ним и Ганкой, пролилось что-то холодное, отчуждающее. «Что, если она проснулась? Ну конечно, конечно...»

Дело было зимой. Марья Фирсовна, Ганкина мать, затеяла побелку дома, но за день не управилась, вечером у них с Ганкой хватило сил вымыть полы только в одной комнате.

— Давайте спать, постелимся все на чистый пол. Завтра домом уж везде, час ноги не держут. Ганюшка, Дмитрий, разворачивайте одежду...

Все легли вповалку, Димка приткнулся где-то на свободный клочок пола и, уже засыпая, понял, ощутил всем телом, что лежит рядом с Ганкой. Вот она посापывает сбоку, чуть даже прихрапывает, а сразу за ней ровно и глубоко дышит ее мать. Сон у Димки как рукой сняло, он почувствовал, будто плавится в груди, там, где сердце, необычный, жгучий жар.

Шло время, прошло, наверное, много часов, все тикали и тикали ходики, которые он сам и повесил на свежесвыбеленную стенку, на старое место, и гирька опускалась все ниже. Тиканье часов да дыхание спящих — больше и не было никаких звуков в комнате. Димка не спал и понимал, что в эту ночь не уснет.

Прошло еще немало времени, наверное, очень даже много, в голове Димки теперь гудело. И, не помня себя, не соображая, что делает, он протянул руку, дотронулся до размеченных на подушке Ганкиных волос. Волосы были мягкие, холодные, его прошло током. Сознанием он понимал, что делает недозволенное, что руку свою надо немедленно отдернуть. Ганка ведь проснется, закричит, и тогда... Но пальцы его сами собой перебирали пряди ее волос, задели ее щеку. Чувствуя теперь, как пальцы его дрожат, он скользнул ими по ее шее, по плечу, и его ладонь неожиданно легла

на крепкий бугорок ее груди, обтянутый нагретым от тела ситцем... Ганка вздрогнула, зачмокала во сне губами и повернулась к нему спиной, легла на бок. Оглушенный, он не в силах был отдернуть руку, ладонь его теперь лежала на ее мягком и тоже горячем плече, и Димка боялся снять ее. Теперь-то, ему казалось, она обязательно проснется, едва он пошевелит рукой.

Так его ладонь и пролежала у нее на плече до рассвета. Вот и все.

Нет, не все. Утром Ганка — сейчас Дмитрий это вспомнил отчетливо — ни разу не взглянула на него, все отворачивала в сторону припухшее за ночь лицо и быстро убежала в школу. И потом несколько дней будто не замечала его. А после и начала кидать усмешечки, пярять разными шуточками, и, наконец, вот это: «И на меня ты вот так же все зыришь...»

...Это «сочиняй» было спасительным, Димка знал, что теперь ему говорить, хотя сразу слов никак подобрать не мог.

— Чего, я спрашиваю, в рот воды набрал? — опять донесся до него сердитый Ганкин голос. Она глядела на него враждебными глазами.

И Николай Инютин смотрел на Димку виновато, ему тоже было неловко.

— Сволочь ты, Колька, понятно?! — выкрикнул Димка.

— Чего, чего? — Инютин приподнял крючковатый нос.

— Не чегокай. Я... ну сочинил... Назло тебе прихвостнул... А ты?!

В глазах у Ганки дрогнули зрачки, презрительно сложенные губы вроде чуть отмякли. Все это Димка заметил в одну секунду, почувствовал большое облегчение, повернулся к ней.

— Вот... Прости меня.

— Подлец! —дохнула она ему горячо прямо в лицо. Взмахнула букетом, ударила по лицу. — Я тебя прощаю... прощаю, прощаю.

Выкрикивая это сквозь слезы, она безжалостно хлестала Димку по лицу, по плечам, мелкие сиреневые звездочки разлетались в разные стороны, обсыпая его плечи. Димка не защищался, опустив плетью длинные и уже сильные руки, отступал, пятился, пока не уперся спиной в изгородь.

— И ты? И ты... дурак горбоносый! — повернулась она, разгоряченная, к Николаю. — И ты — руки распускать! Вот тебе... вот!

И Ганка обхлестанным уже букетом принялась колотить по плечам и лицу Инютина.

— Сдурела! — Николай пытался поймать и отобрать у нее сиреневый веник, но это ему не удавалось. — Сдурела...

Руку Ганки перехватила появившаяся мать Николая. Как она подошла — никто из четверых не заметил.

— Ты что это? —спросила Анфиса строго. — Ты же глаза выхлестаешь...

— Сбесилась она совсем, вот чего, — буркнул Колька и пошел прочь.

— Обидели они тебя, что ли? —спросила Анфиса у Ганки.

— А вам какое дело? — зло прокричала Ганка, взмахнула уже почти голыми сиреневыми прутьями, будто хотела ударить и Анфису. Но не ударила, отшвырнула то, что осталось от букета, прочь, зарыдала и побежала домой.

Витька прямо через изгородь пролез в свой огород и пошел по рядкам картофельных всходов. Анфиса и Димка остались одни.

— Хулиганье вы, однако. Зачем девку обижаете? —спросила она.

— Ее обидишь, — усмехнулся Дмитрий и приложил ладонь к щеке. Лицо, больно нахлестанное Ганкой, горело.

Потом Анфиса и Дмитрий молча пошли. Мать Инютина возвращалась из библиотеки, где она работала теперь уборщицей, в руках у нее была хозяйственная сумка.

— Как мать-то там, в колхозе? — неожиданно спросила она, останавливаясь у калитки дома Дмитрия.

— Работает, что ж тут.

— Отец-то пишет, нет?

— Нет...

— А Семен?

— От него недавно письмо было.

— А наш батька что-то замолчал, — сказала мать Николая Инютина. — Уж не знаю, что и думать...

— Ну, мало ли, — проговорил Димка успокаивающе, по-взрослому. — Там ведь так... не всегда и напишешь.

— А ты на отца все больше становишься похожий. Я его и в таких вот годах, как твои, помню. Прямо вылитый ты. И взгляд такой же...

Димка не то чтобы знал что-либо определенное об отношениях своего отца и матери Кольки Инютина в молодости, но по отдельным словам своих родителей, по некоторым поступкам обоих смутно догадывался, что Инютина эта играла тут какую-то роль и что она, кажется, принесла его матери много горя. Поэтому на последние слова Анфисы он ничего не сказал, только взглянул на нее чуть удивленно, вопросительно. И она, взрослая женщина, смутилась, смешалась и пошла к своей калитке.

Она шла быстро, легко, по-девчоночьи, и Димка показалось, что это с ним разговаривала, стояла вот тут сейчас не тетка Анфиса, а дочь ее, Верка.

3-й гвардейский танковый полк, отведенный после тяжких февральско-апрельских боев на доформировку и отдых в сожженную немцами

деревушку Тасино под Курском, в конце июня получил приказ выдвинуться под сельцо Фатеж, стоявшее на тихой и светлой речке Усоже.

Шоссейная дорога Курск — Орел, содержащаяся до войны в образцовом состоянии, сейчас была сплошь в рытвинах и ухабах, местами дорожное полотно зияло глубокими воронками. Длинная танковая колонна,двигающаяся и без того на малых оборотах, объезжая эти воронки, еще более замедляла ход.

Стояла сушь, траки взбивали пыльную пудру, она клубами взрывалась под танковыми днищами, тугими струями хлестала во все стороны, забивала, запечатывала щели триплексов. Машины шли будто в густом молочном тумане. Семен ничего не видел, кроме мутной пелены, и, боясь врезаться в машину, идущую впереди, яростно матерился про себя.

Под Фатеж прибыли к вечеру, солнце садилось во вспучившиеся до неба пыльные облака. Семен, грязный, как трубочист, выбрался из танка, снял шлемофон и гимнастерку, начал выколачивать из нее пыль об ствол ободранной березки. Рядом отряхивались, отплевывались от пыли стрелок-радиост Вахромеев, командир орудия их повывавшего виды «КВ» сержант Алифанов и дядя Иван, заряжающий.

— А я-то думаю, что это полк двинулся при ясном солнышке, в открытую, — проговорил Семен, кивая на серое, пыльное небо, тяжело висевшее над землей. — А тут такая маскировка.

— Речной мятой тянет вроде, — Иван, глядя на мутное небо, принюхивался, будто запахом мяты оттуда, сверху, и тянуло. — Где-то речка рядом. Умыться бы хоть. А, Егор Кузьмич?

Алифанов, маленький, плотный артиллерист, с такими же усами-подковками, как у Ивана, молча поглядел на командира танка старшего лейтенанта Дедюхина, неуклюже вылезавшего из люка.

— Можно, — сказал Дедюхин хмуро. — А то на чертей похожи. Только сперва машину примаскируйте.

Старший лейтенант Дедюхин был человеком грубоватым и мрачным, но в душе, как это почти всегда бывает с такими людьми, бесконечно добрым. Семен увидел его впервые под Челябинском около года назад. Он, тогда еще младший лейтенант, шел, тяжело ступая, вдоль строя выпускников краткосрочных курсов механиков-водителей танков, при каждом шаге тяжело выбрасывал вперед то одну, то другую руку. Семену показалось на миг, что если этот хмурый человек остановится, руки его еще будут некоторое время болтаться.

— Ты! — произнес он неожиданно, остановившись против Семена, и ткнул в него указательным пальцем.

— Рядовой Савельев, — проговорил Семен.

— Вижу, что не генерал. Сибиряк, мне говорили?

— Так точно, товарищ младший лейтенант.

— Шагом марш за мной.

Младший лейтенант Дедюхин был не молод, лет сорока, по виду — из рабочих. На его груди посверкивал орден Красной Звезды, две медали. В нескольких фразах он объяснил Семену, что приехал с фронта в тыл за своим ремонтировавшимся здесь танком, «расколотым» прямым попаданием сволочной фашистской авиабомбы, во время которого убило механика-водителя и Костю — заряжающего.

— Вот теперь еще заряжающего надо, — закончил он. — Не знаешь, где взять хорошего мужика?

— Так разве мало...

— Дурак, — обрезал Дедюхин. — Дерьма много, да по-разному воняет... Я сам с Красноярска, весь экипаж у меня сибиряки. Железо люди! Костя тоже был с Иркутска, а не с Малаховки какой-нибудь. Был я до войны в Москве и в Малаховку ездил. Со знакомой одной. Дачное место! Ну, не знаешь?

— Знаю, — сказал Семен, понявший, чего хочет этот странноватый младший лейтенант. — Сейчас пополненцы тут обучаются. Там есть такой солдат Иван Савельев... Как раз в артиллерийском полку он.

— Чего? — прищурил Дедюхин свои острые глаза.

— Это дядька мой. Не ошибетесь.

— Хм, — буркнул Дедюхин, еще раз ободрал холодным взглядом Семена. — Ну — я проверю. Ежели соврал и барахло твой дядька — шкуру с тебя спущу. Где его найти?

Неделю спустя в гулком цехе танкоремонтного завода появился Иван Савельев и, выставив сутулые плечи, постоял у стальной громадины. Танк Дедюхина — «КВ» № 734 — только что покрасили, краска уже подсохла, но еще резко пахла. Сам Дедюхин, маленький, удивительно маленький по сравнению с этой горой железа, юрко суетился вокруг танка, гладил ладонью броню, траки, ведущие колеса, без умолку говорил, почему-то чуть заискиваяще:

— Вот она, Иван Силантьевич, а! Мамонька! Тридцать два попадания да сволочная авиабомба еще... А она только трещинку дала. Сейчас уже прибывают новые танки, тридцатьчетверки. Говорят, хорошие коробочки. Да видел я их, куда внучке до тетки, тетка три раза замужем была, не-ет... Соглашайся, Иван Силантьевич, соглашайся.

— Да куда мне в танкисты? И не отпустят, — по-домашнему произнес Иван.

— Хе, не отпустят! Это к Дедюхину не отпустят? — Младший лейтенант, говоря это, повернулся почему-то к Семену, и, когда поворачивался, рубиновый кубик на правой его петлице блеснул искрой в тусклом свете заводского

цеха. — Он что это мне говорит? — И снова повернулся к Ивану, видно, чем-то понравившемуся ему. — Кроме того, есть приказ Верховного, чтоб сын с отцом, брат с братом вместе воевали, чтоб не разлучали родственников. А делу тебя Алифанов Егор Кузьмич, командир орудия, живо обучит. У нас Егор Кузьмич — ого-го! Голова! Томский таежник он, понял? Дело-то хитрое — взять снаряд из гнезда, сунуть в ствол, закрыть замок. Ну? Ну?

Так вот и оказался Семен с Иваном в одном танковом экипаже. Из Челябинска довели отремонтированный «КВ» на железнодорожной платформе до Волги, переправились через нее, потом своим ходом добрались до села Котлубань, под которым Дедюхин разыскал свой полк. Было это в конце августа прошлого года, немцы в районе хутора Вертячего и станции Качалинской уже перешли Дон и рвались к Волге. Сутками гремела канонада, горела земля, на совхоз Котлубань и на станцию Качалинскую, хотя там нечего было уже бомбить, непрерывно налетала фашистская авиация.

Где-то сбоку лаяли, огрызаясь, зенитки, но вражеские самолеты не обращали на них внимания, кружили и кружили над степной балкой. Страх у Семена не было с первого часа пребывания в прифронтовой полосе, хотя всю дорогу от Челябинска до Волги он испытывал какое-то беспокойство. Он прислушивался к себе, пытаясь понять, что происходит у него в душе. «Неужели это я трушу?» — задавал он себе беспощадный вопрос, криво усмехался. И чем ближе была Волга, чем чаще встречались разбомбленные станции и поселки, чем отчетливее ощущалось страшное дыхание войны, тем он становился как-то холоднее и спокойнее, только беспрерывно думал: а как там Наташка, как же она? Вот и в тот раз, сидя согнувшись в земляной щели, ощущая спиной холодок глиняной стенки, он думал о жене, вспомнил, как уезжал на войну, как Наташка, когда его подхватили сильные руки и подняли в вагон, упала на пыльную землю и забилась на ней, представлял, как потом подошла к ней его мать, нагнулась и стала поднимать, а рядом — то с одного, то с другого боку — суетилась, наверное, Ганка.

...Плескаясь сейчас в реке, Семен вспоминал свой первый бой под донским хутором Вертячим. Даже не весь бой, а всего один эпизод, который постоянно приходил ему на память и не сотрется в ней, думал он, видимо, до конца жизни. Лощина, по которой скатывались навстречу друг другу советские и немецкие танки, была затянута утренней синеватой дымкой, и Семен думал не о смертельной опасности, а вот о таком же утреннем тумане, который, поднимаясь с Громотухи, затягивал прилегающие к ней луга, вспомнил, как Звенигора, погруженная в этот туман до половины, словно бы плыла

по нему, поблескивая золочеными вершинами. В такие утра зверский клев на Громотухе. Интересно, а как на Дону?

— Куда прешь, куда прешь?! — ударило по ушам. Голос Дедюхина был надсажен и устал, будто Дедюхин кричал до этого всю ночь напролет. — Бок хочешь подставить, едут твою... Держи левее, прямо в лоб ему!

Семен дернул за рычаг, тяжкая машина послушно взяла левее.

— Так... так, прямо!

А прямо шел приземистый немецкий танк с приплюснутой башней, поводя из стороны в сторону пушечным стволом. «Т-3» — определил Семен сразу же марку немецкого танка, вспомнил даже красочный плакат, который висел на дощатой стенке там, в Челябинске, когда он учился на краткосрочных курсах механиков-водителей. На плакате был изображен этот самый танк в разных ракурсах.

До танка было еще с полкилометра или чуть побольше, когда он перестал вертеть пушечным стволом, уставил его, как показалось Семену, прямо ему в смотровую щель. Из пушечного дула пахнул дымок, совсем не опасный, однако Семен инстинктивно прикрыл глаза. Но грохота снаряда о броню не последовало, немецкий артиллерист промахнулся.

— В-вояки, в задницу вас... — опять прогремел в ушах голос Дедюхина. — А ты дуй, дуй, газу прижми! Алифанов, не стрелять, приготовься...

Эта команда «не стрелять, приготовься» немножко удивила Семена. «Как же так? Как раз и надо бы сейчас влупить ему...»

— Понятно, — прохрипел командир орудия.

Семен совсем ничего не мог сообразить. А тут оглушительно ударило по броне, из вражеской машины снова выстрелили, этот снаряд угодил в лобовую броню, танк качнуло, в голове у Семена зазвенело, и сквозь звон он услышал в наушниках хриплый смех Дедюхина, а потом его матерщину и слова:

— Чего хотели — «КВ» продырявить. Это вам не жестянка из-под помады. Не сворачивать у меня! — Это уже опять относилось к Семену.

— Понятно, — сказал он, как и Алифанов, и почувствовал, как под шлемофоном взмокли волосы. Если танки столкнутся лоб в лоб на такой скорости, оба они расплющатся и вспыхнут, как спичечные коробки. Но к тому мгновению, как вспыхнут, в обоих танках будут лишь трупы...

— Молодец, что понятно. За понятливость нас бабы уважают. А любят за мужскую силу, хе-хе...

Эти слова и этот смешок заставили Семена улыбнуться. В мозгу мелькнуло: ведь с Дедюхиным не пропадешь, а коли случится что... как сейчас вот может случиться... то умирать будем весело.

Мотор взревел, сотрясая стальную громадину. Танки быстро сближались. «Если сейчас влепит, то прямо в смотровую щель», — сверкнуло у Семена тревожно. Было в нем будто два Семена: один ничего уже не боялся, был лих и безрассуден, а у второго беспокойно все-таки долбила в мозг тяжелая, как жидкий свинец, кровь.

Между танками оставалось метров семьдесят, вот еще меньше, еще. По лицу Семена грязными реками стекал пот, в голове гудело, руки вдруг противно задрожали. По ним шли какие-то конвульсии. Семен понял, что руки сами собой готовы рвануть рычаг, чтобы бросить тяжелую машину в сторону, чтобы избежать смертельного столкновения.

— Прямо! — прохрипел Дедюхин, тяжело дыша и будто чувствуя состояние Семена. Из ствола вражеского танка опять брызнул дымок, но адского грохота по броне не последовало. «Действительно размазня! — злорадно подумал Семен о немецком артиллеристе. — С такого расстояния промахнуться...» И он понял, что нервы у фашистских танкистов напряжены, как у него самого, до последнего предела, и еще подумал с какой-то уверенностью, что они у них вот-вот лопнут, оборвутся. Закусив до крови губы, он бросил дико ревущую машину на пригорок, чтобы оттуда, с высоты, обрушиться всей тяжестью на фашистов, и на миг потерял танк с крестом из поля зрения. Только на миг, но когда тяжкий «КВ» взлетел на пригорок, немецкой машины впереди не было.

— Ну?! — вроде бы возмущаясь, что Семен потерял немцев из вида, рывкнул в шлемофоне голос Дедюхина. И тут же Семен почувствовал, как громыхнуло их орудие.

— Молодцом, Алифанов! — неожиданно вяло произнес Дедюхин. И Семен увидел чуть в стороне горящий немецкий танк, сразу же понял все ясно и отчетливо, весь нехитрый расчет Дедюхина на выигрыш. Ни 37-, ни 50-миллиметровые орудия, устанавливаемые на немецких танках, для лобовой брони «КВ» были не страшны, но и пушка «КВ» не в силах пробить квадратный стальной лоб фашистской машины, поэтому Алифанов и не стрелял. Но рано или поздно нервы гитлеровцев должны были не выдержать, и как только это случилось, едва вражеский танк отвилнулся в сторону, Алифанов, бывший начеку, влепил ему в бок, в самый упор, снаряд, в клочья разорвав гусеницы, — горящая немецкая машина крутилась на одном месте.

Когда бой кончился, над лощиной все еще стоял туман, он даже сделался гуще, и не сразу Семен сообразил, что теперь это не туман, а дым, стлавшийся по земле от подбитых немецких и наших танков, рассыпанных по всей низине чадающими кострами. Дедюхин приказал всем выстроиться возле машины, прошелся взад-

вперед перед экипажем, собираясь с речью, как казалось Семену. Но речь он не сказал, только спросил:

— А что, Иван Силантьевич, сердце уходило в пятки?

— Трудновато было, — сказал Иван, тоже грязный и потный, как все.

— Ну, война — это работка! Обвыкнется...

Руки, ноги, все тело Семена все еще гудело мелкой дрожью, он думал о том, как вываливались из подбитых горящих машин немцы в черных комбинезонах, кидались прочь, падали под пулеметным огнем, некоторые больше не вставали, и он, Семен, давил их — и бегущих, и уже лежащих — гусеницами, каждый раз будто слыша хруст ломаемых костей. «Разве можно к этому привыкнуть, разве можно?!» Его вдруг замутило, он невольно прикрыл глаза и пошатнулся.

— И Савельев Семен молодцом, — услышал он голос Дедюхина. — Еще один такой бой — и обвыкнетесь, мужички-сибирячки...

...И вот теперь Семен не только обвыкся, а как-то даже потерял раз и навсегда ощущение своего присутствия на войне, ему все казалось, что он действительно находится на какой-то работе — утром заступил на смену, и вот все не кончается трудовой день, а дома ждет Наташка, теплая, вся трепетная, и бабка Акулина ждет, суется по бесконечным своим делам в комнатушке. Было потом много боев, больших и малых, в ходе которых немцы все оттесняли их дивизию и всю армию к железнодорожной линии Качалинская — Сталинград. Ощущение опасности как-то выветрилось, наверное, потому что некогда было об этом думать, дни и ночи просто заполнились дымом и грохотом. И даже когда под сельцом Овражное их «КВ» подождгли, Семен не думал об опасности. Задыхаясь от дыма, чувствовал, что на спине горит ватник, и, понимая, что вот-вот может взорваться боекомплект, он бросил пылающий танк в какую-то речушку и только там вывалился из люка в ледяную воду.

— Ах, едут твою! Молодцом, что не растерялся... Ну, прибить пламя! Всем, живо!

Пожар кое-как потушили, кусок пламени, оторвавшись от танка, уплыл по речке, слизывая толстую лепешку мазута на воде. С помощью подвернувшегося танка их «КВ» был выволочен из речушки на глинистый берег. Сбоку, за кустами, то приближаясь, то удаляясь, гремел бой. Семен ходил вокруг дымящейся паром железной горы, проверяя траки. Все было вроде бы в порядке.

— Заведется? — спросил Дедюхин.

— Не знаю. Должен. Не развалился же он.

— Коли б развалился — к лучшему бы. — неожиданно сказал стрелок-радист Вахромеев, потирая обожженную щеку. — Получили б тридцатьчетверку.

— Я те дам — тридцатьчетверку! Это — механизм! — Дедюхин пнул в гусеницу. Он не признавал никаких типов танков, кроме «КВ». — Заводи!

Семен, обрывая обгорелые лохмотья мокро-го ватника, полез в люк. «Механизм» завелся.

В бою под Овражным они расстреляли из орудия четыре вражеских пушки, проутюжили гусеницами окопы, где красноармейский батальон всего четверть часа назад держал оборону. Обстановка на войне меняется быстро, и пока они барахтались в речке, немцы выбили наш батальон из окопов, заняли их, успели подтянуть и установить пушки. Выбитый из окопов и прижатый к кромке лесочка, занятого тоже немцами, стрелковый батальон был обречен, и появление в тылу у немцев двух советских танков было полной неожиданностью. Гитлеровцы в панике начали поливать их из пулеметов, разворачивать пушки, но сделать ничего не успели. Видя подоспевшую помощь и замешательство немцев, батальон поднялся в атаку, снова занял оставленные несколько минут назад окопы, а к вечеру, уступая превосходящим силам противника, без особых потерь отошел на новый рубеж.

— Это мы сотворили переполоху у них, — довольно сказал вечером Дедюхин. — А ты, Вахромеев, — балда. Хочешь променять хрен на морковку. Чтоб у меня таких и разговоров не было! Не слышал чтоб... Ну, а медали у нас в кармане. Это уж я знаю, такой вышел переплет. Под Вертячим, помните, танк сшибли, и вообще геройство экипажа было налицо... Но... невеста красива, да женишок спесивый... Ладно уж. А тут уж хошь не хошь, а медаль положь. Крышка батальону, коли б не мы, утопленники... Вот она, кривая.

Дедюхин говорил об этом, радуясь, как ребенок, будто в этих медалях была вся жизнь и дело с наградами уже решенное.

Медали «За отвагу» всему экипажу действительно вручили месяц или полтора спустя, когда под той же Котлубанью они ремонтировали немножко поврежденную в последнем бою ходовую часть.

— Ну, Савельевы, считайте, что это вам только аванец, как в начале месяца, — сказал Дедюхин, обращаясь к Ивану и Семену. — Отрабатывать его скоро придется, я чувю...

«Чуяли» это и все остальные. Немцы прикладывали неимоверные усилия, чтобы прорваться к Волге, перерезали дорогу Качалинская — Сталинград, давно захватили Овражное, под которым горел их «КВ». Гитлеровцев сдерживали уставшие до предела войска, подходившие и подходившие к линии фронта подкрепления командование почему-то в бой не вводило. Танковыми, стрелковыми, артиллерийскими дивизиями были забиты все прифронтовые селения — Самофаловка, Ерзовка, Желтухин, хутор

Верхне-Гниловский, Пашнино... Всем было ясно, что готовилось крупнейшее контрнаступление, которое должно было отбросить немцев от Сталинграда, об этом говорили в открытую.

Но отрабатывать «аванец» Дедюхину и его экипажу пришлось уже не здесь.

18 ноября под деревенькой Рынок, пригнувшейся на самом берегу Волги, прямым попаданием у «КВ» Дедюхина сорвало верхний люк и кронштейн для пулемета. Дедюхин, матерясь, что их для такого пустякового ремонта отправили аж в Дикову Балку, отстоящую от линии фронта на много километров, все же вынужден был подчиниться приказанию, а 19 ноября началось знаменитое Сталинградское контрнаступление.

Из Диковой Балки было видно, что в той стороне, где находился Сталинград, по всему горизонту стлались черные дымы, а когда дул южный ветер, сюда доносились гарь и запахи сожженного тола и железа. Но в Диковой Балке неожиданно оказалась вся танковая дивизия, в которую входил 3-й гвардейский полк, через день он своим ходом двинулся на станцию Иловля.

— С тылу, с тылу, видно, немцу ударим, — несколько раз говорил Дедюхин.

— Ну что ж, мы специалисты, — каждый раз отвечал ему Вахромеев, заметно повеселевший, отдохнувший.

Но в Иловле их неожиданно погрузили на платформы и куда-то повезли прочь от фронта.

— Интересно, — промолвил Алифанов. — А?

Дедюхин, получивший лейтенанта одновременно с вручением медали «За отвагу», промолчал. Ничего не сказали и Семен с Иваном. Семен, смертельно уставший за последние месяцы, просто был очень рад, как и Вахромеев, неожиданной передышке и тишине. Он большую часть пути пролежал на нарах в теплой, жарко накопегаренной теплушке, раза два за всю дорогу только сбегал к платформе поглядеть, все ли в порядке с их машиной.

Выгрузили их глухой ночью где-то на пустынном перегоне между Липецком и Ельцом. С обеих сторон к железной дороге вплотную прижимался лес, шел теплый и густой снег. Семен впервые видел за эту зиму такой обильный снегопад, на душе у него было светло, чисто и радостно. Танки, неуклюже сползая с платформ, уходили в черноту деревьев, шум их моторов там сразу же глож.

А потом — бои за начисто разрушенное селение с непривычным названием Касторное, удар на Щигры и далее на сам Курск, город, о котором Семен много слышал. Когда он учился в школе, слова «Курская магнитная аномалия» почему-то всегда удивляли и поражали его, он представлял, что по улицам этого самого Курска валяются магнитные куски железа и это из них делают те магнитные подковки,

которые он вытаскивал иногда из старых радио-репродукторов.

7 февраля 1943 года, поздним вечером, их «КВ», исцарапанный пулями и осколками, влетел на окраину какой-то улочки этого города. Город горел, над ним стояло дрожащее зарево, и в этом зареве извивались черные жгуты дымов. Улица была тесной, впереди, метрах в трехстах, немцы выкатывали из переулка пушку, торопливо разворачивали ее.

«КВ» несясь прямо на вражескую пушку, и Семен понимал, что подмять ее гусеницами он не успеет, вон немецкий артиллерист уже поднял руку...

— Алифанов! — привычно прохрипел в шлемофоне командир танка, и командир орудия так же привычно отозвался:

— Вижу.

Опустить руку немец не успел, на том месте, где стояла пушка, мгновенно вспух вихрь огня и дыма, оторванный ствол немецкой пушки легко, как сухая палка, взлетел над ним и, крутясь, упал на крышу приземистого домишка, проломив ее...

...Поплескавшись в речке, Семен вылез на травянистый берег, взял пыльную, в мазутных пятнах, гимнастерку с погонами, к которым никак еще не мог привыкнуть, отстегнул медаль, положил ее в карман брюк. Снова вошел в речку, попросил у Вахромеева обмылок.

— Еще чего, — буркнул прижимистый Вахромеев, однако мыло подал. — На гимнастерку изведешь, потом морду нечем будет обмыть.

— Не жадничай... Чего это нас сюда перекинули, скажи вот лучше?

— А девкам тут плясать не с кем, — буркнул Вахромеев.

— Болтун ты, — проговорил Семен и покопался на дядю Ивана, который, белея за кустами незагорелым телом, прыгал на одной ноге, пытаясь другую протолкнуть в штанину.

— Мы тут, чую я, все попляшем, — сказал сбоку Дедюхин. Вода была чуть выше пояса, Дедюхин по-бабьи плюхался, приседая, поднимаясь и вновь приседая. — Ох, чую, мужички-сибирячки. Наотдыхались, хватит. Два месяца как в отпуске, на курорте ровно, были. Вроде и не война нам...

Действительно, почти два месяца танковая дивизия недвижимо стояла на берегу красивой речки Сейм, неподалеку от небольшого городка Льгова, освобожденного в начале марта. По всему фронту в конце апреля наступило неожиданное затишье, не было ни налетов артиллерии, ни самолетного гула в воздухе. Странно было, что в самом начале мая по кустам и рощам, обломанным колесами танков, пушек и автомашин, искромсанным снарядами и пулями, в зарослях, из которых не выветрился еще за-

пах гари, бензина и пороха, защелкали, затрещали соловьи. «Это ж знаменитые курские соловьи!» — удивленно сказал тогда Семен дяде Ивану, а тот, послушав переливчатый звон, кивнул головой и только проговорил: «Ну, наши, сибирские-то, не хуже».

За эти два месяца танкисты хорошо отдохнули и отъелись, привели в порядок свои машины. В начале июня их стали посылать на рытье траншей и строительство оборонительных сооружений, которые возводились между Льговом и станцией Лукашевка, танкисты делали все это охотно, разминали тело от долгого безделья.

Вместе с военными на устройстве оборонительной полосы работали многие жители Льгова и Лукашевки, в основном женщины, и однажды Семен кидал землю рядом с худой, молчаливой девчонкой, голова и лицо которой чуть не до самых бровей были замотаны черным платком. Работала она в одиночестве, ни на кого не обращающая внимания, ни с кем не разговаривая, не отвечая на шутки, кидала и кидала землю. По лбу ее обильно сочился пот, щипал, видно, глаза, она отворачивалась, какой-то тряпкой протирала их и часто гладила ладонями свои щеки под платком, будто они у нее чесались.

— Ты бы сняла платок-то... Жарица такая, — сказал ей Семен. Она впервые подняла на него глаза, и Семен ужаснулся: глаза ее были старушечьи, усталые и тоскливые до немоты, будто сторевшие и присыпанные пеплом, в них словно совсем не проникал солнечный свет.

Семен, ошеломленный, застыл. Девушка усмехнулась как-то странно, тоже неживой усмешкой.

— Ладно, я сниму...

Она поглядела вправо и влево. Траншея, которую они рыли, за ее спиной круто заворачивала, рядом никого не было. Девушка грязными пальцами развязала на шее платок, сдернула его, и Семен почувствовал, как разливается холодок у него в груди. Вся голова девушки была покрыта частыми, белыми, как бумажные клочки, плешинами, меж которых торчали пучки светлых, коротко обрезанных волос, и во всю правую щеку пузырем лежал красный безобразный рубец. В платке девушка казалась симпатичной и даже красивой, а сейчас стояла перед ним страшная и обезображенная.

— Это... что же с тобой? — спросил Семен, в чем-то пересиливая себя.

— А прокаженная я... — И, глянув на застывшего Семена, еще раз усмехнулась: — Не бойся, я незаразная. Серной кислотой это я себе голову сожгла.

— Сама?! — удивленно выдохнул он.

— Сама...

— Зачем?

Девушка туго замотала опять голову, отвернулась и, кажется, заплакала.

— Семка, шабаш, — сказал подошедший Вахромеев, поглядел на девушку. — Строиться кричат.

— Сейчас... Больно ж, должно, это, — сказал Семен, понимая, что говорит не то.

— Под фашиста лечь, что ли, легче?! — зло повернулась девушка, в глазах ее впервые блеснуло что-то гневное и живое. — Ступай отсюда!

— Что ты орешь на меня? — рассердился Семен. — Я перед тобой виноват, что ли?

— Не виноват. И — ступай!

Семен повернулся и пошел, спиной чувствуя тяжелый, ненавидящий взгляд. Обернулся — она действительно глядела на него своими стылыми глазами.

— Как тебя звать? — неожиданно спросил он.

— Ну, Олькой Королевой... — Она скривила губы презрительно. — Тебе это очень надо?

Он не видел ее потом недели две — то ли она не ходила больше на рытье траншей, то ли работала где-то в другом конце, — но думал о ней все время, вспоминал ее злые слова: «Под фашиста лечь, что ли, легче?» Вспоминал часто Наташу, и ему казалось, что ее судьба чем-то схожа с судьбой этой Ольки.

По вечерам танкисты стали показывать в поселок Лукашевку, почти полностью разрушенный немцами, где в длинном кирпичном сарае, уцелевшем каким-то чудом, уже крутили кино. Сперва повадился туда Вахромеев. Он стал вдруг каждый вечер тщательно бриться, а потом и пришивать свежие воротнички из ослепительно чистого, неизвестно откуда взявшегося у него куска новой простыни. Все это Дедюхину не очень нравилось, и он едко спросил однажды, покашливая:

— Гм... Это ты, Вахромеев, где воротнички-то берешь?

— Натокáлся, товарищ лейтенант, на одну благотельницу. Может, и ты... пойдете. Кусок простыни еще найдется.

— Разговорчики! — повысил голос Дедюхин. — Гляди у меня, не окажись в нужный момент на месте!

Однажды Вахромеев уговорил «сбежать на пару часов в Лукашевку» и Семена, таинственно намекая на что-то. Семен до этого раза два бывал в Лукашевке по службе, идти ему с Вахромеевым не хотелось, но разбирало любопытство, тянуло глянуть на его таинственную благотельницу. Это оказалась особа далеко не молодых лет, рыхлая, со скрипучим голосом, но одетая чисто и аккуратно. Она жила, как и многие, в наспех сколоченном дощатом сарае. На железной койке, недавно покрашенной суриком, лежала пышная постель. Приходу Вахромеева и Семена она обрадовалась, тотчас юркнула куда-то, появилась с костлявой девицей, которая вошла в сарай, прислонилась неловко, боком, к

щелястой стенке и побагровела, будто от натуги.

— Это Зойка, мы вместе тут работали до войны в столовке. Официантки мы... Сейчас столовая наша отстраивается, мы покуда на стройке. Знакомьтесь, что ли. Зойка у нас стыдливая. А меня зовут Капитолина.

Семен буркнул свое имя, пожал жесткую ладонь Зойки, жалея, что пришел сюда с Вахромеевым.

— У меня, Вахромейчик, кое-что есть! — воскликнула Капитолина, тряхнула кудряшками, полезла за кровать и вытащила водочную бутылку, заткнутую деревяшкой. — Вот!

Бутылка была неполной, водки в ней было чуть побольше половины. Капитолина все это разлила на четыре части в граненые стаканы, Семен давно не видел домашней посуды, и при виде обыкновенных стаканов у него в груди что-то пролилось теплое, будто он водку эту уже выпил. А «вахромейкина благотельница», как он с неприязнью назвал про себя Капитолину, глянула на Зойку, все такую же сморщенную и багровую, отлила из своего и ее стаканов в какую-то чашку.

— Это Ольке, — сказала она, извинительно глядя на Вахромеева. — Ну, мальчики, выпьем, потом потанцуем. У меня, Семен, патефон есть, вон он, и две пластинки. Пьотом в кино пойдём.

— Кому, кому это? — кивнул Семен на чашку, куда Капитолина отлила водки.

— Ольке, говорю, связной нашей. Ну, Вахромейчик, сладенький мой...

— Какой связной? Погодите, — попросил Семен.

Вахромеев хитро подмигнул, выплеснул в широкий рот водку, взял с полки патефон. И, накручивая пружину, сказал:

— А той самой, с которой ты в траншее любезничал. Она в ихнем партизанском отряде разведчицей и связной была...

— Вы... партизанили?! — повернулся Семен почему-то к Зойке, еще более от этого смутившейся.

— Ну да, — сказала она, опуская глаза. — Вон с Капитолиной вместе...

— Господи, ну что это вы, будто младенцы какие! — закричала Капитолина, раскрасневшаяся от глотка водки. — Ты, Зойка, немцев как траву косила из автомата, а тут...

— А тут что-то мне страшно, — тихо и беспомощно сказала Зойка.

— А ну-ка, живо плясать!

Зойка несмело взглянула на Семена. Заигранная пластинка хрипела. Семен, тоже волнуясь теперь, шагнул к девушке, положил руку ей на спину и тотчас почувствовал, как она вздрогнула.

Танцуя, он видел красную, заветренную щеку Зойки, чувствовал, как эта щека и открытая

упрямая шея пышут жаром. Краем глаза, стыдясь, Семен наблюдал за Капитолиной: плотно прижавшись к Вахромееву, она водила его вокруг стола, на котором стояла пустая бутылка, четыре граненых стакана и чашка.

— А вы ее пожалейте, ладно, — услышал вдруг Семен.

— Кого?

— А Ольку. Она хорошая, и ей ничего не надо... Она сейчас придет, мы ей сказали.

Семен невольно остановился. Он заметил, что Капитолина, все прижимаясь к Вахромееву, повернула к ним с Зойкой голову, и в ту же секунду Зойка требовательно сжала ему плечо, и он, подчиняясь, стал танцевать дальше.

— Ольга все спрашивала об вас у Вахромеева, — зашептала ему в ухо Зойка. — А он нам рассказал, что она об вас спрашивала. Ну вот, мы с Капитолиной и попросили Вахромеева, чтоб он привел вас... Это ничего, да?

— Да что же... — проговорил Семен. — Только ведь что же я могу ей... У меня жена и дочь.

— Ой, ну до чего же бывают непонятливые болваны! — прошипела она ему в ухо, и Семен остановился. — Ну что вы столбом встали? Танцуйте.

Вот тебе и Зойка! Теперь он верил, что эта девица могла резать немцев из автомата, как траву косой.

Он теперь все время ждал, когда она придет, эта Ольга с неживыми, потухшими глазами, как-то отрешенно и холодно размышлял — о чем же это он с ней будет говорить? И вообще, как это так — пожалейте? Как он должен пожалеть ее? Что это они придумали? Уйти, что ли, отсюда?

Но Семен понимал, что уходить ему нельзя, и в то же время отведенная ему кем-то роль жалельщика оскорбляла его, он раздражался, и Зойка, эта смущающаяся девица, вроде бы чувствовала, угадывала его состояние, время от времени предостерегающе сдавливала его плечо сильными пальцами.

Олька появилась неожиданно, Семен увидел ее, когда она уже стояла спиной к запертой за собой дощатой двери, обеими руками держась за железную скобку. Голова и лицо ее были так же глухо повязаны платком, но теперь белым, с синими цветочками по краям. Она стояла, сильно выгнувшись, готовая в любую секунду ринуться вон. Простое ситцевое платьишко туго облегалo ее фигурку, выделяя крутые плечи и сильные груди.

— Ольга, Олечка! — вскрикнула Капитолина, бросаясь к девушке, обняла ее за плечи, прижалась к ее закрытой платком щеке губами. — А у нас гости. Вот, знакомься, это Семен, товарищ боевой моего Вахромейчика.

— Здравствуй, — кивнул Семен, не переставая танцевать.

— Добрый вечер, — промолвила Ольга. — Да мы знакомы.

— О-о! — громко удивилась Капитолина. — Когда же вы успели?

— А там, на траншеях...

— Ну и распрекрасно, коли так... Ты выпьешь, Олечка? Вон, мы тебе глоточек оставили. И корка хлеба есть зажевать.

— А что ж, и выпью.

Она подошла к столу, глотнула из чашки, даже не поморщившись, будто воду. Семен с Зойкой все топтались у противоположного края стола. Вахромеев, стоя у спинки кровати, чиркал зажигалкой, Капитолина держалась обеими руками за его локоть и что-то говорила. Пластинка, прохрипев, перестала играть, Семен и Зойка остановились. В сарайчике возникла какая-то неловкость, Капитолина бросилась было к патефону, но, покрутив ручку, выдернула ее, захлопнула крышку и решительно объявила:

— Вот что, хватит, идемте в кино. По воздуху пройдемся...

Вечер был душный и тихий, высоко в небе густо стояли звезды, извечная молчаливая тоска лилась сверху. Семен, шагая рядом с притихшей Ольгой (Капитолина, Зойка и Вахромеев, похохатывая, ушли вперед), вдруг остро ощутил эту тоску. Под этими звездами, думал он, лежит сожженный поселок Лунашевка, и много-много таких Лукашевок, лежит развороченная и обугленная земля, которой не дали по весне расцвести и не дадут осенью принять в себя семена. Потому и мерцает так печально над ней молчаливое звездное небо, вобравшее нынче в себя дымы неисчислимых пожарниц, тяжкие стоны изувеченной земли...

Олька неожиданно и молча свернула в сторону, туда, где среди пепелищ торчала, белея во мраке, печная труба. Вокруг уцелевшей печки были уложены пять или шесть венцов нового сруба. Неподалеку, на другом конце улицы, стояло одинокое дерево.

— Вот, дед мой строится, — сказала девушка, став спиной к невысокой стене. — Никого у меня нет, один дедушка остался. Печка вот не разрушенная совсем, дедушка обрадовался. Кирпича-то, говорит, негде взять на печку, а нам и не надо... Покуда вон в палатке живем.

Девушка кивнула куда-то, но Семен никакой палатки не увидел поблизости.

Потом он долго глядел на белеющую во мраке печь, вспомнил вдруг свой дом в Шантаре, такую же печку и подумал, что ведь печки — неперенные участники жизни людской, вместе с людьми они делят человеческие радости и невзгоды, и судьбы у печек, как у людей, бывают разные, у каждой своя. И вот эта, уцелевшая при пожаре, но пока мертвая, давно остывшая, возродится к жизни, задымит, когда дом будет отстроен, возвещая, что жизнь

неистребима и неостановима, какие бы несчастья и трагедии на нее не обрушивались. И вот эта Олька залечит скоро все свои раны, хотя волосы на месте белых проплешин вряд ли отрастут, да и рубец на щеке, видимо, останется. Но дурак будет тот парень или мужик, который из-за этих проплешин и обезображенной щеки отвернется от нее. Может так случиться, и Олька это знает, чувствует и страшится. Но все равно, размышлял Семен, рано или поздно найдется человек, он возьмет ее в жены, поразившись той цене, которую она заплатила, чтобы сохранить чистоту своего тела и своей души. И тогда она, благодарная, отдаст тому человеку всю себя без остатка, она родит ему сыновей ли, дочерей, то есть исполнит то, что ей предназначено жизнью...

Так он думал, не зная и не предполагая всю глубину ее трагедии.

— А эти... Капитолина с Зойкой, в самом деле партизанили? — спросил он, поворачиваясь к ней.

— Не веришь? — Олька усмехнулась невесело. Но Семен обрадовался, что она хоть так усмехнулась. — Они с Капитолиной поездов пять с немцами, с разными ихними машинами под откос пустили. Не считая всякого другого. Зойка — та особенно отчаянная...

Она помолчала.

— Как же это такое с тобой, Оль? — проговорил он тихо.

Олька поняла, о чем он спрашивает, встрепенулась вся, вытянула замотанную платком голову, часто задышала.

— Жалеешь меня?

— Да нет... — сказал машинально Семен.

— Ишь ты, гусь! — еще больше задыхаясь, прохрипела Олька. — Не жалко, значит? Ну да... что я тебе? Пришел — увидел, ушел — забыл...

— Что ты к словам-то придираешься? — рассердился и Семен. — По-человечески надо все... И говорить, и понимать.

— По-человечески! А вот ты... поймешь разве?

— Так ты Расскажи...

Неожиданно Олька всхлинула, уткнулась ему в грудь. Он почувствовал ее горячий лоб, растерялся, подрагивающими руками погладил по девичьим плечам, ощутив до пронзительности их беспомощность и доверчивость.

— Ну что ты, Олька? Не надо...

— Не надо... Конечно не надо, — повторила Олька тихо и покорно оторвалась от него. — Они добрые, Зойка с Капитолиной. Это они попросили, наверно, Вахромеева позвать тебя. А мне зачем?

— Да я же и не знал, что... что тут живешь ты.

— Вот и не ходи больше. А Вахромеев пусть ходит. После войны они договорились с

Капитолиной пожениться. Капитолина влюбилась без памяти. Сколько было в отряде партизанских мужиков — она хоть бы тебе что, а тут в два или три вечера влюбилась. Вот как бывает непонятно. «Хочу, — говорит, — чтоб к концу войны от тебя ребенок уже родился. Ты вой, а я твоего сына хочу в это время в себе носить». Ты это ее желание понимаешь?

— Не знаю, — сказал Семен, чувствуя, что Олька говорит о чем-то большом и важном, совсем не по-девчоночьи, по-взрослому.

— А я понимаю. Капитолина — добрая. И Вахромеев тоже. Это хорошо, что они встретились друг для друга.

— Конечно... Ты знаешь, Оль, — сказал вдруг Семен, улыбнувшись, и тронул ее за плечо. — Ты тоже добрая, и тоже встретишь такого же парня, который тебя полюбит, как Вахромеев...

Олька поежилась, отодвинулась от его руки, замолчала. Семен, чувствуя какую-то свою вину перед ней, тоже ничего не говорил. Они стояли и молчали, а над ними печально горели звезды.

— Ладно, я тебе расскажу, почему я... как все произошло это, — тихо проговорила, почти прошептала Олька, потуже завязывая платок. — Я тоже хотела вместе с Зойкой и Капитолиной в партизанский отряд. Но меня попросили остаться тут... Лукашевка же станция, хоть небольшая, а через нее поезда идут и идут. Я должна была следить, куда они идут, сколько составов и с чем они. Кого-то надо было оставить, вот меня и оставили. И я следила, раз в неделю ко мне из отряда приходили, я им все передавала. А когда не приходили — значит нельзя было, тогда я в условленном месте знаки оставляла...

— Какие знаки?

— Ну, всякие... Если клала три камешка один за другим, значит три состава с разной техникой на Курск прошли. Ежели укладывала их кучей — значит на Льгов. Каждый камешек значение имел. Плоский — танки, круглый — пехота... Целая азбука была у нас составлена. Но лучше, когда приходили. На словах-то все можно подробнее... И что на станции делается, что в селе.

Теперь она стояла, опустив голову. Будто забыла, что ей дальше говорить, и теперь мучительно вспоминала. Но вдруг опять еле слышно всхлинула и заскулила тихонько, как щенок.

— А у меня красивые волосы были, я немец боялась, — неожиданно сухим голосом произнесла девушка, смахнула пальцами слезы с ресниц. — Потому что однажды три немца остановили среди поселка. Патрули. Платок сорвали с меня, волосы упали на плечи, они начали их... лазают в них холодными пальцами, бормочут по-своему... Один даже понюхал их.

Потом спрашивает по-русски: «Где твой дом? Пошли!» Что ж мне делать? Повела, иду, а сама думаю — на улице, среди бела дня, не посмеют со мной ничего... А коли там, дома... Ну, там видно будет, у меня в сенях граната припрятана, может, сумею схватить... Они привели меня, мать побледнела. Один немец, который волосы нюхал, говорит: «Ого, матка тоже не старая... Не пускай свою дочь на улицу, а то солдаты увидят...» И заготовали все, ушли, громыхая сапогами. Мать говорит: «Слышишь, надо скрываться, чуёт мое сердце...» Ты, говорю ей, иди, а я не могу, ты же понимаешь... А волосы я обрежу. А мать свое: «Олюшка! Я глаза ихние видела, надо уходить от греха!» Да ты подумай, говорю, как я объясню своим, из-за чего уйти из деревни хочу, чего испугалась... «А так и объясни. Да я сама вот объясню, нечего девку тут держать, давай укажи мне, как партизанов твоих найти, где они? Сама я твое дело лучше делать буду...»

Над разрушенным поселком по-прежнему стояло полнейшее безмолвие, не лаяли собаки, их просто не было, немцы, объявившись тут в конце октября 1941 года, перестреляли их за неделю. Где-то, наверное, возле кирпичного сарая, служившего клубом, вспыхивал временами девичий смех и тут же гас, как слабый огонек.

Олька вернула Семена к действительности своим уставшим, измученным голосом:

— Отец мой погиб на финской, с мамой мы, с дедушкой да бабушкой жили недалеко за Орлом, в деревушке Шестоково. А перед самой войной сюда переехали. Матери было сорок семь лет, но ее годы ей никто не давал, она была и в самом деле, как девчонка, красивая, легкая. Немец тот правильно и сказал, что мама не старая... Ну, волосы я под корень обрехала и в самом деле стала думать, как же мне быть теперь, может, и вправду пусть мать объяснит все в отряде, мне самой этого не сделать, да и стыдно, а я тоже могу составы подрывать, как Зойка с Капитолиной... Жду я человека из отряда, а его все нет и нет. Это было осенью сорок второго, партизан в болота тогда оттеснили... И вечером... дождь шел, холодный, осенний... Загалдели, затопали в сенях, слышим, мать опять побледнела и только сказала: «Вот оно... я говорила!..»

Голос у Ольки совсем обессилел, прервался, она часто и тяжело задыхалась, опять заплакала и потянула ладони к глазам.

— Нет, я не могу! Я самое страшное видела! Они маму... на моих глазах...

— И не надо, хватит, — сказал Семен поспешно, чувствуя, как копится у него под черепом какой-то горячий взрыв.

— Что хватит? Что хватит? — голос девушки вдруг зазвенел от ненависти. — Тебе... и слушать не вмоготу, а мне... Нет уж, послушай ты! Чтоб знал, против кого воюешь!

— Да я знаю... Оля! — он дотронулся до ее плеча.

— Не знаешь! Это я знаю! Разве это люди?

Прокричав это, она затихла, лишь подрагивало ее плечо. Потом она повела глаза им, требуя убрать руку, долго молчала, разглядывая что-то в темноте перед собой, кажется, белеющую посредине сруба печь, ладонью поглаживала бревно будущей стены дома.

— Их было четверо, немцев, — прежним уставшим голосом продолжала она. — Те трое и еще один какой-то... Они пришли пьяные, завалили стол фляжками, банками, объявили, что в гости пришли, керосину в канистре принесли. Предусмотрительные. Керосину в деревне ни у кого не было, как подступает ночь — пораньше укладываются все, чтоб засветло... Сами заправили лампу, зажгли. Потом тот, который нюхал мои волосы, подошел, смеясь, ко мне, сорвал платок, и смех его застыл на крысиной морде. Лицо у него было острое, как у крысы... И глаза выпучились, чуть не полопались... Волос у меня не было, а вся голова в сгруппьях... Это бабка моя: «Что, — говорит, — делать-то, внученька, сернистой кислоты у меня где-то маленько есть в пузырьке, давай сожжем маленько кожу, тогда, может, побрезгуют, не опоганишься об них, у бабы должны быть и душа и тело чистыми, а болячки заживут. Ну, я и... Только я не знала, что это так больно... Ну, да это — ладно... В общем, заревел немец коровой, кинулся почему-то к бабке, будто знал, что она меня научила, затряс ее. Она ему стала объяснять, тыкая в меня пальцем, что, мол, неизвестная болезнь девчонку начала есть, может, и заразная. «Ладно! — сказал немец по-русски. Долго они тут хозяйничали, сволочи, по-русски многие научились говорить. — Ты, старуха, ступай на улицу, не мешай нам...» И вытолкнул бабушку в сени, захлопнул двери. А деда не было дома, он в лес за хворостом пошел с обеда и еще не вернулся. Потом немец подошел к столу, начал пить прямо из фляжки. И вдруг крикнул что-то по-своему тем, троим. Они набросились на мать, повалили ее прямо на пол, оборвали на ней худенькое платье... Один немец схватил ручищей за ворот и рванул... Как она, мама, кричала и билась, они втроем ничего с ней сделать не могли... Потом один схватил банку с консервами и ударил ее по голове...

Олька говорила теперь все это голосом глуховатым, бесцветным, и Семену казалось, что теперь он слышит не настоящий живой голос, что к нему доносится откуда-то его эхо, то затихая, то усиливаясь. В груди его саднило, там растекалось что-то горячее, хотелось глотнуть хоть немного свежего и холодного воздуха, но воздуха вокруг не было, была черная удушливая пустота.

— Я не знаю... я не видела, что было дальше, — пробивался откуда-то к Семену голос

Ольки. — Я только слышала, как мама просто-напоследним стоном: «Доченька... не гляди, зажмурься...» Я не могла глядеть и без того... потому что немец... который из фляжки пил... царпал пальцами мои груди и живот... Он замотал мне чем-то голову... Он пытался справиться со мной на кровати... Я не знаю, как мне удалось его отбросить, он был сильный... Но он почему-то слетел с кровати, ударился вон об ту печку. Наверно, я как-то изогнулась и отшвырнула его ногами. Пока он вставал с пола, я сбросила с головы тряпку, метнулась мимо него в сени, там сунула в кошачий лаз руку и схватила гранату. Все произошло в какую-то секунду. Когда я с гранатой в руке метнулась к двери в комнату, немец только еще вставал с пола. А тот, который мать... насильовал, повернул ко мне голову... Это я заметила. Повернул — и моргает, моргает испуганно. И еще — окровавленную голову матери увидела, почерневшие ее губы. «Доченька, бросай... бросай...» — прохрипела мама этими губами. Я выдернула чеку... Немец, который вставал с пола, шархнул назад, к тем троиам, которые возле мамы. «Кидай же!» — это опять мама. Я кинула туда гранату. Какая-то сила шатнула меня в бок от дверного проема. Помню, будто молотом кто в лицо ударил. Это осколок меня сюда... — Она дотронулась пальцами до правой щеки.

Боли в груди Семен теперь не чувствовал, там все будто омертвело, опустело, зато в голове начался тяжкий и больной гуд, как от грохота ударившего в танковую броню снаряда. Он поднял голову и взглянул на небо, рассчитывая почему-то и там увидеть одну черноту, но нет, звезды не погасли, они по-прежнему сияли в небообразимой высоте, бесшумно и равнодушно.

— Дом от того взрыва загорелся и сгорел, — продолжала меж тем Олька очень тихим голосом. — Когда он загорелся, в сени заползла с улицы баба, застонала: «Господи, ты в крови вся! Спрятайся, убегай, коли можешь, немцы на пожар бегут...» Не помню, как выползла я из сеней на крыльцо, побежала в темень, через огороды. На краю деревни дедушку встретила с хворостом, он только охнул, бросил хворост... Потом побежал куда-то. Я, помню, долго сидела под дождем в каких-то кустах, все ждала его, оторвала от кофточки кусок, прижимала разорванную щеку тряпкой этой... Дед приплелся не скоро, плюхнулся мешком и еще долго лежал недвижимо. Потом сказал, что нету больше у меня и бабки, немцы забрали и не выпускают ее. И точно, ее повесили через два дня. Она сказала им, что это она кинула гранату в немцев, которые дочку ее опоганили... мою маму. Они, наверно, не поверили ей. Бабке разве кинуть гранату, она разве знает, как с ней обращаться? А я этому еще в школе обуча-

лась. Но все равно бабушку повесили, а нас с дедом искали... Да мы в лесу таились, а после в отряд кой-как пробрались...

Олька замолкла, и Семен молчал, не в состоянии произнести что-то и понимая, что любые его слова будут сейчас жалкими и беспомощными. Долго они стояли так в безмолвии...

Наконец Олька вздохнула глубоко и сильно. Семен почувствовал вдруг, каким-то чутьем понял, что ей легче от того, что она рассказала обо всем этом, что ей надо было об этом рассказать кому-то постороннему. Он пошевелился, и она, стоявшая к нему боком, неожиданно вскинула туго обвязанную платком голову, повернулась и, глядя прямо в лицо, проговорила отчетливо:

— Ты сказал, найдется для меня парень... А вот ты... можешь меня, такую... поцеловать?

Он потерянно молчал, удивляясь ее вопросу. Но это даже был не вопрос, а просьба, он это чувствовал по ее голосу.

— Ну, что же ты?! — воскликнула она насмешливо. — Немец тот, может, и заразный был... Так ведь он только ногтями по телу поскреб. А больше ко мне ни один мужик не притрагивался... Ну, сейчас темно, болячек моих не видно. Ну?!

Девушку била истерика. Глаза ее сверкали, вся она дрожала, и это странным образом действовало на Семена.

— Ну что ты... что ты, — произнес он, шагнул к ней, взял ее за плечи и, чуть склонившись, хотел отыскать ее губы. Но она, тяжело дыша, повела головой в сторону, вывернулась из его рук, отбежала прочь. Возле одиноко торчащего на другой стороне улицы дерева оставилась, обернулась.

— Жалельщик какой нашелся! — крикнула она с яростью. — Это все они — Капитолина с Зойкой... А мне не нужно! Ничего не надо, поня-атно!

«...атно-о!» — эхом взлетел в молчаливое звездное небо ее крик.

Когда эхо умолкло, девушки возле дерева уже не было.

Под вечер 4 июля Дедюхин был вызван к командиру роты; он вернулся оттуда красный, взъерошенный.

— Построиться! — прошипел он, как гусак, своему экипажу, и, когда подчиненные встали у машины, командир танка, пройдясь взад-вперед вдоль малочисленного строя, остановился напротив Вахромеева.

— Воротничок чистый уже пришел? Так! — угрожающе протянул он.

— Товарищ старший лейтенант, я...

— Молчать! — взвизгнул Дедюхин, багровея от натуги. — А под трибунал не хочешь? А? — И повернулся к Ивану Савельеву. —

А ты куда смотришь? Куда, я спрашиваю? Ежели и племянничка твоего... — Дедюхин ткнул пальцем в Семена, — ...под трибунал? Вот если бы сегодня к бабам своим умотали в Лукашевку? Ишь, воротнички чистые пришли...

Дедюхин бушевал бы, может, еще долго, но заурчал приближающийся грузовик, и командир танка проговорил устало:

— Ладно, я вас еще мордой об землю пошоркаю. Взять на борт два боекомплекта!

Больше Дедюхин ничего не стал объяснять, но все и без того понимали, что вольное житье, к которому уже как-то привыкли, кажется, кончается.

Приняв боеприпасы, начали протирать снаряды, потом все, кроме Дедюхина, снова вызванного к ротному, пошли к берегу речки вымыть заляпаные снарядной смазкой руки. Весь день пекло, зной не спадал и к вечеру, хотя солнце уже было в нескольких метрах от горизонта...

В ожидании дальнейших событий все толпились вокруг танка, Вахромеев, встревоженный, непрерывно спрашивал:

— Интересно, успеем ли поужинать? Вот в чем вопрос. — И сам же себе отвечал: — Ох, чую — не успеем. Открывайте, братцы, святцы...

— Что ты ноешь-то? — рассердился Иван. — Прямо жилы из всех тянешь и тянешь.

Вахромеев обиженно хмыкнул и скрылся. Иван подошел к Семену, сидящему под березкой с разлохмаченной корой, опустился рядом, вынул полученное вчера из дома письмо, стал перечитывать.

— Чего пишут-то? — спросил Семен.

— Да что? Тоже хлещутся там... Панкрат Назаров все кашляет. Шестьсот центнеров хлеба, пишет Агата, колхозу прибавили сдать сверх плана, а жара посевы выжигает.

— Мать как там?

— Про мать ничего в этом письме не прописано... Школьников из Шантары, пишет, на лето по колхозам разослали, детям тоже достается.

Дядька Иван с самого отъезда на фронт был малоразговорчив, в Челябинске, где их распределили по разным частям, он только сказал Семену:

— Прощай, выходит. Хорошо бы нам с тобой, Семка, вместе повоевать, да у войны свои законы. Может быть, и не увидимся больше... оно ведь как судьба выйдет.

Благодаря объявившемуся в Челябинске Дедюхину они не только увиделись, но вот уже почти год воюют вместе. Дядька Иван будто носил постоянно в себе что-то невысказанное и больное. Когда удавалось, Семен оказывал ему всякие пустяковые услуги, следил, чтобы поудобнее место для ночлега было, чтобы суп в его котелке оказался погуще... Иван все за-

мечал, глаза его теплели, но вслух никаких благодарственных слов не высказывал.

В который раз перечитав истершееся уже письмо, Иван оглядел листок со всех сторон, будто отыскивал, не осталось ли где незамеченное им слово, аккуратно сложил, спрятал в карман. Минуты две-три смотрел куда-то перед собой, на измятую солдатскими сапогами, втопанную в землю траву и только потом сказал:

— Сколько все ж таки сил человеческих у баб? А мы их, случается, не шибко-то и жалеем...

Семен опустил голову, думая, что Иван имеет в виду его хождения к Ольке в Лукашевку, но дядька говорил пока о другом:

— Чего Агатка моя в жизни видела? Слезы да горе. Холод да голод. А вот в каждом письме меня еще обогреть пытается...

И лишь помолчав, задал вопрос, которого Семен боялся:

— Чего там у тебя с Олькой этой?

Семен ответил не сразу.

— Ничего, — проговорил он и поднялся.

— Так ли?

Иван спросил это, глядя снизу вверх. Семен стоял, чуть отвернувшись, но ощущал на себе его взгляд. Он чувствовал под подошвой сапога какой-то острый предмет — не то камень, не то сучок, это его раздражало, он двинул ногой, чтоб отбросить тот предмет, но, когда поставил ногу на место, под подошвой было то же самое. Наверно, это просто торчал из земли корень.

— Ты что же... жил с ней?

— Ну было, было! — вскрикнул Семен, поворачиваясь к Ивану.

— Та-ак. С-сопляк. А жена, Наташка? Ну, чего в рот воды набрал? Отвечай!

Ответить Семен ничего не успел, издали послышался шум заводимых танковых моторов, стал приближаться. Иван вскочил с земли. Появился из-за кучки деревьев Дедюхин, издали махая рукой. Этот знак все поняли, выстроились возле машины.

Мимо по размоленной гусеницами просеке, заполняя ее синими клубами сгоревшей солярки, уже с ревом неслись танки, и Дедюхин только крикнул:

— В машину! На дорогу Фатеж — Подольня. Там я скоманую...

Через несколько минут тяжелый танк, подминая молодые деревца, выскочил на дорогу. С час или полтора он шел в колонне других машин. В смотровую щель Семен ничего не видел, кроме подпрыгивающего на рытвинах впереди идущего танка да мелькавших по сторонам деревьев.

Потом Дедюхин скомановал взять влево, шли каким-то лугом, уже в одиночестве, продрались сквозь негустой лесок, взлетели на лысый холм. Семен увидел впереди участок доро-

ги, огибающей небольшое заболоченное озеро. Дорога выворачивала из того самого леска, который они миновали, и пропадала за камышами.

Когда танк спустился с холма, Дедюхин приказал остановиться. Он выскочил из машины, пробежал вдоль отлогого холма, поросшего на склоне всяким мелким кустарником.

— Ну, мужички-сибирячки! Тут наша песня, может, последняя будет.

У Семена прошел меж лопаток холодок. Дедюхина он видел всяким, но таким еще никогда: щеки серые, зубы плотно сжаты, он говорил, кажется, не разжимая их, и непонятно было, как же он выталкивает слова. Глаза блестя остро, пронзительно, во всем его облике было что-то сокрушающе неустойчивое.

— Предполагается, что утром немцы двинутся. Передохнули, сволочи... Наша задача до удивления простая — по этой дороге, — Дедюхин махнул в сторону озера, — не пропустить ни одного танка. Сколько бы их ни было...

— На этой дороге их целый полк уместится. Что мы одной машиной? — проговорил Вахромеев.

— Сколько бы их ни было! — повторил Дедюхин, продавливая слова сквозь губы. — Я сам... сам этот участок дороги выбрал... Мы их тут намолотим. А, Егор Кузьмич?

Алифанов глянул зачем-то на опускающееся за горизонт солнце, будто хотел попрощаться с ним. Все невольно поглядели туда же. Потом подправил согнутым пальцем один ус, другой. И сказал:

— Как выйдет, конечно... Постараемся.

Иван стоял прямо, скользил взглядом по дороге.

— Взять лопаты. Танк закопать, — распорядился Дедюхин.

Капонир в склоне холма рыли дотемна, сбросив гимнастерки.

Уже в темноте Семен задним ходом задвинул танк в земляную щель, сверху его закидали нарубленными ветками. Дедюхин приказал срубить еще несколько деревьев, вкопать их перед танком так, чтобы они, не мешая обзору и обстрелу дороги, надежно маскировали машину. Когда это было исполнено, он ушел на дорогу, по-хозяйски осмотрел ее, будто ему предстояло завтра с утра приняться за ее ремонт, а не корезить снарядами. Вернулся и разрешил достать на ужин НЗ.

— Обмыть бы рыло... — пробурчал Вахромеев.

— Ничего... Не на свиданье собрался к этой своей... — буркнул Дедюхин. И неожиданно для всех улыбнулся. — Сладкая баба у тебя. Видел как-то. А его вот, Савельева, занюбу не знаю. Ишь вы, какие жеребцы. Поди всю землю вокруг них копытами изрыли?

Дедюхин говорил теперь добродушно, Семен глянул на ковырявшгося в консервной банке Ивана, но тот, хмурый, промолчал.

Ели все вяло, усталость размывала кости.

— Ну что ж, давай, дядя Ганс, — произнес Дедюхин неожиданно. И не совсем понятно добавил: — А настелить гать — не в дуду сыграть. Мы те сами заиграем, а ты попляшешь. А теперь всем спать. Савельев Иван — глядеть за дорогой. В три часа меня разбудишь, если все будет тихо.

Он первый улегся на теплую рыхлую землю и мгновенно захрапел.

Семен, облюбовав себе место для сна, наломал веток, застелил землю. Снял сапоги, положил их под голову, засунув в голенище для мягкости портянки, воняющие потом. Укладываясь, он боялся, что дядя Иван захочет продолжить разговор об Ольке, но тот молчал, только все скреб ложкой в консервной банке.

Стояла удивительная тишина, как уже много недель подряд. Немецкий передний край отсюда был километрах в трех-четыре, но этого не чувствовалось. Где-то далеко, то в одном месте, то в другом, небо слабенько озарялось колеблющимся светом и гасло — это время от времени взлетали над линией фронта осветительные ракеты.

Пока рыли капонир, стояла плотная духота, а сейчас тянул со стороны озера ветерок и, кажется, начали набегать тучки, в звездном небе, как в порванном решете, зияли черные дырки. Семен глядел на эти темные пятна, думал о Наташе, а перед глазами стояла Ольга — маленькая и беспомощная, с оголенными грудями, торчащими в разные стороны, просящая у него не любви, а просто ласки, как умирающий от жажды просит, наверное, глоток воды. «А може, я буду тем и счастливая, Семка!» — стонала она, глядя на него умоляюще и униженно, в глазах ее не было мертвенной пустоты, они горели сухо, пронзительно, немного болезненно, но по-человечески. «Как ты не поймешь? Мне от тебя ничего не надо, только эту минуту...»

Она просила откровенно, униженно, оскорбляя себя и его, и у него мелькнуло тогда, что в ней проснулось что-то животное. Но, мелькнув, эта мысль пропала, или он ее просто отгнал, потому что она по отношению к Ольке была все-таки несправедлива, чем-то марала ее. Еще он подумал, что оскорбит эту девочку, если отвернется... Он шагнул к ней, одной рукой обнял за плечи, другой скользнул по ее груди. Она запрокинула плотно повязанную платком голову и жадно нашла сама сухими губами его губы. Ноги ее подогнулись, она своей тяжестью потянула его вниз, на землю, а потом от женского чувства впервые испытанной любви застонала мучительно и радостно.

Мозг ему больно прорезало, что когда-то так же вот застонала и Наташа, и он только тут с ужасом очнулся, в голове было пусто и гулко...

...Так оно вот и случилось, думал сейчас Семен, слушая, как похрапывает Дедюхин. И винить в этом он не мог ни себя, ни Ольку, девочку все-таки непонятную ни в словах, ни в поступках. А может быть, и понятную, подумал вдруг Семен, но только изломанную войной, измученную всем тем, что ей пришлось пережить.

Семен припомнил все встречи после той, первой, когда она спросила, смог бы он ее поцеловать, и когда она вырвалась из его рук, закричав враждебно: «Жалельщик какой нашелся...» И она действительно была, кажется, оскорблена тем случаем, в сарайчик к Капитолине и Зойке приходила редко, а когда приходила, то на Семена не глядела, демонстративно отворачиваясь.

— Зачем ты, Оля, так со мной? — спросил однажды Семен. — Ведь я тебя никак обидеть не хотел.

— Я и не обиделась, — сухо ответила она. — А рубец на щеке стал вроде поменьше, а?

— Конечно, все заживет.

— И волосы, ты думаешь, отрастут? — спросила она, смягчаясь.

— Не знаю.

— Вот и доктор сомневается. Плешивая буду... всю жизнь. — И она всхлипнула.

— Оля, не надо.

— Отстань, ты! — вскрикнула она опять в гневе, встала и убежала.

Он перестал ходить с Вахромеевым в Лукашевку. Но где-то через неделю или полторы тот сказал:

— Капитолина опять... просит. Сходил бы к Ольке.

— Да я вам что, шут гороховый? Дурачок для... для...

— Ну, может, и дурачок, — сказал Вахромеев как-то странно, со вздохом.

В Лукашевку Семен все же пошел. Олька встретила его молчаливо и виновато, они говорили о том о сем, раза два он даже ее смех слышал — тихий, робкий. Рассмеется — и сама вроде удивится, она ли это хохотнула? Замолкнет, прислушиваясь к чему-то в себе. Потом она начала расспрашивать его о Сибири, о семье, о Наташе.

— Счастливая она, твоя Наташка, — вздохнула Олька однажды.

— Ей тоже... столько пришлось пережить.

— Значит, ты ее сильнее любить должен, — сказала она задумчиво.

Как-то Олька весь вечер была молчаливой, подавленной, ни в какой разговор с Семеном не вступала, и под конец разрыдалась.

— Ты что, Оля? Устала, иди отдыхай. Я тебя провожу.

— Нет, я боюсь спать. Как засну, мне мама снится. Ведь это я ее... Ну что ж, они, немцы надругались над ней. Но ведь жила бы!

— Что ж... конечно, — сказал Семен, чтобы что-то сказать. Но Олька полоснула его глазами:

— Нет, после такого... нельзя жить. Незачем, понятно?

Прощаясь, она спросила:

— Как ты думаешь, если б папа был жив... И он бы узнал об этом, что они с мамой... мог бы он ее еще любить?

— Ты, Оля, такие вопросы задаешь...

— Разве мама виновата? Или я... если бы сумел тот немец? Ну в чем я была бы виновата?

— Ты бы сама... не стала жить. Ты же только что сказала.

Она поглядела на него внимательно, не мигая, глазами холодными и суровыми. Олька была чуть ниже его ростом, она положила руки ему на плечи, привстала на носки, приблизила свое лицо вплотную к его лицу, выдохнула:

— Правильно... Это с нашей, с женской, стороны. А с вашей, мужской? Ну?

Он молчал, чувствуя, что никогда не будет в состоянии ответить на такой вопрос. Она поняла это, вздохнула, отпустила его, потихоньку пошла прочь, нагнув к земле голову...

...А в тот вечер, когда все произошло между ними, Олька была необычно оживлена, просто он никогда еще не видел ее такой, и много смеялась. Вдруг она спросила, когда последнее письмо пришло от Наташи. Семен сказал, что неделю назад.

— Дай мне его почитать, а? — попросила она. — Не вздумай мне врать, оно у тебя в кармане лежит, вот в этом.

— Откуда же ты знаешь? — изумился Семен.

— Я теперь все на свете знаю, — сказала она.

Было еще относительно светло, они стояли на окраине разрушенной Лукашевки, в крохотной березовой рощице, не тронутой ни снарядами, ни танковыми гусеницами. Олька любила это место, и они уже не раз тут бывали. В небе гас закат, пространство быстро наливалось темнотой. Олька выхватила из его рук сложенный вдвое треугольник, вслух начала читать, одновременно опускаясь под березку: «Родной мой и милый Семен! Моя единственная любовь...»

Голос ее заглох, она что-то тяжело проглотила и дальше стала читать молча. Семен стоял рядом и краснел, потому что знал, о чем читает Олька. Наташа писала, как и в каждом письме, о своей любви к нему, но в этом

еще и описывала свои ощущения, которые она испытывает, когда крохотная Леночка сосет грудь. «Я забываю от счастья обо всем на свете, я вспоминаю твои нежные руки и губы, Сема, я чувствую себя где-то не на земле...»

Прошло времени вдвое, а может быть, втрое больше, чем требовалось на чтение письма, а Оля все глядела и глядела в бумажный листок. Затем медленно подняла голову, снизу вверх взглянула на Семена глазами, полными слез, и начала медленно вставать. Губы ее тряслись и что-то шептали.

— Я хочу быть... хоть на минуту... на ее месте, — разобрал наконец Семен ее слова и невольно отступил.

А она, уронив письмо и все глядя на него, растегнула на кофточке одну пуговицу, дру- гую...

— Оля! — пробормотал Семен смущенно и глупо, пытаясь отвернуться от блеснувших бугорков ее грудей. — Ты же только что читала... про Наташку...

— Семсн, Семен! — прошептала она с мольбой. — Ты о чем говоришь-то... сейчас? Как тебе не стыдно?!

— Ты будешь жалеть...

— Я это сама хочу!

Усилим — не воли даже, а сознания — он еще сдерживал себя. А может быть, его смущало белеющее на темной траве письмо...

— Брезгуешь, да? — выкрикнула она хрипло.

— Ты будешь проклинать себя потом за эту минуту...

— А может, я буду тем и счастливая, Семка! Как ты не поймешь?! Мне от тебя ничего не надо, только эту минуту...

...Потом Оля плакала, положив обязанную платком голову ему на колени, а он тихонько гладил ее по голове.

— Пусть твоя Наташа на меня не обижается. От ее счастья не убудет, — проговорила она, пытаясь унять слезы. — Я бы на ее месте не обиделась...

Затем она подняла письмо с земли, свернула, положила ему в карман.

— Ты напиши ей хорошее-хорошее письмо. О том, как ты ее любишь и думаешь все время о ней...

Семен только усмехнулся.

— Я же изменил ей.

— Не-ет! — она вскочила, ее всю заколотило от гнева. — Не-ет! Ничего ты тогда не понимаешь! Это было один раз — единственный и последний.

И действительно, единственный и последний. Семен потом бывал еще в Лукашевке неоднократно, видел и Ольку. Она как-то изменилась, вся подобралась, стала еще более таинственной и непонятной. Она разговаривала с ним испринуженно, но мало, больше молчала,

думая о чем-то своем. Иногда, почувствовав его взгляд на себе, сразу умолкала, смущалась и старалась отвернуться. Наедине с ним она больше не оставалась.

— Оля поступила работать в госпиталь пока... — сказала как-то ему Капитолина. — Ну — пока не вылечит рубец на щеке. Ей обещали срезать его, операцию сделать. «Потом, — говорит, — пойду в краткосрочную школу разведчиков». Меня тоже Алейников приглашал в эту самую школу, да я... — Она опустила голову, пряча глаза. — Вахромейчик меня вроде зарядил, наконец-то.

— Кто-кто?! — спросил Семен удивленно.

— Вахромейчик, кто же еще, — обиженно сказала Капитолина.

— Я спрашиваю, кто Ольку... пригласил?

— Да майор Алейников, Яков Николаевич, начальник прифронтовой опергруппы НКВД. Мы же все — и я, и Зойка, и Оля, как говорится, в тесном контакте с ним работали. Хороший он дядька, добрый, только малоразговорчивый.

— У него шрам есть на левой щеке?

— Шрам? Вроде есть. Не такой, конечно, как у Ольки нашей, маленький такой, незаметный. А что?

...Засыпая, Семен уже думал не о Наташе и Ольке, а о Якове Алейникове, человеке, сыгравшем зловещую роль в судьбе дяди Ивана, сутулая спина которого вон маячит в темноте, в судьбе многих шантарцев... Тень Алейникова скользнула где-то и возле его жизненного пути. И кто знает, как сложились бы отношения Семена с Верой Инютиной, не вклинься тут Алейников. А теперь, оказывается, он где-то здесь, занимается какими-то делами. Вот война! Людская круговерть и месиво, а и тут старые знакомцы могут встретиться...

Проснулся Семен оттого, что качнулась под ним земля. Он вскочил, ничего в первые секунды не понимая, слыша только, как яростно колотится в груди сердце. Стоял невообразимый грохот и вой, на той стороне, где взлетали недавно осветительные ракеты, горело по всему горизонту зарево, в багрово-красном свете тяжело и лениво клубились черные облака, непрерывно ухали взрывы.

Смахнув рукавом слюну с уголка губ, Семен взбежал на вершину холма, где стояли Дедюхин и Алифанов. И едва взбежал — в левом краю горизонта высоко вспучились кроваво-черные пузыри, их разрезали желтые огненные полосы, а потом стало видно, как заплясало над землей пламя.

— В склад боеприпасов им врезали, — сказал Алифанов.

Дедюхин глянул на светящийся циферблат часов, произнес:

— Два двадцать три... — И повернулся к Семену, сообщил, будто тот не понимал, в чем

дело: — Наши лупят. Артподготовка. Значит — началось. По местам!

Все побежали к танку.

Откинувшись на сиденье, Семен задремал. Он понимал, что его дело теперь маленькое, завести танк придется не скоро, если придется вообще.

— Сержант, не дрыхнуть! — ударило по ушам. — Спишь ведь?

«Вот чертов Дедюхин, все чувствует, — подумал Семен, с трудом размыкая тяжелые веки. — А может, я храпел?»

— Никак нет. Не сплю, — ответил он.

— Ври у меня! Гляди, всякое может произойти.

— Понятно...

Над землей маячил рассвет, над озером, над камышами подымался белесый утренний парок. Все это Семен увидел в смотровую щель и даже расслышал, как ему показалось, утиный крик. Но тут же сообразил, что это именно показалось, никакие птички голоса с озера достигнуть танка, а тем более проникнуть внутрь его не могли.

Скоро туман над камышами стал гуще, все сильнее белел, а потом загодубел и неожиданно окрасился в нежно-розовый цвет. Он поднимался почему-то столбами, только эти столбы были живыми, они качались, и Семен понял, что это потянул над озером утренний ветерок.

Было уже совсем светло, где-то сбоку брызнуло вскользь по земле первое солнце, его лучи ослепительно засверкали на верхушках камышей, в листьях осинowych рошц, толпившихся по противоположному берегу озера. И было каким-то страшным и нелепым то обстоятельство, что опять тишина взорвалась, забухали пушки с той и с другой стороны, а потом стало слышно, как над головой угрожающе, яростно заревели самолеты. Семен не видел их, но понимал, что это были вражеские самолеты, он отличал их по глухому натужному реву. «Хорошо, что сверху замаскировались», — подумал он и лениво зевнул. Несмотря ни на что, спать все же хотелось, и веки сами собой закрылись.

Сколько Семен продремал на этот раз, он не понял, но, видимо, не очень долго, потому что верхушки камышей все так же сверкали от низкого солнца. Он очнулся от голоса дяди Ивана, доносившегося снаружи:

— За тем лесом движется столб пыли! Однако — на нашу дорогу.

— Понятно, — ответил Дедюхин.

Потом загремел верхний люк, и Семен понял, что дядя Иван был послан куда-то наблюдающим, а теперь вернулся, вместе с Дедюхиным они влезли в танк. Весь экипаж снова на местах, и сейчас начнется то, ради чего они тут оказались. «Тут наша песня, может, по-

следняя будет...» — вспомнил Семен вчерашние слова Дедюхина, вся дремота с него мгновенно скатилась, никакого страха, как вчера вечером, он не чувствовал, только ощутил, как горяч почему-то ладони. Он взялся за рычаги, хотелось, неудержимо хотелось нажать на кнопку стартера, бросить танк вперед, навстречу этому движущемуся столбу пыли. Что там, на дороге? Может, грузовики с фашистами? Или вражеские танки! Ну что же, все равно...

Думая так, Семен понимал, что это не все равно, одним танком против пяти — десяти не очень-то поспоришь... И кроме того, они должны пока стоять здесь, в отрытом ими капони-ре, замаскированные, невидимые до поры до времени для врага — таков замысел Дедюхина или еще кого-то, и он должен быть выполнен.

Семен убрал ладони с рычагов.

Вскоре он и сам увидел столб пыли, о котором говорил дядя Иван. И тут же на дорогу, выворачивающую из-за лесочка, выскочили немецкие мотоциклисты. Их было пять или шесть, они летели стремительно, поливая из пулеметов придорожные кусты.

— Командир! Товарищ старший лейтенант?! — вскричал Вахромеев.

— Я тебе дам... — И Дедюхин зло и густо выmaterился. — Поставить пулемет на предохранитель! И молчок у меня! Ты чего там, Алифанов?

— Ладно, — буркнул командир орудия, — все в порядке.

— Сейчас, Савельев Иван, будет тебе работа. Только поворачивайся! Взмокнешь, приготовил бы полотенце усы обтирать.

— Ничего, привычные, — ответил Иван.

Пока шел этот разговор, мотоциклисты пронеслись. Пыль, поднятая ими, медленно оседала. До конца рассеяться она не успела, как из-за леса на повороте дороги показался первый немецкий танк, следом за ним — второй, третий. Семен затаил дыхание.

— Ну, Алифанов, — прохрипел привычное Дедюхин. И добавил: — Егор Кузьмич, дорогой...

— Да знаем, что ты уговариваешь. Иван, ты мне чтоб сноровисто. Без суеты.

— Соображаем, — буркнул тот.

Фашистские танки ползли и ползли из-за поворота. Пять, восемь... четырнадцать... Семен считал их, а они все ползли, и казалось, не будет им конца. «Да чего же Алифанов-то? — тревожно мелькнуло у Семена. — Ведь пройдут... Шестнадцать, семнадцать...»

Семен слышал, как работает поворотный механизм башни, и понимал, что Алифанов держит на прицеле головной танк. «Не успеет... сейчас фашист скроется за рощей! Вон уже девятнадцатый ползет. Девятнадцатый!»

— По немецко-фашистскому врагу... — свистящим голосом произнес Дедюхин, тяжело дыша.

Слово «огонь» Семен почему-то не услышал. Ст выстрела его немножко качнуло на сиденье, и в то же мгновение он увидел, как из бока переднего вражеского танка вспучился комок огня и дыма, танк крутануло, он развернулся навстречу своим же машинам, закивал длинным пулечным стеолом, будто выбирая цель, но не выстрелил, замер... Следующий за ним танк начал, не сбавляя скорости, обходить гребитую машину, но Семена опять чуть качнуло, и под тем, вторым вражеским танком, вздыбилась земля, танк накренился, задрал ствол в небо и остановился. И второму танку, видимо, перебило гусеницу, он запылал, как и первый, жирным, густым дымом. Дорога была наглухо закупорена. «Ага! — злорадно подумал Семен. — Сейчас в хвост колонны...» И будто подчиняясь мыслям Семена, Дедюхин прокричал в шлемофоне:

— Хвостатый вон раком пятится! Уйдет, гад!

— Что ж, раком-то оно им так и определено природой, — спокойно пробасил в шлемофоне Алифанов. — Иван, чего копснисься?

Опять, в третий раз, ударила пушка. И задний немецкий танк перестал пятиться, будто раздумал, но развернул орудие в сторону холма и выстрелил. Снаряд ухнул где-то далеко справа.

— Не видит, а плюется, — взвизгнул Вахромеев.

— Хорошо, если не видит...

От четвертого снаряда вспыхнул четвертый фашистский танк, в один момент оделся пламенем, как стог пересохшего сена. «Вот паразит, до чего же знает свое дело!» — с невольным восхищением подумал Семен об Алифанове, молчаливом человеке, неповоротливом, как-то неловком, ходившем по земле обычно так, будто ему было тесно на ней...

...Солнце уже давно оторвалось от горизонта, полезло вверх, тяжело покачиваясь, как большой красный поплавок среди дымных волн, хлеставших по земле и по чебу. Немецкая пехота и танки, оправившись от удара нашей артиллерии, двинулись в наступление сразу по всему Центральному фронту, на многокилометровом пространстве развернулось ожесточенное сражение. Двух месяцев почти полного затишья как не бывало.

Все эти долгих два месяца обе стороны наращивали силы — немцы для решающего наступления, советские войска — для неприступной обороны, а потом для сокрушительного контрудара. Теперь эти силы были приведены в действие. С той и другой стороны беспрерыв-

но колотили пушки, из клубов дыма с ревом вырывались немецкие самолеты, засыпали бомбами наши окопы, утюжили их на бреющих полетах, поливая пулеметным огнем. По всем дорогам двигались колонны гитлеровских танков, разворачивались на открытых пространствах, шли, рыча, на наши позиции, стараясь прорваться в тыл. За танками двигались бронетранспортеры с пехотой. Эту стальную лавину, казалось, невозможно было остановить. Прорвавшись сквозь заградительный огонь тяжелой артиллерии, фашистские танки во многих местах подошли почти вплотную к нашим окопам, где по ним прямой наводкой били из противотанковых пушек и ружей. Многие вражеские машины загорались, остальные шли и шли упрямо вперед сквозь грохот, вой и дым. Кое-где немцы уже вклинились в расположение наших войск...

Всего этого в подробностях танковый экипаж старшего лейтенанта Дедюхина, конечно, не знал, хотя каждый понимал, что началось всеобщее остервенелое наступление немцев и что тут, под этим невысоким холмом, может, и будет, как сказал вчера Дедюхин, их последняя песня. Ни сам Дедюхин, ни Алифанов, ни Вахромеев, ни Иван и Семен Савельевы не знали, что только на том крохотном участке фронта, который оборонял в составе других подразделений и их гвардейский танковый полк, двинулись в наступление три немецких пехотных дивизии при поддержке почти пятисот танков, что проселочная дорога Подолья — Фатеж была помечена на немецких картах как особенно важная, ибо по ней можно было перебросить любые воинские соединения в тыл частям Красной Армии, обороняющим крупный опорный пункт — село Ольховатку, и что тот участок этой дороги, на котором Дедюхину было приказано любой ценой задержать танки противника, на тех же немецких картах был помечен как особенно опасный, потому что пролегал по топкой лощине, с одной стороны которой было даже небольшое озерко. В случае чего танкам в сторону не съехать и не развернуться, если не настелить гать.

Но вот это-то последнее обстоятельство очень хорошо знал со слов командира роты Дедюхин, а вчера и сам обследовал правую обочину дороги — топкая полоса метров в семьдесят шириной действительно тянулась вдоль дороги. Потому-то, довольный, и произнес вчера после ужина те слова, не совсем понятные экипажу: «Ну что ж, давай, дядя Ганс... настелить гать — не в дуду сыграть. Мы те сами занграм, а ты попляшешь». И вот теперь немцы «плясали». Танкам нельзя было двинуться ни взад, ни вперед. С обоих концов участок дороги был наглухо закупорен. Две-три машины попробовали было развернуться и пройти горевшие вперед танки по обочине, но тут же

попятиться назад, на дорогу, и неуклюже встали поперек нее.

Сначала немцы не могли определить, откуда же их машины расстреливают почти в упор, вертели в разные стороны стволами, лупили в каждое подозрительное место.

— Поворачивайся, Алифанов, — хрипел Дедюхин, тяжело дыша. — Вон третий справа на нас наводит! Должно, засек...

Третий справа после двух выстрелов Алифанова окутался, как паром, белым облаком, потом из него повалил черный дым. Немцы полезли из люков.

— Товарищ старший лейтенант, — взмолился стрелок-радист Вахромеев.

— Молчать! Беречь патроны. Еще пригодятся, чую... А что нам эти фрицы?

Орудие Алифанова стреляло и стреляло, Семен сперва считал выстрелы, а потом со счета сбился.

Неожиданно по броне громыхнуло, оглушительно, со звоном, звон мелкой осыпью запел в ушах Семена и еще не затих, как в броню ударил еще один снаряд, в смотровую щель влетел осколок, ударил где-то сбоку в броню и упал Семену на колени. Семен удивился, будто это было что-то необычное, взял маленький, но тяжелый и острый осколок железа. Он был горячим, обжигал пальцы.

— Засеки, сволочи! — прокричал Дедюхин будто издалека. — Иван, с усов капает?

— Да малость смокли, — отозвался глухо Иван.

— Не каплями, ручьями стекает, весь забок забрызгал. — В голосе Алифанова была почему-то недовольная усмешка. — Лишь племянник его да Вахромеев сегодня вроде бы выходные... Сколько же мы, Иван Силантьевич, штуечек нащелкали?

— Не знаю... один боекомплект подходит к концу, — доложил Иван.

— Семь, что ли, танков... Или девять?

— Одиннадцать! Понял, одиннадцать! — что есть силы заорал Дедюхин.

— Да я до десяти только не путаюсь. Сейчас попробуем двенадцатый... А, черт, ни хрена не видно!

Действительно, от горящих танков вдоль дороги стоял густой дым, закрывший неподвижные вражеские машины. Это лишало видимости и немецких артиллеристов, но танковые орудия били наугад, вокруг «КВ» ухали взрывы, по броне стучали комья земли.

Неожиданно на дороге, поверх плотных слоев дыма, пропоров их, взлетели огненные клинья, земля дрогнула. Потом она дрогнула еще раз. Это рвались от собственных снарядов вражеские машины.

И вдруг укрытый в капонире «КВ» подбросило. Семена сорвало с сиденья, он больно ударился плечом в правый борт. Дедюхина

кинуло вниз, на боеукладку, на него упал Иван, на них посыпались из гнезд пулеметные магазины, вещевые мешки... Вахромеев оказался под сиденьем заряжающего. Один Алифанов вроде не пострадал, он вытащил Вахромеева, по виску которого текла струйка крови, затряс его:

— Вахромеев, Вахромеев?!

— Ну? — открыл тот глаза.

— Ты живой?

— Кто же его знает... Глаза сильно щиплет.

Дедюхин и Иван, потирая ушибленные места, поднялись.

— Бомбой это нас... Чуть не прямое попадание, — проговорил Иван, вытирая мокрое и черное лицо. — Случайно, может?

— Кой черт! Видать, сообщили об нас самолетам по радию, в бога их... — Дедюхин крепко выругался. — Начадили тут.

В танке действительно было сизо от дыма, и Вахромеев, будто виноватый в этом, сказал:

— Стреляли же... К пушке вон не притронуться, аж краска отстала...

Еще ударил в башню снаряд, броневая окалина брызнула Алифанову в лицо, и тот пробурчал добродушно, будто осуждая ребячье озорство:

— Черти...

Раз за разом, сотрясая землю, рвались бомбы, то почти рядом, то чуть подальше.

— Весь курган разроют, мешает он им, — проговорил Дедюхин. И крикнул Вахромееву: — Что там наши-то? Доложи об обстановке, попробуй связаться... Скажи, что одиннадцать танков подбили... Ну, все по местам. Ты как, Семен?

— Ничего, — ответил тот, взбираясь на свое место.

Вахромеев погиб первым.

...Когда осколком не то бомбы, не то снаряда заклинило башню, Дедюхин, будто сам не понимая этого, терпеливо выслушал сообщение Алифанова и сказал:

— А вы говорили — на тридцатьчетверку надо... Ни один же снаряд броню не прожег! — И он хлопнул по стальной стене.

— У тридцатьчетверок броня не слабже.

— Что вы понимаете! — прикрикнул Дедюхин, недовольный даже такой косвенной защитой тридцатьчетверки и, значит, умалением каких-то достоинств любезных его сердцу танков типа «КВ». — Вы что, не убедились?

— Ладно вам, — прикрикнул вдруг Вахромеев, словно был старшим. — Надо вылезать из этой норы.

— Савельев, что там у тебя? — опять прокричал Дедюхин. — Заведешь?

— Должна завестись, старая развалина, — ответил Семен почему-то дерзко. — «КВ» же, не тридцатьчетверка...

— Получишь у меня взбучку... после боя! — пригрозил Дедюхин, надрывая голос, чтобы перекричать грохот автоматных пуль в броню. Танковые орудия противника били теперь редко, из девятнадцати вражеских машин на дороге стреляли только три, остальные горели или просто молчали, покинутые экипажем. Немецкие танкисты поливали неподвижно стоящий в капонира «КВ» из автоматов, подползая все ближе. Дедюхин и все остальные понимали, что теперь фашисты, приблизившись к танку, могут подорвать гусеницу или зажечь машину. Вахромеев, черный как черт от броневой окалины и порохового дыма, остервенело бил из пулемета, прижимая немецких танкистов к земле. Но Дедюхин и все остальные также понимали, что, пока бьют орудия, а самолеты сверху беспрестанно сыпят страшный груз, немцы на холм, под свои снаряды и бомбы, не полезут. Стреляли и бомбили по-прежнему наугад, и холм с приткнувшимся к нему советским танком был покрыт плотными клубами дыма и гнили, он извергался, как вулкан, от взрывов, камни и комья земли беспрестанно взлетали вверх.

— Черт, ничего же не видно! Ты слышишь, Дедюхин? — прохрипел Вахромеев так, будто в этом был вносват командир танка.

И после этого вскрика мгновенно умолкли взрывы бомб и снарядов, перестали даже стрелять из автоматов. Наступила тишина; она была так неожиданна, что оглушила, будто прямо в башню ударила бомба. Машина лишь чуть подрагивала — это работал мотор на малых оборотах.

— Понятно, — произнес Дедюхин и визгливо рассмеялся. — Не думаю, чтобы они думали, что подбили нас, они думают теперь-то подобраться вплотную, чтобы подбить...

Заковыристый оборот командира был понятен всем, Семен знал, какая команда следует вслед за этим, открыл смотровые щели, плотно взялся за рычаги и прибавил оборотов. «Сейчас по щелям и начнут лупить из автоматов», — острым холодком резануло в мозг. Но эта мысль держалась только мгновение, она исчезла, как только раздался голос Дедюхина:

— Поехали! Савельев, вместо хобота у нас палка теперь, ты это помни... Сразу направо давай, там увидим. Жми!

Семену все было понятно, кроме одного — куда вести машину. Но этого ни Дедюхин, ни кто-либо другой из экипажа не знал.

Танк тяжело, как проснувшийся медведь из берлоги, вылез из земляного укрытия. Семен сразу взял вправо. Впереди ничего, кроме ставшегося по земле дыма, не было видно.

Дым этот хлопьями, как вата, застревал меж низкорослых кустарников. Едва танк пополз из капонира, сразу затрещали о броню автоматные пули, не затрещали, а просто как-то глуховато и безобидно зашелестели, а Семен не думал уже, что какая-то свинцовая струйка может брызнуть в смотровую щель и прожечь его насквозь, чуть улыбаясь, представлял он почему-то, как автоматные пули-струйки плющатся о броню и бессильно ссыпаются вниз, словно подсолнечная шелуха. И еще он думал, что танк — это все-таки танк, стальной гроб, как называют его многие, да и сами танкисты, но этот гроб надо еще расколотить.

Неожиданно дымное облако оборвалось, танк вылетел на чистое пространство, на котором стояла брошенная немецкая кухня, а метрах в тридцати за нею окапывалось какое-то подразделение немцев.

— А-а! — заорал Дедюхин торжествующе. — Савельев, вдоль окопчиков!

Семен бросил машину вперед, развернул танк и погнал вдоль только-только начатой траншеи. Конец траншеи уходил вдаль, в дым, по разные стороны от нее брызнули немцы. Они бежали полусогнувшись, будто по дну воображаемого окопа, боясь распрямиться во весь рост. Многие падали под пулеметными очередями, задние перепрыгивали через них. «Как крысы», — подумал Семен, хотя на крыс убегающие немцы были похожи меньше всего. Сжав зубы, он прибавлял и прибавлял оборотов, пытаясь нагнать двух рослых немцев, бежавших почему-то рядом. Он знал, что им никуда от смерти теперь не деться, что он сейчас их раздавит...

Танк нагнал немцев у края качающейся дымной стены и смял первого немца, даже не покачнувшись. Второй попал под гусеницу спиной...

— Справа — пушки. Водитель! — заорал вдруг Алифанов. Семен мгновенно отреагировал, двинул сразу оба рычага. Вспахав землю, танк развернулся на месте. И Семен увидел впереди четыре противотанковых орудия. Два были прицеплены к тягачам, их спешно расцепляли, а два других были поставлены стволами в противоположную сторону. Семен даже улыбнулся от предчувствия такой легкой добычи. Алифанов их успеет расстрелять в две-три минуты, с ходу. Он как-то забыл, что башня заклинена, что ствол орудия превратился в неподвижно торчащее бревно, которое, правда, могло перемещаться сверху вниз. Орудие действительно ударило прямой наводкой, одна вражеская пушка опрокинулась, как игрушечная.

— Вперед теперь! Вперед! — задышал в уши Дедюхин.

Семен до отказа выжал газ, танк ринулся на вторую пушку, которую немцы успели почти развернуть.

— Осталось четыре снаряда, — вдруг раздался трезвый и спокойный голос Ивана Савельева.

«А горючее»?! — прожгло Семена, он глянул на прибор.

— Бей!

Выстрела Семен не услышал, только видел, как вздыбилась под второй вражеской пушкой земля и как на черной подушке приподнялось орудие и в эту подушку же провалилось.

— Товарищ старший лейтенант! Горючее на исходе!

— Чего орешь? Знаю, — сказал Дедюхин. И, помолчав, спросил: — На сколько хватит?

— Километров на двадцать...

— Ясно, — усмехнулся в шлемофоне Дедюхин. — Тут где-то деревня Соборовка должна быть...

— Вань, ты выйди, спроси дорогу, — насмешливо посоветовал стрелок-радист.

Это были последние слова Вахромеева.

— Позубоскаль у меня! — разозлился Дедюхин, не зная, что стрелок-радист уже мертв и ничего не слышит. — Напитался безобразиями от Капитолины своей. Ну-ка, бросай пулемет, попытайся вызвать кого... Может, кто знает, что там, в Соборовке? Вахромеев... Вахромеев?

Но Вахромеев молчал. Пуля ударила ему прямо в лоб, он немного сполз с сиденья. Кровь двумя струйками сочилась по лбу, капала с грязных бровей на щеки. Но этого никто из экипажа не видел.

...Соборовка была на виду, за худым лесочком, она вся горела, по окраинам деревни стояли особенно высокие и черные космы дыма. Закручиваясь жгутами, они словно ввинчивались в дымное марево, расплывшееся по всему небу.

— А если там немцы, товарищ старший лейтенант? — прокричал Семен, припав к смотровой щели. Грязный и едкий пот застилал глаза, хотелось сбросить шлемофон к чертовой матери или хотя бы вытереть глаза какой-нибудь промасленной тряпкой, но нельзя было сделать ни того ни другого. Танк летел в низину по разрытой снарядами земле, ныряя в ямины, и с ревом вылетал оттуда, чтобы снова ткнуться в рытвину.

— На сколько ходу горючего-то?

— Совсем уже нет. На этом самом паре едем, который воздух портит...

— Ну вот, а тут — авось... Не должны бы они ее взять.

— Вы ж с командиром полка говорили. На Ольховатку раз прут...

— Соборовку они, может, и обошли, а взять не могли, по-моему, — сказал Дедюхин упря-

мо. — Эх, Вахромеев! Что Капитолина-то скажет теперь, а, Семен?

Семен хотел что-то ответить — что, мол, тут скажешь, да и самим еще надо выжить, — как вдруг мотор, захлебнувшись, почихал и умолк. Тяжелый танк словно врезался в тугую стену. Семен качнулся вперед.

— Горючее кончилось! — прокричал он, задыхаясь.

— Самолет-ет! «Ю-юнкерс!» — ударил по ушам чей-то незнакомый голос так, что в голове зазвенело. Семен сразу и не разобрал, что это кричит дядя Иван.

Рядом что-то ухнуло — точно глыба земли отвалилась и упала глубоко вниз. Звук был глухой, нестрашный и что-то напоминал. И Семен в следующее мгновение вспомнил — что. Километрах в семи от Шантары, вниз по течению Громотухи, был высокий тридцатиметровый глинистый яр, вешние воды с каждым годом подмывали его все сильнее. На кромку яра выходить было опасно, она была вся в трещинах, многопудовые глыбины земли время от времени отламывались и падали вниз, в воду. И все-таки в детстве Семен любил туда ходить. Было до жути интересно глянуть с яра вниз, на грозно бурлящую далеко внизу Громотуху. А еще интереснее было найти отслоившуюся уже от кромки яра земляную глыбину, которую удерживали только травяные корешки. Если тронуть ногой такую глыбину, она угрожающе качнется. И часто Семен, стоя одной ногой на более или менее надежной кромке яра, другой упирался в трещину и, рискуя сорваться вниз и сломать шею, раскачивал отслоившуюся земляную глыбу до тех пор, пока травяные корешки не обрывались и тяжелый — центнера в полтора, а то и больше — кусок глины летел вниз, и через какие-то секунды снизу доносился глухой и тяжелый звук, похожий на взрыв. «Он походил вот на такой же, как этот», — мелькнуло у Семена, но в следующее мгновение в шлемофоне кто-то задышал, захрипел: «Кузьмич... Кузьмич...», а танк стал наполняться едким дымом.

— Горим! Спокойно, товарищи... Командир убило. Слушай мою команду.

Это, задыхаясь, проговорил Алифанов, но команды никакой не последовало, а может, Семен ее просто не расслышал. Со скрежетом откинулась крышка люка, и тотчас по броне начали хлестать автоматные очереди. Дым в танке становился гуще, Семена давило удушьем, и он будто чувствовал, как накаляется броня. «Остались или нет у Алифанова еще снаряды? — подумал Семен тревожно. — Ведь рванет... Кажется, не остались... И горючего нет».

Эта мысль почему-то успокоила, будто немецкие автоматчики, поливающие огнем неподвижный горящий танк, никакой опасности уже не представляли, как и сам пожар. Ныло толь-

ко у Семена сердце, тупо стучало в мозгу: «Вот и Дедюхина... Вот и Дедюхина...»

По броне кто-то снаружи застучал, и как из-под земли донесся раздраженный голос Алифанова:

— Савельев! Водитель... Выходи!

— Семка, ты живой аль нет? Семка-а!

Как он вывалился из люка и оказался на земле у полузасыпанной траншеи, Семен уже не помнил. Он очнулся от раздирающей боли в легких, открыл глаза и увидел склонившегося над ним дядю Ивана.

— Ну, ну?! — кричал тот, грязный, в разорванной на плече гимнастерке, которая висела черными, в засохшей крови, клочьями, и страшно сверкал глазами.

— Воздух... голова от него кружится, — проговорил Семен с жалкой и виноватой улыбкой.

Возле самого лица Семена лежали ноги Алифанова, они шевелились, упирались в землю носками заляпанных артиллерийской смазкой сапог. Командир орудия бил из ручного пулемета куда-то в дымную мглу, стелившуюся низко по земле вдоль невысоких кустарников. Семен увидел в этой мгле неясные фигуры, которые то возникали, то исчезали, и понял — это приближаются перебежками немцы. «Вот и Дедюхина... Вахромеева... А теперь и нас всех...» — пронеслось у него в мозгу и словно что-то окончательно прояснило там. Он резко перевернулся со спины на живот, обнаружив, что в руках у него автомат. Вываливаясь из танка, он, видимо, машинально схватил оружие. Когда в дыму замаячили две вражеские фигуры в касках, Семен полоснул по ним длинной очередью. Немцы исчезли. То ли он их убил, то ли немцы просто прижались к земле — понять нельзя было.

— Бей прицельно. Поставь на одиночные, — сказал Иван, и Семен поразился его спокойному голосу и этому, хотя и практически — ведь у Семена был всего один диск, — но уже, наверное, бесполезному совету.

Сам Иван, у которого в руках был тоже автомат, не стрелял. Он лежал, вжимаясь в землю, уткнув в травяную кочку заросший подбородок, смотрел туда, где струился клочковатый дым. Автомат он держал в левой руке за ствол, а в правой, вытянутой вперед, у него была граната «лимонка», и он чуть подбрасывал ее, перекачивая на ладони, как горячую картофелину.

— Ну что ж... Семка, — тихо проговорил вдруг он, не оборачиваясь, все так же напряженно глядя вперед. — Всяко я думал в жизни своей помереть, а так хорошо — не думал. Обойдут они сейчас нас...

Эти слова принесли Семену вдруг облегчение. То невысказанное и больное, что, казалось Семену, Иван носил в себе всегда, рождало неприятную мысль — дядя его, кажется, тяго-

тится войной. «Не ошибетесь в нем», — говорил он, Семен, Дедюхину в Челябинске, рекомендуя взять в свой экипаж, да, видно, поспешно сказал... Правда, дело свое солдатское он делал всегда хорошо, ни в какой обстановке не терялся. Дедюхин часто его ставил в пример, но иногда в сердцах называл «молчаливым пнем». Иван действительно говорил только о самом необходимом, когда без слов нельзя уже было обойтись, старался по возможности уединиться. Семен часто натыкался на него, сидящего где-нибудь в одиночестве, погруженного в какие-то мрачные думы. Ну, война, конечно, не сладкая ягода, помрачнееешь порой и затяготишься, но у дяди Ивана вроде что-то надломилось внутри и он все время будто боялся быть убитым. Эта мысль была неприятной, она оскорбляла что-то в самом Семене, но она родилась и жила в нем. Вот такой случай и настал, а в поведении дяди Ивана нет и намека на то, что он сломался и боится смерти, и слова, и голос — усталый и хриплый — будто открыли Семену в дяде Иване человека нового, доселе ему неизвестного, незнакомого.

— Мы не померли еще, — сказал Семен упрямо, словно стараясь возразить кому-то, но теперь только не дяде Ивану.

— Ну, это живо может произойти. Жалко мне только Агагу, Сем... Ясного света тогда и вовсе не увидит...

— Вы, Савельевы! — Алифанов, надрываясь от крика, повернул к ним круглое, но какое-то исхудавшее лицо со странно торчащим правым усом. — Шанс у нас, ежели он есть, — один. Вдоль этой дымной полосы от нашего танка... Попытаемся!

Их «КВ» горел не очень сильно, но чадил густо, темная дымная полоса стлалась вдоль земли в сторону Соборовки, накрывая маячивший неподалеку перелесок. Иван и Семен поняли, о чем говорит Алифанов, но ведь кто знает, где немцы? Не шарит ли этот дымный хвост по окопавшимся в той стороне немцам? Да и в перелеске могут быть уже фашисты. Но шанс был действительно только этот, если он еще и был. Это не только Алифанов, но и Семен с Иваном сознавали отчетливо.

— Ну что ж, Семен...

— Сейчас они ползут! — опять прокричал Алифанов, отталкивая бесполезный теперь ручной пулемет с расстрелянным магазином. Владони у него была зажата граната, такая же, как у Ивана, другой рукой он вытаскивал из кобуры пистолет. — Давайте мы их уложим к земле — и деру. Иначе...

— Командира-то с Вахромеевым оставлять им... — Это прокричал Иван.

— А что мы можем? Ты соображаешь? Приготовиться!

Сделать они действительно ничего не могли, вытащить из танка трупы Дедюхина и

Вахромеева было невозможно. Вот судьба, больно задолбило Семену в виски. Там, внутри этой железной коробки, обуглятся их тела, а может, сгорят в прах, нечего будет и хоронить. И не будет на земле их могил. Сгорели в пекле войны... Сгорели в пекле войны... Вот уж точно — в самом пекле они сгорели, такая выпала им доля... Когда-то родились они, в радостях и заботах нянчили их матери, защищая от холода и от жары, от всяких напастей, росли они, радуясь солнцу и ветру, далеким таинственным звездам и мягкой пахучей траве. И росли для них где-то девочки, как вот Наташка для него, Семена... Настал момент — прикоснулись их руки впервые к самому, может, прекрасному на земле — к женскому телу. Когда и как это было у Дедюхина, Семен не знает, ему только известно, что у старшего лейтенанта, кажется, трое детей... А у Вахромеева это случилось недавно, почти что на глазах у Семена. И он, Семен, видел, как быстромерно произошла у Вахромеева с Капитолиной вся любовь. Он понимал, что это у них настоящее и человеческое, только вышло все стремительно, не как обыкновенно, — будто бешено понеслась жизнь, как на киноэкране, если пленку прокручивать в десять раз быстрее. Что ж, оба понимали, что для обыкновенной любви у них не было времени, хотя никогда об этом не рассуждали, не размышляли... И ни Вахромеев, ни Дедюхин не знали, не могли знать, что жизнь их окончится вот здесь, на изрытом бомбами и снарядами поле близ русской деревушки Соборовки, о которой они до этой проклятой войны и слыхом никогда не слыхивали и думать не думали, что тут ждет их такой конец...

Все эти мысли пронесли в голове у Семена лихорадочно, в какие-то секунды, не отключая его внимания от залегших в нескольких десятках метров немцев, которые непрерывно стреляли из автоматов. Пули вокруг взрывали землю, трещали о броню танка, и Семен даже слышал, как некоторые рикошетили и с пронзительным визгом разлетались в стороны. Было только странно, что ни одна из них не задела еще ни дядю Ивана, ни Алифанова, ни его самого. И еще мелькнуло в мыслях у Семена, что судьба у него пока счастливая, — радуйся, Наташка... Только бы вот из этого пекла выбраться!

...Что ж, из этого пекла Семен и Иван Савельевы выберутся живыми и невредимыми, сейчас, когда немцы поднимутся для броска и в эту секунду немного ослабнет их огонь, Алифанов яростно прокричит: «Дав-ва-ай!» Он, Семен и дядя Иван начнут палить из автоматов, немцы опять залагут. В это время Алифанов и дядя Иван бросят по одной гранате. Немцев они не достанут, но на несколько мгновений ослепят их, и этих мгновений будет достаточно,

чтобы всем троем юркнуть за горящий танк. Потом они нырнут в густую полосу дыма и, разогнувшись там во весь рост, побегут, как в густом тумане, неведомо куда, задыхаясь и от дыма и от быстрого бега. Пули будут свистеть вокруг, но опять никого не заденут, только потом, уже в перелеске, где немцев, на счастье, не окажется, когда каждый облегченно подумает: «Неужели выбрались?!» — Алифанов вдруг застонет как-то негромко, чуть ли не радостно, выронит пистолет, схватится обеими руками за тонкий березовый ствол и повалится столбом в сторону, на Ивана, до самой земли согнув податливую березку и не выпустив ее из коченеющих пальцев, так и умрет, будто в обнимку с ней... Из этого пекла они выберутся и принесут к своим бесчувственное тело Алифанова с простреленным затылком, дядя Иван, обожженный, с окровавленным чужой кровью плечом, прохрипит какому-то пехотному капитану: «Вот! Герои тоже умирают иногда... от пули в затылок», и Семен еще раз подумает, ощущая радостный холодок в животе, что судьба у него счастливая. Откуда же ему было знать, что он еще не раз позавидует и сгоревшим в танке Дедюхину и Вахромееву, и погибшему от шальной пули Алифанову... Этого он не знал, как ни один человек не знает, что ему написано на роду, что готовит ему судьба завтра, послезавтра, через год, через двадцать лет... Он пока лежал, вжавшись в землю, горячую, разогретую то ли бомбами и снарядами, то ли полыхающим где-то за дымами, затянувшими густой пеленой все небо, жарким июльским солнцем, слушая, как грохочет над головой о броню их сгорающего танка свинцовый горох, смотрел на Алифанова. В левой руке у того был пистолет, в правой — граната...

...Немцы поднялись кучками все враз, Алифанов повернул к Семену перекошенное в крике лицо, одновременно махнул пистолетом:

— Дав-ва-ай!

Анфиса Инютина всю ночь не спала, одиноко ворочаясь на широкой деревянной кровати, слушала, как сопит в углу Колька, сын, разметавшийся на старом тряпье, брошенном прямо на крашенный пол, как кашляет за дощатой дверью эвакуированная из Одессы еврейка Берта Яковлевна, учительница, поставленная к ним на квартиру через несколько месяцев после ухода Кирьяна на фронт. Учительница была не очень старая, неопрятная, много курила, роняя пепел на бугристую грудь, затянутую обычно старым, засаленным черным халатом. Вместе с ней жили две ее шестнадцатилетние дочери — двойняшки Майя и Лида, носатые, глазастые, обе такие же, в мать, крупногрудые,

по характеру общительные хохотуны. Все втроем жили в крохотной Верининой комнатухе, дочери спали на тесной кровати, а сама мать на сундуке, подставляя к его краю на попа два чехомодана, чтобы с сундука не свисали ноги. Днем чехомоданы возвращали на сундук.

С вечера захлестал ветер, потом утих, в стекла начали стучать одинокие и тоскливые капли дождя. Анфисе захотелось отчего-то плакать, в груди было пусто, неприятно, как на ночной деревенской улице в эту вот непогожую летнюю ночь. Она лежала, скрестив на мягком животе усталые руки, закусив губы, чтобы не расплакаться. Потом дождь припустил, за окнами словно кто-то принялся мотать лейкой, обливая черные стекла. Анфиса будто только этого и ждала и под неприятный шум дождя облегченно и беззвучно заплакала.

Дождь кончил барабанить по стеклам, и она перестала плакать, вытерла горячими пальцами слезы, перевернулась на бок и стала думать о Кирьяне, о детях, о всей своей жизни — несладкой, неудавшейся и безрадостной. Кто она и зачем она на земле? Эта мысль пришла к ней неизвестно когда, поселилась в ней незаметно и стала мучить жестоко, изнутри, в самом сердце шевелилось, ворочалось что-то беспокойное и безжалостное, больно обдирая самые чувствительные места. Она перебирала в памяти всю свою жизнь, пытаясь отыскать там хоть щелочку, из которой пролилось бы сейчас на нее что-нибудь теплое, обогревающее радостью, но все позади было мутно, и жили зачем-то в этой мутной пелене Федор Савельев, Кирьян, ее муж, Анна, жена Федора, и она сама, Анфиса. Она по первому взгляду, по первому намеку бежала, потеряв голову, к Федору, отдавалась во власть его безжалостных рук, не страшась побоев Кирьяна, пересудов людей. Федор мял и крутил ее, как тряпку, ей было хорошо, приятно, а вот теперь, задним числом, пришло вдруг омерзение ко всему этому, пришла жалость к Кирьяну, не любовь, не стыд и раскаяние за прошлое, а просто мучительная жалость, в ней все прибывало желание остатком своей жизни оплатить все страдания Кирьяна. Ей не надо его прощения, такое, наверное, простить невозможно, и пусть, это даже хорошо, что она каждую минуту будет чувствовать свою вечную вину, но тем сознательнее и тем старательнее она ее будет оплачивать. Пусть не прощает, но пусть возьмет во внимание, что Верку и Кольку она от него родила. «Господи, — взывала она молчаливо, в иступленной благодарности к кому-то, — как еще на это у меня ума хватило! Тогда бы и вовсе хоть в петлю...» Хватило, наверное, потому, что Кирьян — Анфиса всегда это понимала — душой добрый, отзывчивый. Она у него, душа, беспомощная и сильно ранимая, и когда он остервенело хлестал ее, пьяный, где-нибудь в кустах или в темном сарае, Анфи-

са чувствовала, что ему самому больнее, чем ей, что он себя истязает каждый раз — тоже до крови, только кровь у нее сочится снаружи, а у него внутри. И вот это странное чувство никогда не позволяло ей сердиться на мужа за самые зверские побои. Он бьет ее, бывало, а ей его жалко, и чем сильнее бьет — тем сильнее ее жалость к нему. Однажды, когда в Михайловке жили, Кирьян откинул прочь смокший в ее крови ремень с железной пряжкой, сел в кустах на землю, уронил голову и бессильно заплакал. Она, в кровоподтеках и вздувшихся багровых рубцах, с трудом поднялась, подошла к нему, пошатываясь, одной рукой поддерживала лохмотья кофточки, а другую протянула, погладила его, как маленького, по голове, всхлипнула:

— Не надо, Кирьян...

— Что — не надо?! — вскричал он яростно, снова вспыхивая небывалым еще гневом. Но тут же вскинутая голова его будто стала тяжело наливать свинцом, худенькая шея с туго натянутыми жилами не могла удержать ее, наклонилась опять вниз. Он знал, он всегда знал, какое чувство живет в ее душе! Она тогда впервые поняла это, упала, истерзанная, перед ним на колени, склонила разлохмаченную голову.

— Бей еще! До смерти забей меня, паскудину.

Он запустил в ее космы пятерню, зажал в кулак затрепавшие волосы, выдохнул умоляюще:

— Анфиска! Сволочь... Все прощу — только перестань с ним... Отринь из души.

Он ждал, в глазах его было унижение. Даже заискивающее что-то лилось из глаз.

— Не могу, — сказала она тихо, обессиленно, будто прощаясь с жизнью.

Он застонал, отшвырнул ее в сторону. Она упала в траву, приминая мелкие кусты. И долго чувствовала, как больно ноет шея...

Теперь тоже ныла вся душа, все тело. Почему, почему она тогда не отринула Федора из сердца, как вот теперь? Любила? Может, это и любовь была, да только не человеческая. Звериное у нее было что-то к нему, скотское. А он пользовался, он — не жалел ее. Ни ее, ни Анну, жену свою. Он вообще баб не жалеет, не люди они для него... Не жалеет он баб!

Эта мысль вдруг поразила чем-то Анфису, она затаила даже дыхание. «Вот ведь! — мелькнуло у нее. — Федор никогда не бил, пальцем не тронул. А не жалел никогда! Кирьян исхлестывал, избивал меня несчетно раз до потери сознания. А жалел, всегда жалел! В этом разница, большая разница... Так кто же человек-то, кто человечнее — Федор или Кирьян?!»

Анфиса задышала тяжело и быстро. Ей показалось, что она сделала какое-то важное открытие, без которого никогда бы не узнать и не решить — как и зачем ей жить дальше?

Собственно, как и зачем жить дальше, неведомо и теперь, но все скоро, в ближайшие же дни, станет ясно, теперь уж обязательно станет, думала она. Не было раньше никакой щелочки, откуда бы пролилось на нее тепло, а теперь появилась или появится... Только Кирьян перестал писать, господи, что с ним приключилось-то? Писал он не часто, но раз в месяц-полтора приходило письмо. Сейчас нету ничего уже пятый месяц! Может, затерялось где по почтам? Обыкновенное дело — провалилось куда за стол, за ящик какой, в глухое место... Оно там и лежит, а она ждет. Похоронной же нет, значит живой...

Стало светать, засинело окошко, а в комнате стояла прежняя густая темнота.

Опять пошел дождь, застучал торопливо в стекла, громыхнул где-то далеко гром, а уже потом почему-то сверкнула молния, осветив голые бледно-серые стены и потолок. Анфиса тут же и поняла, что это донесся гром не от этой вот, а от другой молнии, и стала ждать, когда снова загремит. Но ничего не загремело, только хлестанул сильный ливень по тесовой крыше, заплесневелой разноцветными лепешками грибов, будто кто-то грузный заплясал босиком, прогибая полусгнившие доски.

Анфиса лежала и думала теперь, что ветер, наверное, за целый день не разнесет сегодня тучи, они наглухо закупорят над Шантарой все небо, нигде не прольется на землю ни один солнечный лучик, солнце до самой следующей ночи будет ходить бесполезно, где-то там, высоко над тучами, весь большой июльский день будет сумеречным, чем-то похожим на ее жизнь, которую сломал и перековеркал Федор, теперь Анфиса это понимала отчетливо. Жила она когда-то, давно-давно, как колокольчик под дугой, пока на дороге не появился этот Федька проклятый с проклятыми своими усиками, которые снились ей по ночам. «Прям страшилище усатое», — сказала она ему тогда. Когда это было-то? Не то в шестнадцатом году, не то в семнадцатом... Или чуть попозже? Господи, как давно все это было, с каких пор закрылось от нее солнышко-то тучами! С того дня, когда он, проклятый, по-зверинному смял ее, распластал на траве. «Не надо, Федор... Пожалей! Ну пожалей, рано мне еще...» — пропищала она бессильно и беспомощно. Не пожалел...

Тихие, обидчивые слезы заструились по щекам, прожигая их глубоко, будто насквозь. «Убило бы его, паразита, там, на войне! Чтоб знал! — подумала она безжалостно, замотала в темноте головой по подушке, беззвучно и яростно крича: — Чтоб знал, чтоб знал!»

Опомнилась она от того, что бешено и больно заколотилось под грудью сердце: «Что говорю-то, чего это я желаю ему!»

Из комнаты, где жила эвакуированная учительница с дочерьми, донесся опять кашель,

скрип сундука и шлепанье босых ног. Потом из дверных щелок брызнули струйки света, дверь распахнулась, на пороге стояла Берта Яковлевна, растрепанная, с папиросой.

— Что с вами, Анфиса? — спросила она. — Вы мучительно стонали.

Анфиса с удивлением обнаружила, что не лежит, а сидит на кровати, свесив голые ноги на пол.

— Ничего. Муж мне давно не пишет, Кирьян...

— Напишет еще. А мой уже никогда не пришлет письма. Он погиб при героической защите Одессы.

Анфиса знала об этом, она не раз слышала от Берты Яковлевны о гибели ее мужа, жалела эту овдовевшую в самом начале войны женщину и ее дочерей. Берта Яковлевна преподавала в школе математику, учительницей, говорят, была неплохой, но сварливой. Колька рассказывал, что ее не любили, делали ей всякие пакости. И еще она была рассеянной, не обладала памятью на лица и события («После похоронки на папу у нее совсем память исчезла», — говорили ее дочери), и этим широко и беззастенчиво пользовался Колька. Берта Яковлевна в десятом классе, где учился Николай, была классной руководительницей, Колька систематически выкрадывал у нее классный журнал и проставлял себе и своим товарищам отметки. Анфиса это знала, сердито ругала сына, но тот только мотал крючковатым носом и оправдывался:

— Да что я, мам, ставлю-то? Не пятерки же...

— Оболтус ты. Вместо того чтоб учить... А как она поймает тебя на этом?

— Память у нее дырявая, — усмехался Колька.

Через полчаса Анфиса и Берта Яковлевна чистили картошку. Как-то так получилось, что с самого дня подселения эвакуированных, которых привел на квартиру сам председатель райисполкома Хохлов со словами: «Вот, приютите жильцов... Не обижайте», — они все стали жить одной семьей.

Берта Яковлевна в общий котел отдавала свою зарплату, потом сама Анфиса устроилась на работу — уборщицей в районную библиотеку. И хотя хлебные карточки «отоваривали», как говорила Берта Яковлевна, не всегда — Колька, Лидка и Майка по целым суткам толклись в тысячных магазинных очередях, подменяли друг друга, зачастую хлеба им так и не доставалось, но хлеб в доме все же водился, и жили все хоть и не очень сытно, но не впроголодь.

Нынче весной впятером — лишь Верка демонстративно не взяла в руки лопаты — дружно вскопали огород, посадили картошки, бобов, гороху, по краю плетня натыкали кукурузы. Лето

было засушливое, каждый день почти они поливали из Громотушки огород. С утра до вечера над инютинской усадьбой стоял галдеж и звонкий смех Майки с Лидкой.

— Как хорошо, скажите пожалуйста, как это удивительно! — говорила частенько Берта Яковлевна, раскрасневшись от работы. — Я никогда не занималась огородничеством. Но это же прекрасно!

— Не знаю, прекрасно или не прекрасно, — ответила ей однажды Анфиса. — Просто без огорода нам не прожить.

— Ну да, я понимаю. Теперь это я понимаю... Урожай картофеля, кажется, будет отменный...

— Вроде бы должен. Тогда перезимуем.

— Как это удачно — речка в огороде.

— Громотушка-то? Без нее бы гибель. Кормилица.

— Хорошо, что на земле есть речки.

Анфиса сейчас вдруг вспомнила этот разговор, эту наивную, как ей тогда показалось, фразу: «Хорошо, что на земле есть речки». А ведь в самом деле хорошо. И что солнце на небе, и что дождь, и что снег, зима, а потом весна... Только бы война вот скорей кончилась, Кирьян вернулся...

Анфиса неожиданно для самой себя всхлинула.

— Вы уж напрасно так, — сказала учительница, откладывая нож и доставая папиросу. — Письмо вам еще будет, задержалось где-то.

— Не задержалось, не будет. — Анфиса враждебно сверкнула глазами, будто недовольная за эти участливые слова. — Я вот чувствую: что-то случилось с ним. Что-то случилось!

Берта Яковлевна чиркнула спичкой, прикурила, стала смотреть в окно, за которым в синей предутренней дождливой мгле уже проступали мокрые горбатые крыши соседних домов.

— Он, ваш муж Кирьян, хороший человек?

— Хороший, — прошептала Анфиса, опуская голову.

Проснулся Колька, быстро приподнялся, сел, спросонья заморгал глазами.

— Случилось чего, мам?

Анфиса молча и тяжело дышала.

— Ничего не случилось, — сказала Берта Яковлевна. — А ты вставай, сегодня последний экзамен у тебя. И я буду спрашивать тебя строго. Бином Ньютона повторил?

— Да знаю я его, — зевнул Колька.

— Николай, я серьезно говорю! — рассердилась учительница. — Я обязательно задам тебе этот дополнительный вопрос.

— Сказал — знаю. На тройку, а знаю.

— Вот, — Берта Яковлевна повернулась к Анфисе. — На тройку...

Пока шел этот разговор, Анфиса немножко успокоилась, отошла. Она знала, почему идет у них эта перепалка о непонятном ей биноме

неведомого Ньютона. Однажды Берте Яковлевне все-таки показалась подозрительной какая-то Колькина отметка, и учительница, удивленно разглядывая классный журнал, вышла из комнаты: «Николай, это когда ж я тебя по алгебре спрашивала?» — «Здрасьте! — воскликнул сын нахально. — Когда я бином Ньютона-то полурока вам шпарил!» — «Ну-ка, бери ручку и бумагу». — «Еще чего? На уроке — пожалуйста, переспросите. Я вам в два мига его выведу...»

И Колька быстренько, торопливее, чем положено, скрылся за дверьми.

В тот вечер он долго говорил уроки, чуть не до утра шуршал страницами учебников, и Анфиса догадалась, что этот самый бином он не знает, а сейчас вот учит. «Паразит такой, мошенник», — думала она тогда о сыне с раздражением.

— На тройку, видите ли, он знает, — повторила учительница. — И доволен. Безобразия! А способный парень. На фронт собираешься!

Кирьян Инютин был жив, только он в это раннее июльское утро лежал на узкой больничной койке новосибирского госпиталя без обеих ног и, как много дней уже подряд, смотрел, не мигая, в белый квадратный потолок и тупо размышлял о том, что все военные врачи — сволочи и скоты, что они не должны были дать ему после наркоза прийти в сознание, ибо отрезать человеку по самый пах обе ноги — это хуже, чем отрезать голову.

— Ну что теперь, сынок... Судьбу, ее думой не пересилить, — тихонько произнесла рядом старая нянечка Глафира Дементьевна. — Уточку вот, сыночек...

— Пошла ты, старая телега! — Кирьян схватился обеими руками за спинку кровати над головой, подтянул свое обрубленное тело повыше на подушку, лицо его покрылось испариной. — Уметайся!

Так происходило каждое утро. Всякий раз, когда Глафира Дементьевна предлагала ему утку, Кирьян, оскорбленный, кричал на нее в бешенстве, не выбирая слов, и всякий раз старая нянечка, тяжело вздохнув, сгибалась с трудом, ставила сосуд возле койки так, чтобы Кирьян, опустив руку, мог его достать, и уходила.

Ушла она и на этот раз, шаркая тапочками. Кирьян глядел в ее сутулую, согнутую временем спину, глаза его, переполненные слезами, зло горели.

Когда она вышла из палаты, он, держась теперь за спинку койки одной рукой, поднял с пола ненавистную посудину, холодную, чисто вымытую.

Через некоторое время та же Глафира Дементьевна принесла ему поесть, поставила завтрак на тумбочку, унесла утку, потом вернулась

в крохотную палату, где лежал в одиночестве Инютин, села на выкрашенную белой краской табуретку.

— Ешь, сыночек.

— Ишь ты... нашла сына, — буркнул Кирьян.

— Так что ж... Мне седьмой десяток, тебе пятый. А первого я принесла в шестнадцать годков. Ребенком, почитай, родила. Тогда ведь рано нас, девок, под мужиков клали. Сын же мой старше тебя на пять годков был. В сорок первом он еще где-то под матушкой-Москвой упал... Ешь, я не уйду, пока не поешь.

Когда Кирьяну ампутировали обе ноги, он, придя в себя, отказался есть и пить, решив в несколько дней уморить себя. В общую палату, где он лежал тогда, пришел начальник госпиталя, генерал-лейтенант медицинской службы, высокий, не старый еще, худощавый мужчина в очках.

— Ты что это устраиваешь? — спросил он строго. — Мы тебя силой кормить будем. Через задний проход.

— Через задний?! — вскипел Кирьян. — Т-ты, глиста в очках... Я тебе самому загоню в этот проход... ножку вот от стула.

Начальник госпиталя побагровел. Но к нему шагнула Глафира Дементьевна, положила, как мать, обе руки на плечи, обтянутые белым халатом.

— Батюшка, Андрей Петрович... Не гневайся. Переведи-ка ты его в одиночную палату. Я уж с ним договорюсь...

Через час Кирьяна перевезли. Следом вошла Глафира Дементьевна с кружкой молока и тарелочкой жидкой манной каши.

— Не стыдно, кобель такой? — сказала она ворчливо, ставя кружку и тарелку на тумбочку.

— Пошла бы ты отселя! — окрысился на нее Кирьян. Старушка поглядела на него с укором, качнула головой. И Кирьян вдруг почувствовал, как что-то у него надломилось внутри, какой-то стержень, на котором держалась злость ко всему миру. И он сказал первое, что пришло в голову: — Кобелем я никогда не был... Одна баба у меня и была в жизни.

— Я говорю — лаешься, как цепной кобель. Андрей-то Петрович, золотые руки, сколько вас таких из могилыковытачил. И тебя вот. А ты... Ешь давай. Молочко вот выпей.

И Кирьян послушно взял кружку. Когда выпил молоко, почувствовал нестерпимый голод, жадно съел и кашу.

— Оно не сладко жить обрубком-то. Да все ведь не в сырой земле.

— Не в сладости дело, бабка. А в смысле. А где теперь смысл?

— Ну, это штука непростая. Иной и с руками, с ногами, со всем телесным прикладом жизнь проживет, а смысла того так и не уразумеет.

— Дала б еще, что ли, пожрать... Коли такая добрая да умная.

— Покудова хватит, сынок. А то кишки завернутся.

С тех пор прошло месяца два. Тот стержень в душе Кирьяна, на котором держалась вся злость, совсем так и не отломился, а дал, кажется, еще и молодые побеги. Палата была на третьем этаже, в единственное окошко виднелись верхушки деревьев, дощатые крыши каких-то домов. Иногда Кирьян раздумывал — как бы это подползти к окошку да вывалиться наружу, чтобы кончить все раз и навсегда. И однажды в приступе дремучего отчаяния он свалился с койки, пополз к окну. Подоконник был высоким, он достал до него руками, но подтянуться не мог, сил не хватило. В бессильной ярости Кирьян заколотился лбом о стену.

Там, возле подоконника, и застала его Глафира Дементьевна, всплеснула руками, обо всем сразу догадавшись. Она никого не стала звать на помощь, сама потащила его от окна, с грехом пополам заволокла на койку, села, обессиленная, на табуретку и по-старушечьи заплакала, время от времени поглаживая старой ладонью по его спутанным, мокрым волосам. Она не ругалась, ничего не говорила, только плакала.

— Ну и ладно... Ну и ладно, — выдавил он сквозь зубы тяжко и мучительно. — А теперь — уйди.

После этого Кирьян Инютин все так же зло кричал на старую женщину, но зло и ненависть были только в голосе. В душе он чувствовал к ней, единственному пока близкому человеку на земле, признательность и благодарность. И она знала это, на его злые слова не обижалась.

...Летнее утро отгорело, незаметно перешло в долгий день, обещавший быть жарким и погожим. Поглядывая на молчаливо сидящую старуху, на плясавшие по белой стене солнечные блики, пробивавшиеся сквозь густые верхушки деревьев за окном, Кирьян съел пшеничную кашу с тушенкой, стал пить крепкий чай с сахаром. Чай Глафира Дементьевна заваривала ему «свой», неизвестно где добывая в это трудное время заварку. И это всегда вызывало у Кирьяна обостренное чувство благодарности. Не ее постоянный уход и забота о нем, а именно чай, крепкий и душистый, рождал в его душе теплоту к этой старухе.

Солнечные блики на белой стене все играли, они напоминали ему что-то давнее и хорошее, но что — понять он никак не мог, хотя временами думал об этом напряженно и мучительно.

Выпив чай, он со стуком поставил стакан на тумбочку, и Глафира Дементьевна очнулась от долгих своих дум.

— Ну вот, и слава богу... Господь напитал, никто не видал. А я вот все думаю, как бы рада-радешенька была Надюшка, сына моего жена, кабы он хоть какой вернулся... Хоть без рук и ног вместе. Только бы живой, она б его, как ляльку, на руках носила. У тебя же руки целые, а ты, окаянный, еще к подоконнику пополз,— старуха кивнула на окно. — Не известно?

— А моя Анфиска, Глафира Дементьевна, не такая, как жена твоего сына... Носить на руках не будет,— сказал Кирьян тихо.

Старуха взмахнула редкими ресницами, пугливо почему-то глянула на Кирьяна, разглядила халат на острых коленках.

— Плохо жили, что ль?

— Хуже некуда... Я ее любил без памяти. А она всю жизнь с другим путалась. Как увидит его... запах один его по-звериному учует, так и бежит, как сучка к кобелю.

Кирьян проговорил это, побледнел, застоял сквозь плотно сжатые зубы.

— А дети у тебя есть, нет?

Инютин тяжело дышал, смотрел на стенку, по которой как резиновые все прыгали, все подрагивали желтые солнечные зайчики, то сливаясь друг с другом, то вспыхивая лучистыми звездами, разбегаясь в сторону. И вдруг воскликнул, пугая Глафиру Дементьевну:

— Под водой! Это когда если нырнуть и поглядеть вверх!

— Ты чего? Чего?!

Кирьян ей не сразу ответил, только дышал по-прежнему часто и шумно.

Потом дыхание его стало успокаиваться.

— Речка у нас Громотуха, недалеко от деревни. Нырнешь, а над тобой вот такие зайцы лопаются! — Он ткнул пальцем в стену. — И никогда их не поймать...

— Да что их ловить-то?

— Анфиска это любила.

— Кого, чего?

— Играться... когда мы купались с ней. «Давай, говорит, зайцев из-под воды ловить». Нырнет и как рыба — вверх. Руки вытянет. Вынырнет, расхохочется, солнечный зайц на лице у нее дрожит. «Упрыгнул», — говорит... А я ей: не-ет, поймала! Она не может понять, об чем я... От Федьки Савельева была брюхатой...

И Кирьян изо всей силы ударил затылком раз, потом другой об железную спинку больничной койки, будто хотел расколоть голову.

Глафира Дементьевна откинула одеяло, потащила тяжелое тело вниз, чтобы голова не доставала до железной спинки койки.

Потом Кирьян долго лежал навзничь, запрокинув на подушке исхудалое, крючконосое лицо. Он был по-больничному коротко острижен, залысины по бокам выпуклого лба как-то мертвенно желтели, из закрытых глаз по вис-

лым щекам, заросшим крепким волосом, сочились слезы.

— Ты не майся, сердешный,— проговорила Глафира Дементьевна. — Что ж теперь... Какой прок изводит себя?

— Пошла бы ты! — прохрипел Кирьян. — Что ты в душу ко мне лезешь?

Старуха, будто не слыша этих слов, снова села на табурет. Кирьян опять лежал с закрытыми глазами, молчал. Молчала и Глафира Дементьевна.

— Анфиска-то тогда мертвым ребенком разродилась, который от Федьки был... Но я б все равно ее не бросил, коли б и живой родился,— проговорил вдруг Кирьян тихо и просто. Он открыл глаза, чуть повернул голову вбок, стал глядеть на пляшущие солнечные пятна.

— А может... Слышь, сынок? Я старая, всякого навидалась за долгую-то жизнь. Ну и что ж, кумекаю дряхлым своим умом, каково тебе было с такой женой,— старуха произнесла это как-то неуверенно, она говорила и будто одновременно раздумывала, стоит ли говорить дальше. — А вот почему-то мне чудится — не умом покуда она жила...

Кирьян оторвал глаза от стены, медленно повернул голову к старухе, в измученных глазах его стоял вопрос.

— Я к тому, сынок... Мы в ранешное время не в городе жили, в Нижней Ельцовке, деревня такая под городом и ныне есть. Колодезь у нас был... Черпали да черпали из него, ко вкусу воды привыкли и не замечали его... А потом иссяк отчего-то колодезь. Стали мы воду в речушке брать. И вот тогда-то и поняли, господи боже ж ты мой, какая сладкая вода в колодеце-то была! К тому я говорю, сынок, написал бы ты Анфиске своей...

Кирьян изменился в лице, внутри у него будто застонало что, какую-то жилу будто стали вытягивать из него.

— А что ж ты думаешь? — вгорячах воскликнула старуха, будто ей кто-то возражал посторонний, а не Кирьян. — Душа в тебе славная, Кирюшенька, чистая... Оно, бывает, до поры до времени человек и не видит, какое ж небушко-то над головой раздольное да красивое... Война-то сколь горюшка людского принесла? Всею она другую цену определила... Надька вот, моя сноха, тоже не мед-сахар была. Она ладная в девках ходила, а в бабенках еще глаже стала. Ну, хоть и сноха, а не укрою — млела она, когда мужики глаза к ней прилепляли. Да и кому это в сердце-то не кольнет, бабье мы, ох, бабье... Ну и крутила Надька, бывало, хвостом. Бы-ва-ало! А сейчас локти грызет, дура-то я, говорит, была несусветная какая.

— Сказал уж я тебе... не такая Анфиска.

— Да я те на то и отвечаю — и Надька была не такая! — упрямо возразила старуха. —

Ну че ты дальше-то будешь? Ну, в инвалидный дом тебя определят. Андрей Петрович, слышала я, говорит: «Коли, — крик, — семья от него откажется, не бросим на произвол судьбы». Так что в дом-то инвалидов всегда ведь не поздно. Но попробуй, напиши, вызови... Тогда уж видно все будет. Дети ж у тебя, кроме ее.

Кирьян громко глотнул слюну, пальцы, сжимавшие железные прутья койки, побелели на сгибах.

— Дети... Верка, дочь, — та сволочью выросла. Побрезгует и притронуться ко мне. Колька вроде бы с душой... ничего. Да тоже скоро на войну уйдет, скоро его год забреют. И Анфиска — забрезгует... Не ответит даже, может. Тогда я не переживу... Я ее, стерву, все ж таки люблю.

Голос Кирьяна хрипел, прерывался, слова он выталкивал тяжело, худая грудь тряслась.

— Не-ет! — выкрикнул он, мотая по подушке головой. — Не могу я... Н-не могу! Ей ведь не мужик, ей жеребец надобен...

Кирьян заплакал навзрыд, как-то по-детски горько и обиженно. Добрая Глафира Дементьевна сидела на табуретке, глядела на него скорбно и тоже вдруг всхлипнула, потянула к глазам полу халата.

На госпитальном дворе загудела машина. Глафира Дементьевна подошла к окошку, глянула вниз:

— Раненых привезли. Идти мне надо. Господи! — Глафира Дементьевна перекрестилась.

— Сядь, обойдутся, — сказал Кирьян теперь спокойно, негромко. — Не могу я, Глафира Дементьевна, Анфисе написать... Я от нее на фронт когда побежал, то заявил: ежели, мол, не убьют меня, домой я к тебе все одно не вернусь. С тем и сбежал...

— Как так — сбежал? — спросила старушка озадаченно.

— А так. Смех и грех, как ребяенок малый... Я на броне был, меня не брали. Так я самовольно... Ночью вышел из дому, спустился к Громотухе, отвязал какую-то лодку да поплыл вниз. На рассвете завел ее в камыши, день пролежал там... как беглый какой с тюрьмы, что ли... Ночью опять поплыл. Громотуха-то в Иртыш впадает, а там, я знал, до Семипалатного недалече... В общем, добрался я до города Семипалатинска, на вокзале очутился. А тама как раз новобранцев провожают. Перрон там небольшой, все кипит, плачь, вой... пьяные песни. Под суматоху я залез с другими вместе в теплушку да и поехал... В Алма-Ате только обнаружили, что я какой-то чужой... «Да что же ты за чудо-юдо такое? — спросил меня в военной комендатуре полковник с костьюлем. — Хохотать над тобой вроде бы неудобно. А что делать — не знаю. Впервые, — крик, — такой случай, что взрослый самовольно на фронт по-

бег. Дети — это бывает... Посадить тебя я вынужден до выяснения. Может, ты бандит какой, преступник, от правосудия скрываешься...» Я говорю: «Что ж садить-то, позвоните в село Шантару, в МТС, или телеграмму отбейте. Они вам сообщат, что я никакой не преступник». Ну, в общем, что говорить... Покрутили они меня, повертели... Сбежал я осенью сорок первого, а под Новый год меня уже ранило. Город Ливны мы тогда брали. И взяли, на окраине этого худенького городишки меня и задело в мякоть ноги...

Рана была пустяковая, в медсанбате малость подержали, да опять в бой... Ну, а потом больше года судьба миловала. Две медали получил. А нынче, в апреле, под Новороссийском... не то числа седьмого, не то восьмого... Только и помню — ка-ак жажнет рядом. Мы в наступление шли, мало-мало снаряд не в меня прямо угодил... Очнулся я аж в городе Куйбышеве. Молоденькая такая врачиха возле меня сидит в белой шапочке, а из-под шапочки волосы стекают струями. Откуда ж ты, думаю, светлая да чистая такая явилась? Из какого мира? А она: «Ну вот, поморгай, поморгай... Жить теперь будем, Кирьян Демьяныч...»

Инютин умолк, захлопал короткими белесыми ресницами, потом быстро и часто задышал, повернул голову вбок... И лишь через минуту, по-прежнему глядя куда-то в стену, захрипел:

— Жить... Добрая была она, врачиха, все улыбалась. Только ноги мои когда начнет оглядывать, закусит губы, глаза потускнеют... Сперва я думал — брезгует или стесняется... Да и самому мне стыдно было — во всем виде я перед ней. А она это, выходит, раньше меня понимала, что отходили мои ноги. Выше коленок кости все были раздробленные...

Инютин, утомившись, видно, рассказом, опять замолчал, выпуклый лоб его покрылся испариной. Он пошевелил головой, обтер лоб бледной, узкой ладонью, глянул на Глафиру Дементьевну.

— Вот, значит, как... Што-то они там, врачи, колдовали над моими ногами — то в гипс их замазывали, то... Потом вдруг в поезд погрузили, да сюда вот...

— Ну да, ну да, — закивала старуха. — У нас тут, гряд, лучше всех кости сращивают. Андрей Петрович-то умелец...

— Так что же мне не срастили? — застонал Инютин, рывком приподнимаясь. Глаза его сверкнули яростно, озлобленно, и одновременно была в них беспомощная жалоба. — Что ж он, умелец?!

— Да ведь и он не господь бог. Кабы он мог — он бы тебе свои переставил! Такая душа у него...

Кирьян упал на подушку, закрыл глаза ладонью, чтобы отгородиться от всего. Долго

лежал так, потом заговорил, не снимая ладони с лица:

— Это надо же... Отец-то у меня тоже был увечный, одноногий, на деревяшке прыгал. На японской войне ему ногу повредило. И надо же, говорю, судьба, что ли, над нами, Инютиными?! Отцу тоже тут, в новониколаевском лазарете, ногу тогда отпилили. Только ему одну, а мне обои... Ну, ты — уйди... Уйди.

Последние слова он прошептал еле слышно, обессиленный.

Все утро 15 июля начальник прифронтовой опергруппы НКВД Яков Николаевич Алейников провел в краткосрочной спецшколе разведчиков-подрывников, изучая личные дела курсантов, их успеваемость. Он, сидя за скрипучим столом, перелистывал тощие папочки, время от времени хмурился, покашливал и потирал ладонью шрам на щеке. В комнатухе начальника спецшколы капитана Валентика, отгороженной от казармы, в которой жили курсанты, кирпичной стеной с обвалившейся штукатуркой, было тихо, светло, в низенькое оконце постукивали ветки давно отцветшей сирени. За сиренью стояла машина Алейникова — в маскировочных пятнах «эмка». Слышался временами раскатистый хохот его шофера Гриши Еременко.

— Эй, вы... потише там, — крикнул Алейников, открыв окно. Но тут же он окно закрыл, опять взялся за папки.

— Вот что, капитан, — сказал Алейников, задумавшись. — Через неделю мы должны этих ребят выпустить.

— Еще по программе месяц, — осторожно проговорил капитан, человек хладнокровный, по общему мнению, бесстрашный, не раз ходивший в глубокий тыл врага, выполнявший там самые дерзкие диверсии. Но перед Алейниковым он почему-то всегда, казалось, робел.

— Какой там месяц, наступление началось, какой там месяц, — проговорил Алейников все так же задумчиво. — На эту неделю — никаких строевых занятий. Ориентация ночью на местности, изготовление и устройство взрывных систем... Все время — этому. Понятно?

— Так точно, товарищ майор.

— Ну вот... Учи, учи, потом сам с кем-то из них в тыл к немцам пойдешь.

— Вот за это спасибо! — искренне обрадовался капитан. — А то у меня, пока я тут, кровь в жилах застоялась, загустела... Когда готовиться к передаче дел?

Валентик у было около пятидесяти лет. Рослый, с широкими плечами, одно из которых было почему-то ниже другого, он прошелся перед столом бесшумно, как кошка, сел на стул.

— Ишь ты, нетерпеливый какой... Будет еще время разогреть кровь. А это что такое?

Разговаривая, Алейников давно косился на дивизионную газету, лежавшую на подокон-

нике. Край газеты свешивался, и как раз на сгибе жирно чернел заголовок: «Подвиг сибиряков-гвардейцев». Но не заголовок, а два портрета, напечатанных под ним, все время цепляли внимание Алейникова.

Яков не вставая протянул руку, взял газету. В заметке коротко, без всяких эмоций излагалась вся недавняя эпопея танкового экипажа Дедюхина, уничтожившего двенадцать вражеских машин. Заканчивалось это повествование словами: «Геройский экипаж представлен к высоким наградам, а командир танка старший лейтенант Дедюхин к званию Героя Советского Союза (посмертно). На снимках: заряжающий рядовой И. Савельев(слева) и его племянник, механик-водитель сержант С. Савельев».

Читая заметку, Алейников двигал желваками, они перекачивались на исхудавших щеках крупными стальными горошинами, лохматые брови, сильно поредевшие за последний год-полтора, то приподнимались, то раздраженно хмурились.

— Не Лев Толстой писал, конечно, — чуть усмехнулся начальник спецшколы, по-своему расценив выражение лица Алейникова. — Но мужики действительно герои.

— Не в этом дело, — сказал Алейников. — Из какой они части, интересно?

— Газета дивизии полковника Велиханова. А из какой они части — проще простого в редакции газеты узнать.

Алейников сложил вчетверо газету, сунул в карман и встал.

— Значит, выпуск через неделю. Экзамены приеду лично принимать. И новый состав курсантов будем набирать. Все соответствующие распоряжения получишь, как положено.

— Слушаюсь.

Алейников встал и начал ходить из угла в угол комнатухи, потом снял с гвоздя фуражку, зачем-то протер ее изнутри носовым платком.

— Месяц еще, говоришь, по программе? Да у нас же людей не осталось. Засылаем в тыл десятками, возвращаются единицы. Гибнут и гибнут. Почему?

— Почему? — Валентик усмехнулся, блеснул голубым пламенем глаз и сел за свой стол, где только что сидел Алейников. — Учим их плохо. Вот, опять срок обучения на три недели сократили.

— Да, может, плохо. Вот я все хочу спросить тебя... что это за фамилия у тебя такая? Как детское имя.

Капитан приподнял обвисшее левое плечо и опустил, а правое у него осталось неподвижным.

— Батяка с маткой наделили такой фамилией. И дед был Валентик, и прадед... Под Коростенем всю жизнь прожили.

— Я знаю, что под Коростенем, — сказал

Алейников мягко, спрятал носовой платок в карман, надел фуражку, плотно надвинув ее на лоб. Потом он пальцы обеих рук сунул за ремень, оправил гимнастерку и вдруг мгновенно выхватил пистолет из кобуры, прохрипел:

— Вста-ать!

Капитан Валентик от неожиданности всем тяжелым телом качнулся вперед, будто кто саданул его в спину бревном. Ладони его упали как отрубленные на стол, длинные, костлявые пальцы сжались, царапнув крышку. Глаза полыхнули, стали не голубыми, а какими-то ядовито-серыми, верхняя губа приподнялась, оголяя ровные, прямые зубы, и мелко, по-собачьи, задрожала.

Но все это продолжалось секунду-другую, потом глаза вновь стали светло-голубыми, губы растянулись в жалкую и недоуменную улыбку.

— Вы, товарищ майор, в своем уме? Что за шуточка?

— Руки! — крикнул Яков, видя, что кулаки Валентика поползли по крышке стола к ремню, на котором висела такая же, как у Алейникова, кобура с пистолетом. — Руки вверх!

Начальник спецшколы еще помедлил, потом проговорил:

— Ничего не понимаю... Да вы что, Яков Николаевич?

— Поднимай руки. И не вздумай мне! Встать — и лицом к стенке!

Капитан Валентик медленно поднял тяжелые руки, загремев опрокинутым стулом, встал. Алейников чуть кивнул головой, и капитан вышел из-за стола, неуклюже повернулся лицом к стенке. Алейников шагнул к нему, упер в лопатку пистолет.

— Малейшее движение — я стреляю...

Потом он вынул из его кобуры оружие и положил в свою, ощущал все карманы начальника спецшколы.

— Вон туда, в угол иди и сядь на табуретку.

Обезоруженный капитан опустил руки, прошел, куда ему приказали. Алейников шумно и устало вздохнул, снял фуражку, бросил ее на стол. Нагнулся, поднял стул, уселся сбоку стола, не выпуская из рук пистолета.

— Ну?

— Что — ну? — усмехнулся Валентик. Он сидел на табуретке, облокотившись о колени, низко опустив голову. — Вот вы и объясните... что все это значит.

— Ладно, — сказал Алейников. Не спуская глаз с капитана, снова приоткрыл окно. — Королева! — И закрыл створки на ржавые шпингалеты.

— Сквозняка, что ли, боитесь? — проговорил Валентик, кисло усмехаясь.

Алейников не ответил. Последние дни он много мотался по фронту, лично уточняя места перехода в тыл к немцам диверсионных групп,

проверяя, как обеспечена безопасность, жестоко простудился, двое суток у него держалась высокая температура. Но за эти двое суток он почти не прилег, на третьи — в какой-то деревушке пропарился хорошенько в бане, выпил стакан спирта и несколько часов, наконец, поспал. Утром температуры уже не было, только душил кашель.

Вошла Оля, робко и несмело вытянулась у двери. Голова ее была обвязана косынкой, из-под которой выбивались кое-где пучки коротеньких волос. От нее резко пахло больницей.

— Говори, — сказал Алейников.

— Я видела его прошлым летом, в Лукашевке, в августе, — сказала девушка, кивнув в сторону Валентика. — Он вышел из фельдкомендатуры с тремя немцами.

— В августе как раз мы тебя, Валентик, посылали в тыл для диверсии.

— Он был в брезентовом дождевике с капюшоном, лица не видать... Я думаю: что это за тип такой с немцами, кривоплечий, надо партизанам сообщить, продолжала Оля ровным голосом. — Немцы и он о чем-то говорили и пошли все вместе, я потихоньку двинулась следом. У железнодорожного переезда на краю Лукашевки все остановились. Этот откинул капюшон, они все покурили, посмеялись. Опять долго о чем-то говорили. Этот немецкий хорошо говорит. Немцы пошли обратно, а этот... за переезд, в поле пошагал.

— Мост за Лукашевкой ему мы поручили взорвать тогда, — усмехнулся Алейников. — И он его взорвал. — Алейников еще раз скривил губы. — Мы еще радовались — как все это ловко у тебя получилось, под самым носом у немцев сумел... Правда, состав с немецкой военной техникой, который должен был пройти через минуту на Курск, почему-то задержали во Льгове. Мы тогда посчитали это досадной случайностью... Состав прошел на другой день, когда мост починили.

— Ну, а партизанам я тогда так и не успела сообщить о нем... Когда немцы пошли обратно, мне некуда было деться. Я сделала вид, что только вышла из переулка. Немцы ничего не заподозрили, волосы мои начали шуршать... домой повели. Ну, а дальше, выпал как-то он у меня из памяти, забыла... Да вы знаете...

— Знаю, Оля, — сказал Алейников.

— А вчера мы за медикаментами для госпиталя в Воробьевку ездили. В этой деревушке шофер воду стал в радиатор заливать. Я из колодца поднимаю ведро, гляжу, а он идет по улице. Капитан. Одно плечо, гляжу, ниже... И в памяти у меня всплыло, вспомнила я того, в дождевике. Ну и решила вам сказать.

— Ладно, Оля, иди, — проговорил Алейников. — Лечись получше... Скажи шоферу, чтоб заправился. По пути я тебя в госпиталь завезу.

Девушка вышла, в комнате установилось молчание. Валентик все так же сидел, не поднимая головы, будто все, что здесь говорилось, его не касалось.

Только когда стал затихать шум отъезжающего автомобиля, он чуть скосил глаза в окно.

— Как же ты так неосторожно, Валентик? С немцами, среди бела дня, по деревне?

— Вот именно, — спокойно сказал Валентик, брезгливо поморщившись. — Если бы я был тот, кого вы во мне подозреваете, я бы не пошел с немцами по деревне среди бела дня. Тем более имея такую приметку — одно плечо ниже другого.

— Ты в самом деле немецкий язык знаешь?

— Слышите, в бога душу... — Валентик вдруг заматерился так яростно и смачно, что, казалось, лопнут оконные стекла. — Да вы что в самом-то деле? Мало ли кривоплечих? Мало ли кто там, с теми немцами, мог быть?!

— А почему ты этак не взорвался, когда Королева тут была? Боялся, что голос она узнает?

— Да потому что... потому что это черт знает что! В голове не укладывается! — Валентик встал.

— Сидеть! — Алейников приподнял пистолет.

— А-а, бросьте, — махнул рукой Валентик. — Какой-то глупой девчонке померещилось... Отправляйте, что ж, куда следует. Там разберутся.

Дальнейшее произошло в считанные мгновения. В голове Валентика, пока он сидел, опустив голову, и слушал рассказ Королевой, шла лихорадочная работа, он до последних долей секунды рассчитал все — и свои действия, и реакцию Алейникова, которая должна на эти действия последовать. Он понимал одновременно, что риск был смертельный, но другого выхода нет. Он надеялся лишь на какой-нибудь случай, который приходит-то, может, раз за всю жизнь, но все-таки приходит на помощь...

Когда Алейников, как Валентик и ожидал, предупреждающе крикнул: «Сидеть!» — он, устало взмахнув ладонью, начал медленно опускаться на табуретку. В эту секунду-другую, как он опять же правильно рассчитал, Алейников, видя, что Валентик покорно садится на прежнее место, чуть расслабился и приопустил руку с пистолетом. На самом же деле Валентик и не думал садиться. Будто бы опускаясь на табуретку, он напрягал сильные мышцы ног для прыжка, до того напрягал, что они заныли. И, чуть коснувшись задом табуретки, почувствовав, что ноги стали как сжатые стальные пружины, он мгновенно разжал их, зеленой щукой нырнул в бок, головой проломил оконный переплет и вместе с осколками стекла тя-

желым мешком вывалился наружу, на кусты сирени. Едва он метнулся к окну, Алейников выстрелил. Ухо и щеку обожгло — будто кипятком плеснули сбоку. «Алейников это попал или об стекле разрезал?» — промелькнуло у него в голове и пропало. Понимая, что Алейников тоже ртом мух ловить не будет, Валентик вскочил и метнулся за угол...

И вот, случай, на который он надеялся, все же произошел. Едва Валентик завернул за угол, с противоположной стороны здания подкатил «виллис», принадлежавший спецколле. Шофер, молодой парнишка, увидев окровавленного начальника, резко затормозил и, одной рукой держась за баранку, другой приоткрыв дверцу, наполовину высунулся из машины.

— Товарищ капитан, что с вами?! — крикнул шофер, мальчишечьи его глаза от удивления были круглыми.

— Скорей... в санчасть! — первое, что пришло на ум, прокричал Валентик, подбегая. И в эту секунду взгляд шофера скользнул куда-то мимо, глаза его округлились еще более. Валентик безошибочно определил, что парень увидел выбежавшего из-за угла Алейникова. Машина еще катилась, замедляя ход.

— Сто-ой! — донесся хриплый возглас, воздух расколол выстрел.

Пуля просвистела где-то сбоку. Валентик был уже возле остановившейся машины, он схватил ничего не понимающего шофера за шиворот, рванул его из машины, вскочил туда сам.

Алейников, стреляя на ходу, приближался. Мотор автомашины работал, шофер стоял в дорожной пыли на коленях, крутил головой, глядя то на Алейникова, то на начальника спецшколы. Валентик лихорадочно включил скорость, но на газ нажал плавно. «Виллис» тронулся и стремительно полетел вдоль затравенной деревенской улицы. Алейников беспорядочно стрелял вслед, пули свистели то сбоку, то сверху, одна попала куда-то в машину. «Только бы не в колесо... или не в спину мне!» — думал Валентик, сгорбившись над рулем, вздрагивая при каждом выстреле.

— Тэ-эк-с, — зловещим голосом протянул старый полковник, встал из-за стола, раздраженно захлопнул металлический колпачок на чернильнице. — То, что ты, Алейников, сразу обо всем доложил Управлению, это хорошо. Честно, по крайней мере... Но что же из-за этого Валентика прикажешь с тобой делать? В трибунал? В штрафную роту? — Полковник усмехнулся. — Кстати, в зону действия вашей опергруппы как раз на днях и направлена одна из штрафных рот.

Алейников, опустив голову, молчал.

Начальник фронтового Управления «СМЕРШ», огузневший немного, седоволосый, ходил взад-вперед мимо Алейникова, потом остановился перед ним.

— Как же это произошло, Яков Николаевич?

— Как? — Алейников вздохнул, потер шрам на щеке. — Я и стреляю прилично, с тридцати метров в копейку могу попасть. А тут словно черт за руку дергал.

— А я не о том, что ты упустил его! Это уж другой вопрос. Ты не разглядел матерого вражеского агента в своей группе!

Что было отвечать Алейникову? Да, не разглядел. Валентик — чекист с двадцатых годов, хорошие характеристики. Давно в органах, и никто до сих пор не мог его разглядеть. Но так подошло, что отвечать теперь ему. А спросить могут очень строго.

Яков, неслышно вздохнув, произнес:

— Я готов нести ответственность, товарищ полковник.

— Ответственность... — Старый чекист недовольно пошевелил усами. — Сколько он наших людей погубил?! Как за это ответить? В каком размере ответ должен быть?

Голос его был сух.

Потом начальник Управления долго молчал, отвернувшись. Наконец поднял голову, тем же недружелюбным голосом произнес:

— Вот я все хотел спросить — где это вам нарисовали... шрам этот?

— Это давно, товарищ полковник, в гражданскую. След от шашки царского полковника Зубова. Он был командиром карательного отряда, там, у нас, в Сибири. Много он нам тогда... нашему партизанскому отряду, хлопот принес. А потом мы накрыли его на одной таежной заимке...

— Ну? И, надеюсь, не упустили? — полковник глядел на Алейникова, чуть вскинув подбородок.

— Нет... Его зарубил командир эскадрона из нашего отряда Федор Савельев.

— Кто?

— Савельев Федор Силантьевич, — повторил Алейников. — Который служит сейчас в Шестоково у немцев...

— Да, да, помню, ты докладывал об этом Федоре Савельеве, своем землячке, — с усмешкой проговорил начальник Управления. Но тут же усмешка исчезла, он нахмурился и, глядя куда-то помимо Алейникова, раздумчиво произнес: — Шестоково, Бергер, Лахновский...

— А сейчас могу доложить еще о двух Савельевых. О сыне и младшем брате этого Федора.

Полковник поднял на Алейникова вопросительный взгляд. Но вместо ответа Яков вытащил из планшета газету, взятую с подоконника в спецшколе, протянул начальнику Управления.

Тот сначала надел очки, взял газету, поглядел на портреты и стал читать заметку, рассказывающую об эпопее танкового экипажа Дедюхина.

Пока он читал, Алейников пытался представить себе таинственную деревушку Шестоково, находящуюся в нескольких десятках километров юго-западнее Орла. В Орле был центр немецкой разведки «Виддер», а в лесной деревушке Шестоково — одно из многочисленных отделений «Виддера» — «Абвергруппа-101», начальником которой являлся капитан Бергер. Эту «Абвергруппу» охраняла так называемая «Освободительная народная армия» под командованием штандартенфюрера, то есть полковника Лахновского. В «армии», насчитывающей всего около двухсот человек, во взводе охраны и служил Федор Савельев.

Обо всем этом еще весной доложил Метальников, перевербованный агент Бергера. Попав в немецкий плен, бывший сержант Красной Армии Метальников после специальной обработки и обучения был под видом бежавшего из концлагеря внедрен Бергером в партизанский отряд Кондратия Баландина, действующий в Орловской области. Метальников немедленно рассказал, кто он такой на самом деле. Баландин с людьми Алейникова, часто бывавшими в отряде, переправил его через линию фронта в штаб прифронтовой оперативной группы, где Метальников и доложил о составе «Абвергруппы-101» и «Освободительной народной армии», в том числе и о Федоре Савельеве и Лахновском.

— Не может быть! — не удивился даже, а почему-то ужаснулся Алейников. — Ну-ка, все приметы каждого! Подробно.

Приметы говорили, что это именно тот Лахновский Арнольд Михайлович, за которым Алейников гонялся по лесам после гражданской, и тот Савельев, Федор Силантьевич...

А потом, с помощью того же Метальникова, были добыты их фотографии. «Как они там оказались? Как?» — раздумывал Алейников о Лахновском и о Федоре Савельеве.

Но этого он не знал до сих пор.

Прочитав до конца заметку, начальник Управления молча вернул газету, встал из-за стола и подошел к окну.

— А отца этих Савельевых — Федора и Ивана — полковник Зубов повесил, — сказал Алейников.

— За что? — повернулся от окна начальник Управления.

— Старик помог нашему партизанскому отряду укрыться в горах. Показал путь в неприступную теснину.

— Вот оно как! — полковник хотел снова сесть за стол, но не сел, а лишь снял очки и положил на него. — Ну-ка, расскажите мне подробнее о всех этих Савельевых. В высшей

степени это интересно... И тем временем чайку поьем.

Он нажал кнопку за креслом. Тотчас в кабинет вошел тщательно отутюженный лейтенант, подстриженный еще по-мальчишески, вытянулся так, что, казалось, порвет у себя внутри какую-нибудь жилу. Полковник попросил, чтобы им принесли два стакана чаю, и сел, наконец, за стол.

— Ну, что же вы молчите? Говорите.

Но о чем говорить? Как рассказать начальнику Управления о сложной и запутанной истории семьи Савельевых, в которой и сам-то Алейников никогда не мог до конца разобраться? И чем дольше он молчал, тем больше терялся под взглядом полковника.

— Что, задает задачки жизнь? — усмехнулся вдруг полковник, по-доброму, по-стариковски.

— Задает, — кивнул Алейников с облегчением.

— Да, жизнь — это как учебник алгебры. А на каждой странице десятки задач со многими неизвестными.

Вошла пожилая женщина в белом передничке — официантка столовой при Управлении, принесла чай и печенье горкой на тарелке. Аккуратно поставила перед каждым стакан и бесшумно вышла. Когда за ней закрылась дверь, Алейников, двигая ближе к себе стакан, проговорил:

— По всем внешним признакам... на теперешнем месте Федора должен бы Иван быть, а он... Про Ивана Савельева видите что пишут. Его и сына Федора — Семена — к ордену Ленина представили.

— Что же это за внешние признаки?

— Иван был во время гражданской в белобандитах... В наших краях тогда местный богатырь Кафтанов со своим отрядом зверствовал. В его отряде и служил Иван.

— Вот как! — удивленно произнес начальник Управления.

— Да. Потом я лично его два раза сажал.

— Гм... — полковник отхлебнул из стакана.

— Второй раз, вероятно, напрасно. В тридцать пятом году. Как раз старший брат Федор и донес на него — коней, говорит, колхозных украл, мстит Советской власти, контра, за отсидку в тюрьме. За первую отсидку, значит...

— Что же ты не разобрался — украл или не украл?

— Кони действительно пропали. И Федору я поверил... Был он, я говорил, лихим рубакой, командиром эскадрона в нашем партизанском отряде.

— А теперь у немцев служит... А по внешним, как ты говоришь, признакам не должен вроде.

— Именно, что по внешним... — Алейников нахмурился, стал глядеть куда-то в сторону, забыв про чай. Потом отодвинул почти полный еще стакан, криво усмехнулся. — Правильно вы говорите: жизнь — как задачник алгебры... Женился Федор на дочке этого самого Кафтanova, который бандой верховодил.

— Да? — полковник приподнял и опустил седые брови. — Так, может быть, это обстоятельство как-то объясняет, что Савельев Федор сейчас...

— Нет, — резко, резче чем положено, проговорил Алейников. — Именно это обстоятельство тут ничего не объясняет. Анна Кафтanova была тоже в нашем партизанском отряде, воевала не за страх, а за совесть. И вообще она женщина... как бы вам сказать... Она человек настоящий. Но судьба у нее. По приказу отца бандиты из его отряда тогда поймали ее. Отец повез ее лично расстреливать. Но перед этим опозорил ее... Когда отец повез ее на расправу, Иван этот... Он ее любил, видимо. Он поспешил следом, догнал где-то их. Кафтанов еще не казнил дочь... но остальному Иван помешать не успел... В общем, в схватке Иван застрелил Кафтanova, тело привез к нам в партизанский отряд. Но я... я не поверил ему. Думал — головой атамана хочет выкупить свое бандитство... В общем, хотел я его расстрелять тогда. Но Анна кинулась мне и Кружилину, командиру нашего отряда, в ноги, все рассказала... Об одном только умоляла — никому никогда не говорить о ее позоре. Иначе, говорит, повешусь... И тогда мы отдали под суд Ивана...

Начальник Управления поднялся, грузно начал ходить из конца в конец своего небольшого кабинета, застеленного длинной ковровой дорожкой. За окном палило солнце, било в стекла, заливало кабинет ярким светом, и полковник задернул штору.

— Ну, а Федор... знал, что сделал этот Кафтанов с дочерью?

— Не думаю, — проговорил Алейников не сразу. — Он полагает, что сделал это Иван. Из-за этого у них в семье, я знаю, всю жизнь отчужденность и слезы...

Начальник Управления еще раз не спеша, обдумывая что-то, прошелся по кабинету, остановился напротив Алейникова.

— Значит, то обстоятельство, что Федор этот Савельев женился на дочери бывшего кулака и предводителя антисоветской банды, ничего не объясняет... А что же объясняет? И почему теперь ты веришь в честность Ивана Савельева?

Алейников сидел, погруженный в свои мысли, и будто не слышал вопроса.

— Не можете ответить?

— Это трудно, товарищ полковник... Вот я вспоминаю все, что знаю о них обоих... О их жизни и поведении еще до революции и после.

Все их слова, поступки... голос, каким они произносили слова, выражение глаз при этом... И все это окрашивается сейчас для меня совсем другим светом, чем тогда. И я вижу: Федор чужой нам человек по духу, по внутренней сути... А Иван — свой. Эту задачу я не мог решить до сих пор. Как и многие другие... И потому я просил в свое время, как вы знаете, освободить меня из органов.

— А сейчас подтверждаете свою просьбу? — начальник Управления сидел за столом прямой и строгий. Он не спеша протянул руку за очками, надел их и стал холоднее, официально.

— Сейчас... не подтверждаю, — тихо произнес Алейников.

Начальник Управления удовлетворенно кивнул, пододвинул к себе какие-то бумаги, начал читать их, будто забыв об Алейникове. Тот сидел, покорно ожидая своей участи.

Наконец начальник фронтового Управления медленно и тяжело поднял голову. Но проговорил совсем не то, что ожидал Алейников:

— А вам не кажется, что этот Валентик мог быть агентом Бергера? Или как-то связанным с ним?

— Это... это вполне может быть, — ответил Алейников. — Но данных нет...

— Данных нет, — усмехнулся полковник. — Если бы они были, он, надо полагать, не процветал бы у нас тут столько времени.

Слово «у нас» Алейников сразу же отметил, уловил, в душе шевельнулось облегчение.

— Ты его упустил, тебе его и поймать хорошо бы.

— Я готов выполнить любое задание, товарищ полковник.

— А задание тебе будет такое. Видимо... скоро начнутся бои за Орел, и шестоковская «Абвергруппа», понятно, в связи с приближением наших войск уберется куда-то подальше, на новое место. Наша задача — не допустить этого, уничтожить ее и захватить все документы. У Бергера могут быть ценные документы, касающиеся других групп «Виддера». Как это сделать?

— Сейчас у нас единственная возможность — с помощью партизанского отряда Баландина, — быстро сказал Алейников.

— Это понятно. Я говорю — подумай, как это сделать, кого из чекистов возьмешь с собой в тыл... Словом, разработай весь план операции, который мы согласуем с Москвой...

— Слушаюсь, товарищ полковник! — с откровенным теперь облегчением воскликнул Алейников.

Решение уйти из органов внутренних дел у Якова Николаевича Алейникова созрело окончательно через несколько месяцев после

начала войны. Но мучительные отношения с Верой Иногиной послужили причиной того, что рапорт на имя начальника Управления НКВД по Новосибирской области с просьбой освободить его от работы и отправить на фронт всю осень 1941 года пролежал в громоздком железном сейфе, стоявшем в углу его служебного кабинета.

Последний неимоверно тяжкий разговор с Верой в тот непогожий осенний день как будто острым ножом исполосовал, искромсал все в груди, свиставший за окном ветер словно выдул из него все живое, застудил кровь, ладони стали холодными, как ледышки. На второй или третий день после этого разговора он вспомнил о рапорте, достал его из сейфа, перечитал, разорвал, написал новый, более сдержанный и лаконичный, запечатал в пакет. Однако направлять в область его не стал, а повез в Новосибирск сам.

Алейникова принял начальник Управления. Он молча взял рапорт, прижал бумагу обеими руками к столу, будто листок непостижимым образом мог улететь, стал читать, склонив лобастую голову. Рапорт он прочел, видимо, несколько раз, Алейников терпеливо ждал, смотрел, как пошевеливаются складки на широком лбу начальника Управления. Наконец тот приподнял голову. В серых глазах его не было ни осуждения, ни одобрения.

— Ну, а причины? — спросил недружелюбно.

— Причины изложить трудно, — сказал Алейников. — Я просто... просто чувствую, что не способен больше к чекистской работе.

— Что значит — не способен?

Алейников долго молчал, потом вздохнул и произнес:

— Существует такой термин — моральный износ...

Начальник Управления молча усмехнулся.

— Попытайтесь все же меня понять.

— Хорошо. Я посоветуюсь с секретарем обкома партии Иваном Михайловичем Субботиным.

— Простите, почему именно с ним?

— Потому что меня тоже должен кто-то попытаться понять. Решить это, — начальник Управления показал глазами на рапорт, — не так-то просто, не понимаешь, что ли?

— Понимаю, — уныло произнес Алейников.

— Пока поезжайте к себе и работайте. А если этот вопрос как-то решится — мы сразу сообщим.

Прошел месяц, другой. Наступила зима, навалило снегу. Невиданное количество снегу выпало в последние дни 1941 года. Яков любил ходить по нему, увязая по колено, вдыхая свежий, острый запах мерзлых тополей и сосен, который будто залечивал раны, разгонял кровь. Ответа из Управления все не было.

Наконец через неделю после Нового года раздался звонок из Новосибирска. Начальник отдела кадров Управления сухо и коротко сообщил Алейникову, что скоро, видимо, будет назначен новый начальник Шантарского райотдела УНКВД.

— А относительно моей просьбы на фронт? И вообще — об увольнении из органов?

— По этим вопросам ничего не могу сказать. Сообщим, как что-то решится.

Новый начальник райотдела прибыл одновременно с поступившим приказом об освобождении с этой должности Алейникова. Яков начал передавать дела, ожидая приказа об увольнении из системы внутренних дел, а вместо этого где-то в феврале пришло предписание отправиться в Москву в распоряжение самого Наркомата. Он позвонил в Новосибирск, и начальник Управления разъяснил:

— Яков Николаевич, я пытался тебя понять по-человечески и сделал все, что мог... В Наркомате работает мой товарищ по гражданке Дембицкий Эммануил Борисович, доброй души человек. Мы с ним когда-то под Перекопом барона Врангеля громили. В Сиваше чуть не утонули. Вот в его распоряжение и поступишь... Желаю тебе больших успехов, Яков Николаевич.

Начальник Управления помолчал несколько секунд и усмехнулся в трубку.

— Насчет морального износа, Яков Николаевич... Я тут все справки навел. По отношению к нашему брату-чекисту его не существует. Ну, счастливо тебе.

...Мартовская Москва была залита солнцем, с крыш капало, по центральным улицам, запруженным народом, часто проходили колонны войск, иногда нескончаемыми вереницами шли танки, тягачи с орудиями, бронетранспортеры. Во время воздушных тревог вся техника останавливалась, замирала, улицы пустели... Ночами огромный город погружался во мрак, нигде ни огонька, каменные громады домов казались пустыми.

Майор Дембицкий, круглолицый, горбоносый еврей, с лицом, беспощадно изрытым когда-то оспой, встретил Алейникова с вежливой улыбкой, но сдержанно, даже настороженно.

— А-а, давно ждем вас, — проговорил он, когда Яков представился по всей форме. — Садитесь, рассказывайте. Значит, решили было из нашей системы уволиться? Почему? Устали?

Дембицкий говорил, а сам все ощупывал Алейникова с ног до головы, вправо и влево водил горбатым носом, будто заглядывал сбоку и хотел оглядеть даже со спины. Все это Алейникову было неприятно — и то, что наркоматский этот майор таким бесцеремонным образом изучает его и что ему известно о его рапорте и намерении уйти из НКВД. Но обижаться

Яков не собирался, отлично понимая, что в их Наркомате каждый, кому положено, знает о другом абсолютно все. Дембицкому, значит, было положено.

— Я готов выполнить любой приказ... любое задание, — сказал Алейников невольно.

Дембицкий кивнул, как бы принимая это к сведению. Но Яков почувствовал, что майор удовлетворен не его словами, а чем-то другим, тем, что он сумел разглядеть в нем, и подумал, что он, Алейников, в общем, не очень красиво сейчас выглядит со своим рапортом и со своей просьбой освободить его из органов НКВД, но что люди, занимающиеся его судьбой, сделали все возможное, чтобы осторожно, не причиняя лишних травм, вывести его из критического состояния.

— Дней через семь-восемь мы вылетаем в Краснодар, оттуда в Керчь, а оттуда в Феодосию. Пока, в общем, отдышайте и настраивайтесь на особый лад. Понимаете, на какой?

— Примерно... — сказал Алейников.

— А надо — не примерно! Человек, отправляющийся в тыл врага, должен подготовиться к этому... всесторонне. Очистить мозг от всякого тылового мусора и хлама, каждый нерв подтянуть. Голова должна быть легкой и ясной, но не пустой... Там, в тылу врага, все будет иным — и запаха ветра, и цвет неба над головой. И отсчет времени будет другой.

— Я понимаю.

— А теперь идите.

Но каков запах ветра и отсчет времени для человека, находящегося в тылу врага, Яков Алейников узнал не скоро.

В оккупированную Феодосию оперативной группе Дембицкого проникнуть так и не удалось. Майор доложил об этом в Наркомат, оттуда получил, видимо, не очень радующий его ответ, целый день ходил хмурый, потом объявил:

— Приказано: организовать из местного населения противодесантно-истребительный отряд с задачей содействовать сухопутным войскам в обороне побережья и препятствовать высадкам вражеских морских десантов.

Конец марта и весь апрель группа Дембицкого контролировала южное побережье Керченского полуострова.

Вначале Яков Алейников, прибыв в недавно освобожденную Керчь и глядя на полуразрушенный город, как-то не ощущал, что оказался на фронте, куда так стремился, чтобы сбросить с себя прошлое, забыть его, выжечь огнем. Но вокруг были новые люди, суматоха, неразбериха. Свою работу там, в занятой врагом Феодосии, он себе не представлял. Он словно забыл, что в молодости был лихим разведчиком в партизанском отряде Кружилина.

Тогда он тоже нередко проникал в самое расположение белогвардейских и карательных частей. Или даже не забыл, а просто считал, что между гражданской войной и вот этой битвой с фашистами большая разница. Гражданская война казалась ему сейчас и не войной вроде. Ну, в крайнем случае — шашку в руку, да и пошел крошить...

Вскоре Яков убедился, что огня и тут хватает с избытком. В первую же попытку проникнуть за линию фронта фашисты едва не окружили и не уничтожили их ночью, в пыльной степной лощине. Алейников, побледнев от какой-то внутренней ярости, чувствуя, как сердце обдирает давно забытый холодок, от которого прочищается мозг, ум делается ясным и дерзким, с разрешения Дембицкого под покровом темноты выполз из лощинки, почти окруженной немцами, ужом проскользнул метров на семьдесят в сторону вдоль старой траншеи, по обеим сторонам которой наступали немцы. С собой взял только восемь гранат (по две в руках, а четыре сунул за ремень, по паре сбоку, чтоб не мешали ползти), автомат же свой протянул Дембицкому.

— Ты что! — прохрипел Дембицкий изумленно, будто все остальное, что намеревался сделать Алейников, его не удивляло. — Да они тебя, безоружного, голыми руками возьмут, погибнешь там...

— Ну, там ли, в одиночестве, тут ли, в компании, какая разница! — усмехнулся Алейников. — Вы только не теряйтесь. У вас будет минуты две-три, пока они опомнятся и разберут что к чему. Автомат мне только мешать будет.

План Алейникова был безрассуден, но именно безрассудством и рассчитывал Яков ошеломить немцев.

Оказавшись, таким образом, среди окружающих лощину врагов, в самой их гуще, он подождал, пока фашисты поднимутся для решающего броска, и, привстав на колени, швырнул одну гранату вправо, другую влево и сразу же упал плашмя на дно траншеи. Ухнули раз за разом, с промежутком в несколько секунд, два взрыва, над его головой просвистели осколки. Мгновенно приподнявшись, Яков не различил во мраке ни одной фигуры и понял, что план его, кажется, удался. Немцы растерялись и залегли, они не могли, видимо, сообразить, откуда кинули гранаты, каким образом русские, только что стрелявшие из лощины, оказались здесь, в самой середине наступающих цепей. Алейников швырнул еще две гранаты в разные стороны, стараясь, чтобы они упали как можно дальше. Едва вздыбилась земля, он, отчетливо боясь теперь, что его заметят, сильно согнувшись, пробежал вперед и опять бросил в ту и другую стороны по гранате. Переждав взрывы, еще сделал несколько

скачков вперед. Свистнула возле уха одна, другая пуля. Его заметили.

Он бросил по сторонам последние две гранаты и, обдирая руки и колени, торопливо пополз вдоль траншеи обратно.

Немцы подняли беспорядочную стрельбу, пули густо пронизывали воздух над его спиной. Алейников слышал их горячий полет, сердце его стучало, как молоток. «Неужели выберусь, неужели выберусь?!» — колотило в виски, он чувствовал, что спина его, в которую могла ударить пуля, будто омертвела, по щекам стекает холодный пот.

В лощине уже никого не было. Дембицкий, воспользовавшись замешательством немцев, увел группу, как было условлено, оставив на том месте, где недавно лежал, отстреливаясь, Алейников, его автомат. Этого условлено в горячке не было. Яков понял, что Дембицкий оставил автомат на всякий случай, мысленно благодарил его, схватил оружие и запасной диск, лежавший рядом, встал во весь рост и побежал.

Группу он догнал за отлогим холмом, спускающимся к морю. Сзади все еще шла яростная стрельба, немцы, думая, что русские решили прорваться в их тыл, поливали огнем пустое пространство.

— Ну — маневр! — прохрипел на бегу Дембицкий, когда появился рядом Яков. — Не зря мне о тебе говорили... Слава богу, что живой! Не надеялся...

Сзади стрельба стала затихать, немцы, видимо, образумились, начали пускать ракеты, пытаясь обнаружить, куда же делись проклятые русские. Над сопкой, которую чекисты огибали, медленно и лениво мигало бледно-желтоватое зарево. Может быть, немцы находились уже в лощине, но группе Дембицкого теперь это было все равно: обогнув сопку, они вошли в проход во вражеском минном поле, специально проделанный для них два дня назад саперами. Сразу же за минным полем начинались наши позиции...

Огонь войны ничего не выжиг в душе Якова, прошлое не забывалось, оно только отодвинулось куда-то далеко-далеко. И там, в этом далеке, жили Иван Савельев, Василий Засухин, Данила Кошкин и многие-многие другие. Где они сейчас, что с ними, Яков не знал. А знать хотелось, было любопытно, как же они сейчас себя ведут и что делают, если живы, — именно сейчас, когда началась война, когда враг топчет родную землю? «Да, если живы... — усмехался не так уж редко Алейников и мрачнел, чувствуя к себе откровенную неприязнь. — А где ж этот... тип, Полипов Петр Петрович? Тоже ведь на фронт ушел?! Вот он, Яков, воюет и будет воевать за эту землю, на которой вырос, не за страх, а за совесть, до последнего дыхания. Неужели и Полипову так же

дорога эта земля, этот воздух, синева над головой?»

На все эти вопросы, как и на множество других, ответить себе Алейников не мог и понимал, что ответа не узнает теперь, видимо, до конца войны, до победы, в которой он ни на минуту не сомневался. До тех пор, пока не вернется в Шантару, если, конечно, останется жив. А остаться в живых надо. Есть долги, которые пора заплатить. Как сказал тогда Кружилин, чертов мужик, умеющий видеть жизнь человеческую насквозь: «Ты вот нашкодил в жизни. И теперь в кусты? Нет уж, дорогой мой товарищ! Давай уж, раз оно так вышло, вместе и объяснять... что произошло!»

Части, оборонявшие Керченский полуостров, были направлены в тылы на переформирование и доукомплектовку, а группе Дембицкого Наркоматом было приказано поступить в распоряжение Краснодарского УНКВД.

— Считайте это отгуском, — усмехнулся Дембицкий, объявив группе распоряжение Наркомата. Но тут же, потушив улыбку, прибавил: — Обстановочка, сами знаете, не радует. Со стороны Ростова немцы жмут на Краснодар еще крепче, чем из Феодосии на Керчь. Нам приказано помогать краснодарским чекистам эвакуировать из угрожаемых районов промышленные предприятия, государственные ценности, колхозный скот и хлеб. Нынче там урожай, говорят, удался небывалый...

Весь конец мая и первую половину июля Алейников во главе группы из пяти человек ездил по селам и станицам, организуя и контролируя совместно с партийными и советскими работниками отгон в тыловые районы колхозного скота и вывозку хлеба. Урожай действительно удался невиданный, для уборки его были привлечены находящиеся на отдыхе воинские части, призывникам в Красную Армию предоставили отсрочки. Не хватало вагонов, трудно было найти для сопровождения колхозных гуртов достаточное количество людей. Почти круглосуточно Алейников был на ногах. Он уже забыл, что он военный, забыл крымское пекло, принимал участие в заседаниях правлений колхозов, где обсуждались маршруты следования гуртов, собирал по автобазам и конным дворам автомобильные и гужевые колонны, формировал бригады погрузчиков зерна, искал шоферов, ездовых, погонщиков быков, выбивал у станционного начальства вагоны под хлеб, организовывал их погрузку...

После двадцать четвертого июля, когда снова пал Ростов, фронт стал неудержимо приближаться к Краснодару. Немецкие самолеты и раньше частенько прорывались в знойное кубанское небо, теперь они бороздили его беспрерывно, на бреющих полетах расстреливали

колонны грузовиков и подвод с хлебом, гурты скота, яростно бомбили железнодорожные эшелоны.

— Ну-с, Яков Николаевич, расстаемся, — как-то даже обрадованно проговорил однажды Дембицкий, вылезая из машины. Алейников сидел на земляной кочке, мрачно глядел на простирающуюся перед ним речную луговину, густо усеянную коровьими и бараньими тушами, изрытую глубокими воронками. Полчаса назад четыре вражеских бомбардировщика загудели в небе. Они шли над лентой Кубани довольно низко, высматривая, видимо, пригнанные на водопой гурты. Обнаружив цель, которую искали, сделали по два захода. Обезумевший рев животных, крики погонщиков, грохот бомбовых разрывов и вой самолетных моторов все еще стояли в ушах Алейникова.

— Почему расстаемся? — спросил Яков.

— Почему? — вздохнул Дембицкий. — Кубань и Кавказ немцы хотят захватить любой ценой. Оно понятно — нефть, хлеб... мясо вот.

Колхозники на лугу стаскивали растерзанные туши в бомбовые воронки, засыпали сверху землей.

— Мне приказано в Майкоп с половиной группы. Ты с другой половиной группы остаешься пока в Краснодаре. Городок не так и велик, а промышленность кой-какая есть. Немалая даже... Все, что успеете, — вывезти. Остальное — взорвать. Ни один станок не должен достаться немцам.

На берегу Кубани горело несколько костров, над кострами висели черные, закопченные ведра и казаны.

— Ты, что ли, поспособствовал моему повышению в должности?

— Да, это я посоветовал назначить тебя во главе остающейся спецгруппы, — сказал Дембицкий. — Я видел тебя там, в Крыму. И здесь... Новосибирцы были правы, характеризуя тебя. И мне, признаюсь, жалко с тобой, Яков, расставаться... Соответствующий приказ Наркомата и все инструкции тебе будут завтра.

Алейников помолчал, наблюдая за зеленой навозной мухой, ползающей по его сапогу. В руках у него был прутик, он стегнул им по ноге, но в муху не попал. Отбросил прутик и поднялся.

— Ну что ж... Пойдем, Эммануил Борисович, я тебя на прощание свежей бараниной угощу. Видишь, сколько парного мяса навалено.

Алейников говорил, а синий шрам на его щеке нервно дергался.

215-я стрелковая дивизия, которой были приданы 3-й гвардейский танковый и 107-й истребительно-противотанковый полки, несколько дней пятилась назад, не в силах сдержать

остервенелый натиск врага, неся большие потери в живой силе и технике, пока не уперлась в стену искореженного снарядами соснового леса, огибающего большое село Жерехово. Наступление немцев, судя по всему, еще не выдохлось, но у них явно начал ощущаться недостаток в боеприпасах, и у кромки леса фашистов удалось остановить. Бойцы 215-й немедленно начали окапываться, строить противотанковые опорные пункты.

Яков Алейников в приподнятом настроении, в котором он находился все эти три дня после разговора с начальником фронтового Управления «СМЕРШ», подъезжая утром к Жерехову, издали поглядывал на дымные столбы, поднимающиеся над селом. Справа, где-то далеко, шел бой, оттуда доносился задавленный расстоянием, едва внятный гул. Горизонт слева был застлан низкими тучами, днища их временами освещались не то вспышками молний, не то пушечными выстрелами.

— Втюриться можем, товарищ майор, — проговорил шофер Гриша Еременко. — Если жиманут немцы, можем попасть как куры в похлебку.

— Боишься? — разжал Алейников спешившие губы.

Гриша скривился, демонстративно плюнул в окно.

— Бензина полный бак, удерем. Лишь бы осколком бак не продырявило, как однажды...

Шофер этот, курносый парень лет двадцати пяти, был на вид мешок мешком. Алейников встретил его в августе сорок второго года в Краснодаре, когда шли тяжелейшие бои на его ближайших подступах. Город был обречен, некоторые части и службы 56-й армии, оборонявшие город, уже переправлялись на южный берег Кубани. Алейников, занимаясь порученным делом, метался по городу и на одной из улиц остановил военный грузовик, попросил подвезти до ремонтно-механического завода.

То сбоку, то сзади, то спереди часто ухало, и порой нельзя было разобрать — вражеский снаряд это разорвался или рухнула стена какого-то сгоревшего здания. При каждом взрыве шофер, как казалось Алейникову, вздрагивал и ниже припадал к баранке.

— Боишься? — спросил его опять Алейников. И шофер, как и сейчас, сплюнул в проем дверцы грузовика и ответил:

— Бензина полный бак, удерем.

В голосе шофера была усмешка. Даже не усмешка, а насмешка. «Ишь, петух...» — одобритительно подумал Алейников и спросил:

— Как звать?

— Гришкой...

— А фамилия?

— Зачем вам? Может, вы шпион какой. Я вообще жалею, что посадил вас.

Теперь Алейников улыбнулся.

— Это верно, я шпион, — сказал он, чувствуя в душе озорство. — А ты — командующий армией, замаскировался, понимаешь, под шофера. Вот сейчас я тебя в мешок — и к немцам.

Шофер, однако, уже не слушал его. Он резко нажал на тормоза, потом рванул переключатель скоростей, грузовик взвыл и торопливо попятился назад. Алейников даже не успел сообразить, что же это такое делает шофер, как впереди, как раз на том месте, где мог быть грузовик, горбом вспухла улица. Земля качнулась, подбросив машину, мотор заглох.

Шофер выскочил из кабины, Алейников за ним. Оба они остановились перед дымящейся горой крупных обломков кирпичной стены рухнувшего здания. По грязному лицу шофера струями тек пот, и парень старательно вытирал его платочком.

Перед этой горой они стояли, безмолвные, с минутой.

Потом, когда ехали по какому-то узкому переулку, Алейников проговорил:

— Вовремя ты увидел, что стена падает...

— Увидишь тут в таком дыму.

— Отчего ж попятился?

— Почуялось мне просто, что вот-вот она упадет. Опахнуло чем-то таким... замогильным. Это я всегда чую, когда смерть рядом...

Через несколько минут Алейников попросил его высадить и, прощаясь, сказал:

— Спасибо, Гриша. В долгу я у тебя.

— Ну и не забываюте, — откликнулся парень. — А то больше не буду давать в долг. Фамилия моя, между прочим, генеральская, Еременко.

Когда закончилась оборонительная операция войск Приморской группы Северо-Кавказского фронта на Краснодарском направлении, Алейников за успешное выполнение заданий Наркомата Внутренних дел был награжден орденом Красной Звезды и получил назначение в другую прифронтовую специальную оперативную группу НКВД в качестве ее начальника. Группе были поручены разведывательно-диверсионные действия в тылах вражеских войск, наступающих со стороны Курска на Воронеж. Алейников отыскал в войсках рядового Григория Еременко и взял к себе шофером. Несмотря на внешний мешковатый вид, Гриша, как Алейников и предполагал, оказался человеком незаурядным. Выносливости у него было на пятерых. Осторожный и осмотрительный в обычной обстановке, хотя это он всегда маскировал напускной бесшабашностью, в критические минуты он становился, как и сам Алейников в молодости, до безрассудства отчаянным и дерзким. Но это только на первый взгляд. Все поступки Григория строились на трезвом расчете и невероятном хладнокровии. Так, однаж-

ды, возвращаясь дождливой осенней ночью с переднего края (Алейников тогда лично провозжал разведывательную группу в тыл врага), они попали под шквальный артиллерийский огонь. Осколком снаряда пробило бензобак, машина вспыхнула кистром. Еременко вытолкнул Алейникова из кабины в грязь, схватил свой автомат и вывалился из машины сам, тотчас вскочил, закричал, чтобы майор отбежал прочь. Буквально через несколько шагов опять же грубым толчком повалил Алейникова на землю, и, едва они упали, автомобиль рвануло, над головой провистел огонь, опалив волосы, провизжали ошметки разлетевшегося во все стороны металла.

Они потом отползли в какую-то канаву метрах в тридцати от дороги, лежали в ней, пережидая яростную артподготовку врага и соображая, что теперь делать.

— Что это они лупят-то по пустому месту? — спросил Еременко.

— Черт их знает. Может, думают, что тут вторая полоса обороны...

Вскоре пальба стихла, только сзади, где были расположения наших войск, земля стояла от разгорающегося бб

— Надо, наверное, назад, к своим, — произнес Григорий, привставая и нюхая, как зверь, мокрый воздух. — Какую-нибудь машину дадут... Да нет, кажется, поздно.

Через мгновение и Алейников понял, что поздно: из-за чернеющей в туманном рассвете кромки леса выползла, пронизывая густой еще мрак светом фар, вражеская танковая колонна, нарастал лязг гусениц. Колонна спустилась в лощину, скрылась из глаз, а минуты через четыре снова появилась уже совсем близко.

Они пролежали в этой канаве под дождем около часа, наблюдая сквозь кустарник, как прошла мимо танковая колонна, потом потащились немецкие грузовики с пехотой.

— Прорвали нашу оборону! Вот это влипли мы, вмазались, как два яйца в горячую сковородку, — непрерывно шептал Еременко.

— Перестань выты! — рассерженно прикрикнул Алейников.

Еременко умолк, уголки его по-мальчишески розовых губ обиженно опустились.

Дождь все накрапывал, мелкий и нудный, он давно промочил насквозь Алейникова и Григория. Алейников чувствовал, как по его лопаткам на ребра стекают обжигающие струйки, челюсть его подрагивала от холода, он думал, что если они и выпутаются из этого положения, в котором вдруг очутились (что очень маловероятно!), воспаление легких ему обеспечено. Гриша Еременко отделается, конечно, чирьями, его, дьявола, никакая простуда не берет. Но он все равно зайвится в санчасть, и молоденькая врачиха Валерия вспыхнет до корней волос, вскрыет ему чирьи, ранки залепит

пластырем и хоть на день, на два, но уложит его в постель. А потом ее красивые и добрые глаза будут зеленеть от ревности, длинные пальцы будут от волнения подрагивать, потому что к Гришке обязательно начнут бегать машинистки и шифровальщицы опергруппы. Каждая хоть раз, да навестит. Что они, весь подчиненный ему, Алейникову, женсостав, найдут в этом невзрачном на вид парне?

— Григорий... с Валерией у тебя серьезное что-нибудь? — спросил Алейников, сам чувствуя, что вопрос в этой обстановке прозвучал как-то неуместно.

Еременко, разламывая крепкими зубами веточку, недоуменно поглядел на своего начальника. И, ухмыльнувшись, ответил:

— А как же... Спирту у нее сколько хошь.

Вот так у Григория, если дело не касается службы, никогда не поймешь — серьезно он говорит или балагурит.

— Ну, гляди у меня, жеребец! — воскликнул Алейников, чувствуя к своему шоферу в эту секунду откровенную неприязнь. — Зря я взял тебя. Придется откомандировать из опергруппы... хоть у тебя и генеральская фамилия.

— Пожа-алуйста... Поплачу и перестану. — И вдруг Еременко сразу насторожился: — Одиночный. А? Легковушка.

Он чуть приподнялся на локтях, вытянул худую шею, глядя вправо. Алейников тоже услышал едва внятный звук мотора, а потом и увидел зеленый открытый армейский автомобиль, выкатившийся из-за кромки леса, откуда недавно выползла танковая колонна. Автомобиль нырнул в лощину и через три-четыре минуты появился из низины.

Автомобиль приближался медленно, ныряя по ухабам. Еременко глядел на него напряженно. И вдруг ноздри его раздулись и задрожали.

— Какая-то шишка едет, а? Видать, небольшая, раз без охраны...

Еременко умолк, закусил губу. Немецкий автомобиль приближался. Алейников теперь различал, что в автомобиле было всего двое — шофер и, видимо, какой-то офицер в черном плаще.

— Товарищ майор! — прошептал Григорий. — Надо захватить машину! Сядем вместо них да поедем...

Алейников думал о том же, вынимая из кобуры пистолет. Кроме этого пистолета да автомата у Еременко оружия у них не было.

— Э-э, не годится, — со стоном произнес Яков в следующую секунду. — Вон, гляди...

Из-за кромки леса показалась новая колонна вражеских танков.

Головные танки уже спускались в лощину. Григорий глядел и глядел на них, точно хотел пересчитать, на виске его сильно дергалась тоненькая жилка. Потом уставился на пистолет Алейникова, зажатый в кулаке.

— Товарищ майор! — голос Еременко был хриплым, неузнаваемым. — Если я попытаюсь остановить машину, то вы можете с первого выстрела...

— Как это... остановить?

— Вы с первого выстрела можете уложить шофера? — мотнул упрямо головой Григорий. — Одиночного пистолетного выстрела в танках не услышат... когда они в лощине будут. Только с первого — иначе мне гибель! И папа зарыдает, поскольку нет у меня мамы... разве что Валерия поплачет.

Немецкий автомобиль был уже напротив кустарников, за которыми лежали Алейников с Еременко.

— Ты что задумал?

— А вот что, — ответил Григорий. — Последний танк в лощину спускается! Запомните — с первого! В шофера... И у нас всего три минуты! Три! Они меня обязательно начнут обыскивать...

Прохрипев эти бессвязные будто слова, Григорий сбросил пилотку, встал во весь рост, поднял руки, и мокрый и грязный, со спутанными волосами шагнул через кустарники. Алейников услышал, как скрипнул тормозами автомобиль и оба немца — шофер и офицер — выскочили из машины. Шофер прижимал к животу автомат, офицер уже выхватил пистолет. Оба они, направив оружие в сторону русского солдата, ждали, замерев, когда он подойдет.

Еременко шел так, чтобы не закрыть для Алейникова немецкого шофера. И Якову сразу же стал ясен дерзкий план Григория. Он понял, когда он должен стрелять в немецкого шофера с автоматом — ни секундой раньше, ни секундой позже.

С того мгновения, как Еременко поднялся со вздернутыми кверху руками, прошло полминуты... Вот прошла минута... Всего через сто двадцать секунд головные танки немецкой колонны покажутся из лощины. В Алейникове, как всегда в подобные критические отрезки времени, заработал какой-то внутренний хронометр. Видимо, так же обостренно чувствовал время и Еременко, потому что Алейников заметил, как тот прибавил шагу... Вот он уже с поднятыми руками стоит возле автомобиля. Немецкий шофер держит его на прицеле, воткнув оружие чуть ли не в лопатки, а офицер, не выпуская пистолета из правой руки, левой, чуть пригнувшись, ощупывает Григория, нет ли где у него оружия.

Алейников знал, что не промахнется. Он прицелился немецкому шоферу в висок.

Когда щелкнул выстрел, Григорий Еременко, мгновенно сцепив пальцы поднятых над головой рук, обрушил сверху страшный удар в шею обыскивавшего его офицера. Позвонки хрустнули, немец, выронив пистолет, повалил-

ся. Несмотря на это, Григорий схватил его левой рукой за волосы, а ладонью правой еще раз, для страховки, рубанул по шее. Не теряя времени, сдернул с него плащ, легко забросил тело немца на заднее сиденье автомобиля. Алейников скачками бежал к машине. Еременко нагнулся над немецким шофером, торопливо расстегнул на нем шинель... Через мгновение рядом был Алейников.

— Ловко вы его, товарищ майор, точно в висок, — воскликнул Еременко, торопливо натягивая на себя немецкую шинель.

— Быстрее! — задыхаясь, проговорил Алейников. — Давай...

Туда же, на заднее сиденье, они втиснули и шофера-немца. Григорий сдернул с него пилотку, поморщился:

— Воняет, зараза. — И сел за руль.

В это время из лощины выполз первый немецкий танк...

..Подъезжая к Жерехову, Алейников почему-то вспомнил этот случай и улыбнулся. Да, тогда они ловко вывернулись. Минут двадцать они ехали впереди немецкой танковой колонны, не вызывая у фашистов никакого подозрения. Потом впереди на развилке увидели озябшего немецкого регулировщика, тот тоже ничего не заподозрил, указал направление и даже отдал честь.

— В самое-то ихнее логово нам вроде бы и ни к чему, — пробормотал Еременко минут через пять.

— Проедем еще немного. Черт их знает, на сколько километров они прорвались, — ответил Алейников спокойно.

В тот раз немцы вклинились в нашу оборону километров на сорок, и из зоны прорыва они с Григорием выбрались уже к вечеру, пешком, бросив машину вместе с трупами двух фашистов в густо заросшей балке...

Жерехово когда-то было цветущим и большим селом, дворов на четыреста. Немцы, определив в нем центр Жереховского уезда во главе со штабсартенфюрером Лахновским, убравшимся сейчас со своей «армией» за Орел в село Шестоково, хозяйничали тут почти два года, большую часть домов сожгли или разобрали для оборудования блиндажей и прочих оборонительных сооружений. Освободили его нынче, в феврале, бой за село был особенно жесток, оно несколько раз переходило из рук в руки, жалкие остатки построек были почти начисто уничтожены огнем и снарядами. Сейчас в Жерехове едва ли можно было насчитать десятка полтора хотя и обуглившихся, но все-таки уцелевших зданий. Всюду, куда ни взглянешь, — пепелища, пепелища на месте домов, посреди пепелищ, как повсюду, уныло торчали то почти целые, то полуразрушенные печки, с которых дожди смыли побелку.

На окраине Жерехова, в измызганной и пе-

реломанной колесами и гусеницами молодой березовой рощице, несколько танков заправлялись горючим. На ободренных деревцах кое-где оставались еще листья. Они жалко и беспомощно трепетали под слабым ветерком. «Вот и роща разделила судьбу деревни», — больно застонало вдруг в мозгу у Алейникова. И ему почему-то вспомнились ни с того ни с сего громотушкины кусты в Шантаре, сама речка Громотушка, не замерзающая даже в самые лютые морозы, и Вера Инютина, с которой он встречался в зарослях на берегу этой речки. Когда же это было? Давно, давно... Где сейчас Вера? Конечно, сейчас он относится к Вере не так, как раньше, в те времена, когда ходил к ней на свидания. Многое стало теперь ему, отсюда, виднее. Он-то влюбился без памяти, но она... Конечно, чувства настоящего, искреннего у нее к нему не было... Просто ей льстило, что в нее влюбился как мальчишка он, Алейников Яков, «страшный» человек в районе. И вообще она женщина, которая... Да бог с ней, какая бы она ни была. Все-таки она, его чувство к ней, возникшее неожиданно, как-то разжали ту пружину, которая сдавливала сердце до того, что от боли хотелось выть волком, попавшим в капкан. И он, Яков, благодарен ей.

— Останови, — сказал Яков шоферу.

Алейников вышел из машины, подошел к ближайшему танку, возле которого стояли несколько человек.

— Лейтенант, вы не из Третьего гвардейского полка?

— А, собственно, в чем дело? — в свою очередь поинтересовался танкист.

— Я начальник прифронтовой опергруппы, Алейников.

— Ну и что? Что за группа такая? — Молоденький лейтенант-танкист явно не имел никакого представления о существовании организации, которую возглавлял Алейников, к тому же, оказывается, был очень осторожен. — Особист, что ли? Простите, из особого отдела?

— Нет... Это несколько другое. Мне нужны Савельевы — Иван и Семен. Это родственники — дядя и племянник. Они служат в одном экипаже в Третьем танковом полку, который придан Двести пятнадцатой дивизии.

— Не знаю. Не слыхал о таких.

Неожиданно немцы принялись обстреливать и без того начисто уничтоженное Жерехово.

— А где штаб дивизии, не знаете?

Лейтенант кивнул в ту сторону, где рвались снаряды.

— Позавчера был там, — и заспешил к танку. — Сейчас где-нибудь тут... поблизости от Жерехова.

Начальник штаба 215-й стрелковой дивизии подполковник Демьянов сидел над картой, но, увидев вошедшего в блиндаж Алейникова, которого хорошо знал по неоднократным наездам в дивизию, связанным с переходом его людей через линию фронта, обрадованно выпрямился.

— Яков Николаевич! Милости прошу... — повернулся к худенькой телефонистке с огромными, как подсолнухи, глазами, сидевшей в углу над аппаратом. — А ты звони этому чертову автомобилисту, пока не дозвонишься.

— Алло, «Сосна», алло, «Сосна», — тотчас слабеньким, к тому же надорванным, с хрипотцой голосом заговорила в трубку девушка, равнодушно скользнув глазами по Алейникову. — Алло, «Сосна», «Сосна»... Дайте двадцать первый... Дайте двадцать первый...

— Ну, Яков Николаевич, здравствуй, здравствуй... — Подполковник был молод, жизнерадостен, тщательно выбрит. Гимнастерка хорошо отутюжена, подворотничок сверкал белой, начищенные пуговицы горели. — Пойдем на воздухе покурим.

КП начальника штаба дивизии был наскоро, видимо только вчера, отрыт на южной стороне небольшого холма, поросшего мохнатыми сосенками. Большую часть сосен срубили для устройства самого блиндажа и глубоких щелей, которые тянулись куда-то вправо и влево. На склонах холма и вокруг КП торчали многочисленные пни, для маскировки замазанные сверху землей.

Возле блиндажа стояли бронетранспортер, грузовик с разбитым кузовом и почему-то несколько новеньких полевых кухонь. Под двумя большими соснами — дощатый некрашенный стол и две скамейки. Тут же на дереве висел умывальник, возле него полотенце. Рядом с умывальником к сосновому стволу было прикреплено маленькое зеркальце. Проходя мимо, Алейников глянул в него, увидел свое усталое, землистого цвета лицо.

— Ну ты, значит, все по-своему воюешь, Яков Николаевич? — Подполковник спросил его с такой усмешкой, будто то дело, которым занимался Алейников, было несерьезным, всего-навсего детской забавой, хотя тут же и добавил. — Вовремя твои ребятки немецкий склад с боеприпасами в Половникове в атмосферу подняли. Иначе ни за что бы нам сейчас не остановить фашиста под Жереховым. Ждут сейчас, как докладывает разведка, состава с боеприпасами из Орла, а может, из самого Брянска. Железную дорогу, говорят, охраняют строже, чем своего фюрера. На земле и в воздухе. Нашим самолетам не пробиться.

Алейников поглядел на часы.

— Охраняют и не пробиться... — промолвил он, думая о группе своих подрывников, ко-

торые два дня назад перешли линию фронта с заданием во что бы то ни стало подорвать этот состав под станцией Глазуновкой. Удается это им или нет, но заведенный Алейниковым механизм действовал теперь сам собой и чем-либо помочь уже было невозможно. Если все там у них благополучно, состав этот не дойдет, сегодня ночью взлетит на воздух.

— В Половникове сержант Сизиков погиб, лучший мой подрывник. Он прикрывал группу, когда она отходила после взрыва. Сознательно пожертвовал собой...

— Сознательно... — Демьянов, вскрывавший новую пачку «Казбека», покосился на блиндаж, в котором находилась сейчас одна телефонистка, вызывавшая какого-то «двадцать первого». — Да, каких мы, Яков Николаевич, людей теряем. И сколько! Да если бы только в бою... в открытом бою!

Июльское солнце поднялось уже высоко, солнечные лучи пронизывали редкие верхушки сосен, тени почти нигде не было, кроме того места, где стоял дощатый стол. Подполковник расстегнул гимнастерку и носовым платком обтирал шею.

— Сегодня ночью на вашем участке должны мои ребята возвращаться с задания. Мы тоже знаем о том составе с боеприпасами из Орла. Наши люди наблюдали, как его грузили... Попытались магнитную мину куда-нибудь прилепить или в уголь подложить. Не удалось. Не все удается, к сожалению... Послали наспех группу, чтоб на перегоне где-нибудь этот состав... Под Глазуновкой есть удобное место.

— Не оплошают твои ребятки?

— Не все удается, говорю, — еще раз повторил Алейников и пожал плечами. — Посмотрим... Ну, а заодно земляков надо мне поискать. Вот этих. — Алейников стал расстигать планшет. — Где-то тут они, у тебя?

Демьянов глянул в газету.

— А-а, вон какие у тебя земляки! Только до них сейчас не добраться. Они на высоте 162,4, а высота окружена немцами.

— Как же они там оказались?

— Да как? Свой танк они в бою потеряли, еще под Соборовкой. Из всего экипажа вдвоем в живых остались. Мы их вчера на самоходку посадили — тацков нет. Танкистов достаточно, а вот танков... Бой-то тут, слышал, какой вчера был? Ужас!

— Слышал, — сказал Алейников.

— Самоходкой этой лейтенант Магомедов командовал. Азербайджанец, горячий как черт. Мне докладывали, что эта самоходка прорвалась в немецкие порядки, смяла фашистскую батарею, но там ее подожгли все-таки. А Семена Савельева контузило... Тогда горящая самоходка назад рванулась и с тылу начала

расстреливать наступающие на высоту немецкие танки. Эту высоту батарея старшего лейтенанта Ружейникова обороняла...

— Я знаю эту высоту, — проговорил Алейников. — За ней до самой речки пустое поле, на котором до войны, говорят, гуси паслись да футбольный мяч жереховские ребята гоняли.

— Ага, пустое поле. Вокруг высоты вообще голо. Я слышал, это могильный курган какой-то... А я, знаешь, по профессии археолог, — зачем-то сообщил подполковник и застенчиво, по-мальчишески улыбнулся, будто извиняясь за свою довоенную профессию. — Ну, Ружейников намолотил под высотой вражеских танков... Но и из его батареи остались две пушки и три человека на два орудия. А тут и вырвалась откуда-то из немецкого тыла наша самоходка. Немецкие танкисты, видно, не могли в дыму разобраться, что их с тыла расстреливают, думали, что на высоте несколько наших батарей. Вражеские танки обтекли высоту с обеих сторон, за ними — пехота... Так и оказались твои земляки в окружении. Их там сейчас шесть человек — Савельевы, командир самоходного орудия Магомедов да трое с батареи Ружейникова... Собственно, это вчера было шестеро. Со вчерашнего вечера сведений не имеем...

Пока Демьянов, дымя папиросой, все это рассказывал, Алейников пытался представить себе, как выглядит сейчас Иван Савельев. Но сделать этого не мог. В памяти держалась одна-единственная картина: Иван, длинный, худой, с заросшими белесой щетиной щеками, стоит в дождевике и старой фуражке напологом увале, по которому разбрелось колхозное стадо. Через плечо у него длинный кнут... Таким Алейников встретил его осенью сорок первого, когда Иван только что вернулся из заключения, отсидев свои шесть лет. И разговор их, короткий и нелегкий для обоих, уже несколько дней стоял в ушах Якова:

«— Здравствуй.

— Здравствуй.

— Узнал, стало быть?

— Я не забывал. Во сне часто снишься.

— Обижаешься, понятно, на меня?

— Да нет...»

«Интересно, — мучительно думал сейчас Алейников, — помнит ли Иван тот их разговор? Конечно не забыл... Есть события, поступки, люди, которые никогда, до самой гробовой доски, не выветриваются из памяти, не стирает их время. Останется ли он, Иван Савельев, жив? Пусть останется...»

Алейников во время той встречи с ним еще считал, что отсидел свой срок он справедливо, и с холодной усмешкой спросил еще: «В военкомат, Иван Силантьевич, не вызывали тебя?» А тот ответил, как тогда ему показалось, с вы-

зовом, с нехорошим смыслом: «Нет. А сам не напрашиваюсь. Вызовут — что ж, приду».

«Ну, да, — подумал тогда Алейников, — куда ж денешься, придешь. И на фронт поедешь... Только быстро у немцев окажешься, перебежишь к ним».

И вот — давно Иван на фронте. И не перебежал на сторону немцев. У немцев оказался брат Ивана, Федор, которого Алейников считал человеком верным и преданным.

— Самоходку они бросили за минуту до взрыва баков с горючим, как доложил Магомедов вчера по радию, — проговорил снова Демьянов. — И к высоте, к Ружейникову, сумели отойти. А немцев мы остановили только на окраине Жерехова.

Начальник штаба дивизии задымил еще гуще, поглядел вверх, за вершины деревьев.

— Боюсь, погибнут твои земляки. А мы помочь пока бессильны. Но останутся живы или нет — надо, я думаю, их всех к героям представлять. Их недавно к ордену Ленина представили. А надо бы сразу к героям. Ничего, мы исправим это.

Подполковник бросил окурочек, раздавил его носком сапога.

На КП начальника штаба дивизии никаких звуков войны не доносилось, стояла здесь ничем пока не нарушаемая тишина, в душевной тени под соседними соснами жужжали откуда-то взявшиеся две или три пчелы.

— Высоту эту нам приказано завтра к утру взять. Но чем? Мы просили подкреплений, так нам из штаба армии прислали только штрафную роту. Наша дивизия стоит на стыке двух армий. Знаешь, какая это дивизия? В ней едва-едва четыре сотни бойцов осталось. В приданных двух полках — тоже всего ничего, одни названия. Дивизия соседней армии от нас почти в двух километрах. Немцы этого еще, судя по всему, не знают. А узнают, нащупают это место — и зайдут к нам в тыл. Тогда что? Заткнуть нам эти два километра нечем.

— Не зайдут. Там непроходимые болота.

— Да, может быть, только этим и объясняется, что немцы пока не ударили с тыла...

Алейников еще посидел, задумавшись. Пчелы под соснами все жужжали.

Загудел, приближаясь, автомобильный мотор, из-за сосен выкатился трофейный «оппель-капитан» в маскировочных пятнах. Алейников и Демьянов одновременно повернулись на звук.

— Ну, пора мне ехать, — сказал Алейников. — Своих землячков, Савельевых, останутся живы, отыщу как-нибудь... если успею. На днях в тыл к немцам ухожу. Прощай.

— Ты — сам? — удивился Демьянов. — Зачем?

— Ну, зачем... — усмехнулся Алейников, вставая. — Есть кой-какие дела...

Говоря это, Алейников ощутил, как в его ушах что-то тоненько запело, зазвенело, будто какая-то пчела, жужжавшая под соснами, подлетела к самому лицу. Снова сев, откинувшись к стволу сосны, он во все глаза глядел, как из подкатившей машины вышел сначала адъютант начальника штаба дивизии Бродников, потом длиннорукий верзила-капитан, непонятно как уместившийся в машине, затем коротенький по сравнению с ним, хотя тоже кряжистый, неповоротливый старший лейтенант. Верзила как-то нехотя выпрямился во весь свой двухметровый рост и, медленно раскачивая огромными, тяжелыми, как камни, кулаками, сделал несколько шагов к вставшему навстречу начальнику штаба, поднял широкую ладонь к пилотке.

— Товарищ подполковник! Командир переданной в оперативное подчинение вашей дивизии сто сорок третьей отдельной армейской штрафной роты капитан Кошкин и агитатор роты старший лейтенант Лыков прибыли для получения боевой задачи.

Капитан докладывал не торопясь, отчетливо выговаривая слова. И каждое слово, казалось Алейникову, тяжелой свинцовой каплей падает на горячую землю, ему под ноги, и взрывается там. Он смотрел на широченную спину Кошкина, обтянутую порывевшей от солнца гимнастеркой, на огромные лопатки, похожие на крылья большой и сильной птицы, и почему-то думал, что если в эту спину и ударит пуля, она ни за что не пробьет ее, отскочит, как от танковой брони.

— Кто, кто? — переспросил подполковник Демьянов, выслушав доклад. — Как это понять — агитатор?

— Так у нас называется заместитель командира роты по политической части, — спокойно ответил Кошкин, не отрывая руку от пилотки, тоже старой, вылинявшей.

— Вольно, — произнес Демьянов, с нескрываемым любопытством и даже удивлением разглядывая громадного капитана и старшего лейтенанта. Но те, видимо, уже привыкли к этому, стояли, ожидая дальнейших слов начальника штаба дивизии. Руку капитан опустил, но держался все же навтыяжку.

Демьянов поглядел на Алейникова. Кошкин тоже скосил свои пронзительно-черные глаза, скользнул ими равнодушно по его фигуре и опять стал глядеть в лицо подполковника. «Не узнал», — с облегчением почему-то подумал Яков, ясно понимая, что через какую-то минуту он сам подойдет к нему, поздоровается и — все разъяснится. А какие первые слова скажет Кошкин, узнав наконец его, Алейникова? Что будет у него в голове, в глазах? Удивление, брезгливость, презрение?

— Ну и... сколько вас в роте? — спросил Демьянов как-то негромко, вкрадливо. — Какова численность?

— Одна тысяча девяносто два бойца, не считая постоянного состава, — отчеканил Кошкин.

— Сколько?! — Демьянов даже отступил на пару шагов.

— Одна тысяча девяносто два бойца, не считая...

«А за что нас, Яков Николаевич?» — гудел в ушах Алейникова этот же голос, который докладывал подполковнику о численности штрафной роты. Тогда только этот голос был глуше, он был усталый и от усталости, видимо, равнодушный, хотя печальные, обреченные ноты прорывались в нем сами собой. Тогда он, Яков Алейников, зимней и лунной ночью тридцать восьмого арестовал вот этого человека и председателя Шантарского райпотребсоюза Засухина одним заходом. Ясно, будто это было вчера, Яков припомнил, как он стучался в двери сперва одного, потом другого, как из домов доносился женский и детский плач, когда он их уводил... И потом вот этот капитан с ключичами короткими усами, почти полностью поседевшими, тогда безусый, в сапогах, тужурке и старенькой меховой шапке, наблюдал, как дежурный камеры предварительного заключения расписывается в книге в приеме заключенных, и тут-то он негромко спросил: «А за что нас, Яков Николаевич?»

Алейников, по-прежнему сидя на врытой в землю скамейке, поставил локти на колени, ладонями закрыл щеки и уши. Ладони были горячими, он услышал, как в пальцах толчками бьется кровь. А может, не в пальцах, а в висках...

— Что значит — не считая постоянного состава? — будто издали донесся голос Демьянова.

— Постоянный состав, товарищ подполковник, это офицеры и сержанты роты. Мы с Лыковым, командиры взводов, помпохоз, старшина роты, медицинский персонал... Всего человек около тридцати, — ровно докладывал Кошкин, опять же нисколько не удивляясь вопросу подполковника. Голос командира роты то отчетливо доходил до Алейникова, то пропадал куда-то, будто проваливался. — А остальные — переменный, значит, — штрафники, заключенные. У нас дело ведь такое: кровью смоем человека преступление — снимаем судимость, отправляем в обычные части. А в роту поступают новые. Потому и переменный называется.

— Понятно, — сказал Демьянов. — Спасибо, капитан, за разъяснение. Извините уж.

— Это все обыкновенно, товарищ подполковник. Нам постоянно приходится объяснять...

Яков Алейников, чувствуя, как в груди разливается что-то неприятное и холодное, поднялся рывком и шагнул к капитану и подполковнику. Те одновременно повернулись навстречу.

— Здравствуй, Данила... э-э...

— Иванович отчество мое, Яков Николаевич, — так же неторопливо, как рассказывал о составе и численности штрафной роты, проговорил Кошкин. — Здравия желаю, товарищ майор.

— Ты... узнал меня?

— Так точно, Яков Николаевич. Еще из машины, когда подъезжали. Глаз у меня зоркий... Рубец-то на щеке у тебя памятный.

Демьянов с изумлением переводил глаза с одного на другого.

— Вы знакомы, выходит?

— Земляк это мой, — промолвил Алейников.

— Как, еще один?

— Что поделаешь? Земля, видать, тесновата стала. Значит, рубец? И тоже... по ночам я тебе снился, выходит?

— Никак нет, Яков Николаевич... Думать о тебе частенько думал. А чтоб сниться — нет. Нервы, должно, у меня крепкие.

Подполковник Демьянов слушал этот разговор и ничего не понимал.

Спустя час капитан Кошкин, сильно размахивая тяжелыми кулаками, нагнув голову, пожуравлиному шагал вдоль улицы деревеньки Малые Балыки, когда-то уютной, утопающей в тополиных зарослях, а сейчас почти начисто стертой с лица земли огненным валом войны. Ступал он тяжело, из-под хромовых, порядком разбитых сапог тугими фонтанчиками брызгала пыль. Кошкин, казалось, с любопытством глядел на стреляющие из-под ног пыльные струйки и негромко рассказывал:

— До начала войны, Яков Николаевич, я сидел... Вместе мы с Засухиным были в лагере строгого режима. Помнишь Василия Степановича-то?

Кошкин поднял голову, глянул на Алейникова. Тот, наоборот, опустил свою.

— Ты прости, Алейников... Ты попросил рассказать, я и говорю.

— Ничего... Ты не жалея меня.

— Да мне что тебя жалеть? — усмехнулся Кошкин. — Ну вот... лагерь большой был, на севере, в самой почти тундре. Скучать было некогда. Там в тундре этой, и остался навсегда Засухин Василий Степанович... Воробьев, стой! — закричал вдруг Кошкин вслед обогнавшему их грузовику, замахал руками. Машина остановилась, из кузова, заваленного какими-то мешками и тюками, выпрыгнул коротконогий старшина, подбежал и приложил руку к пилотке.

— Ты что, сам за «Делами» заключенных, что ли, ездил? — Кошкин кивнул на грузовик. И, повернувшись к Алейникову, пояснил: — Это старшина нашей роты.

— Никак нет, товарищ капитан. Я попутно — проверить, не осталось ли какого имущества

ства в эшелоне по разгильдяйству и недогляду. Ничего вроде...

По улице, меж развалин домов, сновали обыкновенные по виду бойцы — в гимнастерках, в пилотках, в кирзовых сапогах, занимаясь устройством на новом месте. Но они же были и заключенными. После боя, в который штрафной роте предстояло вступить завтра вечером, сюда приедет весь состав военного трибунала армии, будет на месте освобождать отличившихся. Таковыми в первую очередь считаются получившие в бою хоть какое-то ранение. На них напишут боевые характеристики, заполнят справки об освобождении и одних отправят по санротам и госпиталям на излечение, других, с пустяковыми царапинами, откомандируют в различные армейские части. «Дела» погибших в бою будут отложены отдельно, запакованы, опечатаны, снабжены соответствующей документацией и отправлены в армейский трибунал... Но это ненадолго, через несколько дней в роту прибудет пополнение.

— Склады ПФС прибыли?

— Так точно, товарищ капитан.

— Все заявки командиров взводов на обувь, портянки, обмундирование удовлетворить к вечеру.

— Удовлетворим, товарищ капитан. — Старшина был рыжеволос, лицо изрезано крупными морщинами, кулаки по-крестьянски большие, как и у самого командира роты. — Ручных пулеметов не хватает, товарищ капитан, процентов на тридцать, автоматов почти наполовину...

— Я знаю. Помпохоз уехал на армейские склады к нашей заявкой. — И Кошкин повернулся к Алейникову. — Оружие заключенным выдается у нас только перед боем.

— Вот как... — зачем-то произнес Алейников, хотя отлично это знал.

— В НЗ выдать по два сухаря, квадрат горохового концентрата, сахар... И по банке свиной тушенки на троих.

— Слушаюсь.

— Поскольку мы уже считаемся в наступлении; можно к ужину выдать по сто граммов водки.

— Слушаюсь.

— И мне фляжку сейчас. Вот встретились... с земляком.

— Сей минут, товарищ капитан, — опять кивнул старшина.

Кошкин и Алейников пошли дальше. Шли и молчали, обоим трудно было продолжать прерванный разговор. Яков Алейников засунул руки под мышки, будто ладони у него зябли, и с каким-то тупым раздражением на самого себя думал, что напрасно он увязался за Кошкиным, напрасно расспрашивает о прежнем... И вообще, встреча эта — лучше бы ее не было. Как в омут, нырнул он, Алейников, во фрон-

товое месиво огня и смерти, в надежде, что все прежнее останется где-то там, в прошлой, далекой жизни, которая никогда не вернется, что ни с кем из людей, так или иначе соприкасавшихся с ним на его прежнем жизненном пути, особенно с теми, для кого это соприкосновение кончилось так трагически, как для Кошкина, он не встретится. Ведь тысячи и тысячи километров фронта, десятки тысяч километров военных дорог, все постоянно движется, кипит и бурлит, как в котле, фантастические размеры которого невозможно и представить. Но именно в силу того, наверное, что все кипит и движется, он, Алейников, узнает вдруг: где-то рядом, не очень далеко, — Федор Савельев. Потом в газете читает о его сыне и младшем брате, Иване Савельеве. И, наконец, — Кошкин Данила Иванович, которого в годы гражданской войны в партизанском отряде Кружилина звали Данила-громила... Об Иване, Семене, Федоре Савельевых Алейников только слышал, а Кошкин Данила — вот он, живьем, вышагивает рядом. Изменился он, бывший заведующий райфинотделом, — голова почти седая, плечи сильнее ссутулились, черты лица резко обострились, в темных глазах появился какой-то жесткий, пронизывающий свет. Но сколько пришлось ему пережить и перенести! Другой согнулся бы, сломался.

Штрафная рота прибыла ночью эшелонном из-под Валук, где она длительное время находилась на доукомплектовании. Так сказал еще в машине Кошкин. Завтра с началом темноты роте предстояло вступить в бой на стыке 215-й дивизии с соседом.

Отовсюду — из открытых окон уцелевших домов, из-за редких обгоревших и переломанных заборов и плетней, запыленных кустарников, где группами сидели на земле или слонялись бойцы, неслись крики, хохот, звуки губной гармошки, сочная похабщина. Кошкин на это не обращал внимания. Да и Яков Алейников тоже. Он знал, что такое штрафники. У них свой быт, свои песни, свои законы. В атаку они ходили не с криками «ура!» — в воздухе стояла такая густая матерщина, что никли, казалось, кусты и травы. Немецкие солдаты и офицеры, говорят, заслышав такую «музыку», бледнели, у них возникала дрожь в руках и ногах.

Заметив двух офицеров, бойцы немного умолкали, с интересом и любопытством провожая взглядами Кошкина и Алейникова. Попадавшиеся навстречу солдаты вытягивались и отдавали честь по всем правилам. А это уже говорило о многом.

— Чувствуется, уважают тебя, — сказал Алейников.

— Ага, — ответил, не оборачиваясь, Кошкин. — Под Валуйками на ночных тактических занятиях дважды в меня стреляли.

— Вот как!

— Да. Хочешь, я тебе его покажу?

— Кого?

— А который стрелял.

Это Алейникова удивило. Любой боец штрафной роты, поднявший руку на командира, должен быть расстрелян на месте без суда.

— Любопытно, конечно.

— Да, тебе будет интересно на него взглянуть, — почему-то ответил Кошкин и свернул в переулок.

Через минуту вышли на окраину села, где кособочилась на земле сорванная взрывом соломенная крыша бывшего колхозного тока. Метрах в десяти от нее дымился костерок, на треноге висело закопченное кривобокое ведро, в нем что-то варилось. У огня сидели два бойца в старых, замызганных пилотках, третий лежал на земле, на надерганной из крыши тока соломе. Он лежал, заложив руки под голову, смотрел в небо и тянул унылую песню.

Двое, сидевшие у костра, видели приближающихся к ним офицеров, но делали вид, что не замечают. Лежавший на соломе тоскливо выводил:

...Пред нами стелился туман.
Вздыхалась пучина морская,
Вдали нам светил Магада-ан,
Столица Колымского края...

— Вста-ать! — рявкнул Кошкин.

Двое медленно и нехотя повернулись на голос и какое-то время смотрели на Кошкина так, будто не узнавали командира роты. Лежавший прекратил петь, тоже повернул голову.

— А-а, — протянул равнодушно один из сидевших и стал подниматься. Он был высок, чуть сутуловат, и, когда встал, длинные руки его опустились чуть не до колен. Потом поднялся тот, который пел, — парень лет тридцати с красивыми смольянными бровями. Он не встал даже, а торопливо, с откровенно издевательской подобиострастностью вскочил, вытянулся, бросил руку к виску.

— Здравия желаю, товарищ капитан. И товарищ майор. Извините, ослабли зрением. Должно быть, от долгого воздержания глаза у меня сохнут. А у Кафтанова с Зубовым и другие органы, хе-хе...

— Молчать! — опять крикнул Кошкин, на этот раз не очень громко. Но в голосе его было столько власти и металла, что даже у Алейникова где-то внутри возник, пробежал холодок.

Макара Кафтанова он узнал сразу, едва услышав фамилию, определил его по широким крыльям носа, как у его отца, Миханла Лукича Кафтанова, по закопченным глазам, как у его брата Зиновия, которого он, Яков, когда-то выследил в Громотухинской тайге и приволок в кабинет к Кружилину. И Зубова узнал — память на людей у него была цепкая.

Алейников не удивлялся теперь еще одной встрече с земляками, стоял и смотрел на Макара Кафтанова, потом на Зубова. Гимнастерка на Кафтанове была расстегнута, тощая грудь густо покрыта синими наколками.

— Который же стрелял из трех? — спросил Алейников.

— А вот этот... Это сын того полковника Зубова, который тебе метку на всю жизнь оставил. Помнишь?

— Ну как же. Старый знакомец.

Петр Зубов шевельнул ресницами, отчего кошачьи глаза его блеснули, Макар Кафтанов запустил руку под гимнастерку, почесал грудь, но под взглядом Кошкина начал гимнастерку нехотя застегивать.

— А этот певец — кто?

— Фамилия его Гвоздев...

— А-а, — воскликнул Алейников. — Тоже земляк. Слыхал...

— Ладно, отдыхайте. Пошли, Яков Николаевич.

Зубов с Кафтановым немедленно опустились на землю, а Гвоздев все стоял, хлопал ресницами, поворачивал голову вслед уходящим. Потом до Якова и Кошкина донесся удивленный его вскрик:

— Бра-атцы кролики! Это ж Алейников... Энкеведешник шантарский!

Кошкин приказал ординарцу принести чаю, и долго сидел, зажав голову руками, будто она у него разламывалась от боли.

— А ты сам-то как на этой должности оказался? — спросил его Алейников.

— Да как? В первый же год войны на фронт добровольно пошел. — Кошкин усмехнулся. — Доброволец! В штрафную роту, конечно. И то — еле-еле выпросился. До середины прошлого года штрафных рот почти ведь не было. Потому не так-то просто было попасть. Начальник лагеря добрейший был человек, помог. Ходатайствовал. Уважал он нас с Василием Степановичем. Ну, в общем, зимой сорок первого меня уж и окрестили. Ранение, на счастье, пустяковое — мякоть руки навывлет. Через две недели зажило. Боже мой, как я вздохнул! Из санчасти иду после перевязки и чувствую — воздух другой, люди другие. И снег... оказывается, снег кругом сверкает. Будто не видел до этого, что зима. Вот ведь что свобода делает... Да... Ну, а потом — обычно. В штрафной роте и остался, как вот Михаил, — кивнул он на вошедшего с чайником ординарца. — Не захотел я в другую часть. Не знаю уж, почему... Командиром отделения попросился.

— Это ж понятно, что тут объяснять, — подал голос ординарец.

— Ладно, ступай, — сухо бросил ему Кошкин. И, когда тот вышел, проговорил: — Не смотри, что он такой благостный. До войны бандитствовал, подлец. Ну, сейчас-то уж не подлец.

— Не подлец?

— Не-ет, — мотнул головой Кошкин. — Штрафная рота тоже из дерьма людей делает... Ну вот, служил я, воевал... Все в той же роте. Младшего лейтенанта потом за одно дело дали. Ну, и начал расти, как... колхозный колос. У нас же год за шесть идет. Был потом и командиром взвода, и агитатором. А в прошлом году в августе эту роту получил... после приказа Верховного номер двести двадцать семь. Слышал, конечно?

Алейников кивнул. Этот жесткий и единственный, может быть, в своем роде приказ Верховного Главнокомандующего Сталина был вызван суровой необходимостью. Прошлым летом, когда он, Алейников, находился в Краснодарском крае, организуя вывозку скота, зерна и других сельхозпродуктов, докатывались слухи, что в некоторых частях Красной Армии, оборонявших Новочеркасск и Ростов, вспыхнули «отступательные» настроения и что эти города были якобы оставлены без серьезного сопротивления — узнать не было возможности. А в конце июля или в начале августа он уже читал этот знаменитый приказ, безжалостный в своей прямолинейности: «...Немецкие оккупанты рвутся к Сталинуграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа...

После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба... Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину.

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не прекратим отступление, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог.

Из этого следует, что пора кончить отступление.

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв».

Далее в приказе говорилось о необходимости повышения порядка и дисциплины в войсках, ликвидации отступательных настроений. Надо, говорилось в приказе, упорно, до последней капли крови, защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности, ибо отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину, надо во что бы то ни стало, любой ценой остановить, затем отбросить и разгромить врага.

Этим приказом предписывалось «безусловно» снимать с постов и предавать военным судам всех командиров, начиная с командующих армиями и кончая командирами и комиссарами полков и батальонов, допустивших без приказа свыше отход войск с занимаемых позиций. Старших, средних и младших командиров, политработников и рядовых бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, отправлять в штрафные подразделения, ставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать осужденным возможность искупить кровью свою вину перед Родиной.

Яков до сих пор помнит, как у него занемело от холода в груди, когда он читал этот приказ.

— Я боялся, что после этого приказа меня в такое штрафное подразделение назначат, — проговорил он. — Вот тогда бы я уж не выдержал... Не смог бы... Да, к счастью, обошлось.

Кошкин быстро взглянул на него, усмехнулся.

— Ну, выдержал бы. И смог, Раз надо. Человек — он своих сил еще не знает.

Алейников давно, с самой первой минуты встречи с Кошкиным, чувствовал какое-то большое и безграничное превосходство этого человека над собой.

— Выдержал бы, — еще раз сказал Кошкин. — Приказ этот — правильный. Необходимый, если точнее. Война, брат, — она ни с чем не считается. Ничего не попишешь.

Он вынул из лежащей на столе пачки папиросу, чиркнул спичкой. Жадно глотнул табачный дым, медленно выпустил. И, глядя почему-то на кончик папиросы, опять усмехнулся.

— Да-а, Яков Николаевич... Вот где мы встретились. При таких-то обстоятельствах... А ты, угадываю я, все маешься. А?

— Прошлое в памяти живет, не истребить его ничем, — проговорил Алейников. Он помолчал, вздохнул и продолжал: — Тут, на вой-

не, я не бездельничаю, не отсиживаюсь в прохладном месте... Сколько раз бывал в таких пеклах... в тыл немцев ходил не однажды. И готов в самое крошечное, в самое кровавое месиво в любую секунду!

— Это просто наш долг с тобой, Яков, — сказал Кошкин. — Как и всякого нормального человека. Нашу землю фашисты топчут, наших женщин оскверняют...

— Ага, значит, мне этого недостаточно! — прервал его Алейников. — Вот поэтому и маюсь... А как, чем объяснить все же мою вину? Моей кровожадностью, что ли? Может, я ненормальный, может, я испытывал животное удовлетворение, когда тебя или Засухина арестовывал? И других... Не понимал я чего-то — было. Но я и сейчас не понимаю многого. Как такое вообще могло происходить? Как?!

— Чего кричишь-то? — остановил его Кошкин.

Яков обмяк, во всем его теле вдруг явственно обозначилась неимоверная усталость. Он тяжело поставил локти на стол и уронил голову в ладони.

— Тут закричишь.

Так он и сидел, пока командир штрафной роты не произнес:

— Ну, мне пора, Яков Николаевич.

На улице был прежний изнуряющий зной. Неподалеку от дома, в котором они сидели, возле развалин какой-то постройки, стояли две распряженные лошади, яростно мотали головами, одурев, видно, от жары. Чуть поодаль дымились две кухни, но людей ни возле разрушенного сарая, ни возле кухонь не было видно.

Едва вышли, сзади, неизвестно откуда возник ординарец Кошкина.

— От седьмого шифровка пришла, товарищ капитан, из узла связи звонили. Только что.

— Хорошо. Как расшифруют — пусть немедленно несут. Я провожу майора — и в третий взвод. И обзвони — пусть все командиры взводов туда собираются.

— Слушаюсь. — Ординарец исчез так же неожиданно, как и появился. Алейников только на мгновение отвел взгляд — и ординарца уже не было.

— Седьмой — это начальник штаба нашей армии. Наверное, новый комплект прибывает. Свежий эшелон со штрафниками. — Кошкин усмехнулся. — У нас ведь так: один бой — и я остаюсь без списочного состава.

— Да это понятно, — сказал Алейников.

— Освобождает иногда и таких, которые в бою и царапны не получили, но отличились, проявили отвагу и бесстрашие. Правда, трибуналы на это идут неохотно.

Они шагали к берегу речки, протекающей на задах бывшей деревни. Там, за жидким кустарником, переломанным немецкими и совет-

скими танками, колесами грузовиков и повозок, остался Гриша Еременко с машиной — он попросил разрешения искупаться, постирать белье, портянки.

Унылая картина разрушенной деревушки — груды обгоревших бревен, развороченные взрывами постройки, торчащие среди пепелищ печные трубы — угнетающе действовали на Алейникова. Все это он видел десятки и сотни раз, но привыкнуть не мог, сердце у него всегда больно сжималось, и Якову чудилось, что обезображенная земля истекает своей земляной кровью и весь земной шар, как живое существо, тяжело, мучительно стонет от невыносимой боли.

Как только они вышли из дома, Алейников поднял с земли сухой пруттик и всю дорогу нацеливал по голенищу. Наконец он отбросил пруттик, остановился и проговорил:

— Знаешь, что мне хочется сказать тебе? Хотя ты вряд ли поверишь...

— Ты скажи, а я тебе честно отвечу — поверю или не поверю.

— Завидую я тебе. Всей твоей... судьбе.

Командир штрафной роты смотрел на Алейникова прямо, в его темных глазах не было ни удивления, ни насмешки, хотя Яков ожидал все это увидеть. Только уголки обветренных губ чуть шевельнулись.

— Я верю тебе, Яков, — сказал Кошкин тихо и грустно.

И именно потому, что он произнес это негромким, чуть раздумчивым голосом, Алейников убедился в его искренности. К горлу что-то подступило, он отвернулся и глянул зачем-то вверх, косматое солнце больно хлестануло его по глазам, он закрыл их и потер пальцами веки.

— Мы, Яков, много там... с Василием Степановичем Засухиным толковали о тебе... и вообще — обо всех этих делах, — меж тем говорил Кошкин. — Светлая была у него голова. Я в нашем горе тогда тебя во всем винил. Василий — больше Полипова, который был секретарем после Кружилина. Вот это, говорит, страшный человек.

— Ну что ж... спасибо ему, Василию Степановичу, — с трудом, через силу вымолвил Алейников.

— Да-а... Больше — Полипова, но не во всем. А во всем, говорил он, человечество разберется рано или поздно.

— Наверное... Иначе как же? Все бы я отдал, чтобы дожить до этого времени!

— Доживем, Яков Николаевич! — убежденно произнес Кошкин.

После этих слов Алейникову сразу стало как-то свободнее и легче, будто тяжелый каменный жернов, незримо лежавший на плечах, вдруг неизвестно каким образом начал превращаться в песок и осыпался вниз, к но-

гам. Яков радостно повел плечами, посмотрел Кошкину прямо в глаза.

— Не представляешь ты, Данила Иванович, как я рад, что судьба свела нас тут, что мы встретились. Поверь еще раз — я не могу и представить сейчас, как бы жил дальше без этой встречи...

— Да что ж, — проговорил тот. — Я тоже, Яков, доволен...

Из-за порыжелого холма, который огибала спускающаяся из деревни вниз к речке дорога, показался ординарец Кошкина, увидел своего командира, побежал бегом.

— Шифровку расколдовали, — сказал Кошкин.

Ординарец, подбежав, бросил руку к пилотке, хотел что-то доложить, но командир роты опередил:

— Ладно, давай.

Он взял из рук ординарца листок, глянул в него, усмехнулся.

— Так и есть. Через три дня пополнение прибывает. Не могли повременить, черти. После завтрашнего боя у нас столько дел будет.

— Заботятся об нас, Данила Иванович, — с усмешкой вставил ординарец.

— Разговорчики! — оборвал его Кошкин. — Командиры взводов собрались?

— Так точно, товарищ капитан.

— Ступай. Я сейчас приду.

Ординарец повернулся и побежал обратно к холму.

— Славный парень из него получится. Два раза мне жизнь спасал.

Кошкин положил шифровку в карман гимнастерки, поправил пистолетную кобуру.

— Доукомплектовка под Щиграми будет... — Кошкин усмехнулся. — Веселое это времечко — доукомплектовка у нас. Поездной конвой отбывает восвояси, а свежие штрафники начинают развлекаться. В основном грабеж мирного населения, разбой настоящий. Отлично знают, предупреждены, что за это — расстрел на месте. Но такие есть артисты! Пока тихомирим...

— Да представляю. Не представляю только, как справляетесь.

— Остатки от прежнего состава крепко помогают. Знаешь, штрафник, побывавший в бою, совсем другой человек. Удивительно порой, как несколько часов, иногда даже минут — хотя короткие бои у нас случаются редко — меняют людей. Такие уркаганы, что пробы ставить уже негде, вроде вон моего ординарца, обретают человеческий облик. Туда ведь, за край жизни, заглядывать страшно, там можно многое увидеть. И весь уркаганский лоск сразу лохмотьями слезает... Ну что ж, Яков... — И Кошкин протянул руку.

То ли потому, что Кошкин назвал его просто по имени, то ли оттого, что в голосе ко-

мандира штрафной роты явственно прозвучала искренность, сердечность даже, Алейников вдруг опять разволновался, как мальчишка, почувствовал, что к лицу подступила вся кровь. И еще больше смешавшись от мысли, что Кошкин заметит его состояние, торопливо схватил протянутую руку, но не пожал ее, а грубо дернул Кошкина к себе, обнял за горячие плечи.

— До свидания... Спасибо, останемся живы — встретимся в Шантаре.

— Встретимся, Яков Николаевич, чего ж... — сбивчиво промолвил и Кошкин.

— Непонятно мне только, чего ж ты этого типа... этого Зубова не расстрелял? — неожиданно для самого себя проговорил Алейников. — Он же снова может...

— Не думаю, — ответил Кошкин, оправляя гимнастерку. — И как тебе сказать? Любопытен мне чем-то этот тип.

— Чем же?

— Ну как же... Ведь сын нашего, как говорится, классового врага, царского полковника, колчаковского карателя, с которым мы в гражданскую дрались, — усмехнулся Кошкин. — Как-никак, пусть под гнетом закона, но воюет за интересы, противоположные интересам его отца... Эта троица — Зубов, Кафтанов, Гвоздев — прибыли в роту давно. Еще до Валук участвовали в двух боях. И странное дело — ни один из них даже царапины не получил. Будто заколдованные. Все трое — барахло человечье, конечно. Но в боях вели себя по-разному. Кафтанов и Гвоздев все норовят в бою за спины других. Зубов — в самое пекло лезет. А он у них главарь... Что он — смерти ищет? Или что-то тут другое?

— Смерти-то вряд ли. На ранение рассчитывает.

Кошкин глянул на часы, машинально проверил, все ли пуговицы застегнуты на гимнастерке.

— Может быть, и так. Но люди, Яков, интересные, что ни человек — то... экземпляр. А в Валуйках, по-моему, он, стреляя в меня, промахнулся умышленно.

— Вот как! Зачем же тогда стрелял?

— Ну, у них, у воров, не как у фраеров, — усмехнулся Кошкин. — Надеюсь, жаргон их знаешь? Штрафники из уголовщины все считаются ворами. Остальные для них фраеры. А воры живут и здесь по своим законам... Возможно, Зубов провинился в чем-то перед другими, более могущественными ворами, а те приговорили его таким образом заградить вину. Может, задолжал кому... Или просто в карты меня проиграл. У нас ведь и такое бывает.

— Где ты находишь мужество командовать этой ротой?! — воскликнул невольно Алейников.

— Н-да... А я вот тоже не могу тогда понять, где ты, Яков Николаевич, берешь муже-

ство, чтобы в тыл к немцам ходить, в самое их логово. — И командир штрафной роты в третий раз глянул на часы. — Ну, извини, мне давно пора. Каждый бой для нас — это бой-прорыв, топтаться на месте, а тем более отступать мы не имеем права. Так что надо мне подготовить роту.

Алейников, перебирая в памяти разговор с Кошкиным, спускался по тропинке к речке, где остался Гриша Еременко с машиной. Тропинка шла по косогорчику, заросшему травой, еще не пожелтевшей под солнцем, но и давно не свежей. Слева чернели две, одна возле другой, огромные воронки от тяжелых снарядов, в каждой яме могло бы спрятаться по танку. В траве и по краям белели искрящиеся шарики поспевших одуванчиков, и Алейников почему-то подумал: «Интересно, у каждого жизнь своя. Наверное, уж после того, как сюда упали снаряды, одуванчики успели расцвести, созреть и дать семена...»

Тропинка вильнула в низкорослый кустарник, выбежала из него на речную луговину, там, у края кустарника, в жидкой тени, сидел Зубов и строгал перочинным ножом прутник. Метрах в двухстах от Зубова стояла на берегу речушки машина Алейникова, блестя под солнцем вымытыми стеклами, Еременко в одних трусах лежал рядом с машиной на траве, загорал. «Ишь, химик», — с завистью, но без раздражения подумал Яков.

— Товарищ майор, — услышал Яков и обернулся. Зубов уже стоял на ногах. — Разрешите спросить, товарищ майор?

— Спрашивай.

Зубов, подойдя, остановился, опустив длинные руки. И глаза опустил, будто разглядывая кулаки, молчал.

— Ну, так что же вы? — проговорил Алейников, неизвестно зачем употребив это «вы». — У меня нет времени.

— Я давно хотел поглядеть на вас, — усмехнулся угрюмо Зубов и поднял глаза. — Еще там, в Шантаре, позапрошлой зимой. Да не успел, забрили нас. Вы ж, наверно, помните? А я специально тогда в Шантару приезжал...

— Какая честь! И что во мне такого интересного?

— Шрам вот этот на лице!

— Вот как! — Алейников с любопытством взглянул на Зубова. — Ну, и что же ты хотел спросить?

— Что? — опять усмехнулся Петр Зубов. — Да просто хотел вопросик задать — смысл-то жизни в чем?

— Та-ак... — Алейников вспомнил все, что говорил ему только что об этом человеке ко-

мандир штрафной роты, и с новым любопытством оглядел Зубова.

Гриша Еременко, заметив своего начальника, стоял уже одетый возле машины.

Зубов срезал новый прутник и опять начал строгать.

— Вопросик! — сказал Алейников. — А может быть, мы несколько сузим эту тему? И скажем, смысл-то чьей жизни? Твоей, моей?

— Зачем суживать? Я спрашиваю — вообще... — И рукой, в которой был зажат перочинный нож, Зубов описал перед собой круг.

— Ну, если вообще... Вообще смысл жизни — в борьбе за счастье человека.

Слова эти не произвели на Зубова никакого действия. Он не торопясь, равнодушно срезал с прутника листочки, один за другим. Потом поглядел в сторону — там неширокая речка, до боли в глазах сверкая на солнце, утекала за молодую рощицу из берез и осин. За рощицей поднимались какие-то жиденькие дымы и таяли, рассасываясь в летнем горячем небе бесследно.

Потом он усмехнулся.

— Я мальчишка был, но помню — отец мой также говорил, что он воюет за счастье людей, за судьбу России... Мету-то вам на щеке он, я слышал, оставил?

— Он, — кивнул Алейников. — По-разному мы с ним понимали счастье людей. И судьбу России.

— Ну да... Потому он и прилепил этот шрам. А вы его, потому что по-разному, убили! Вы... ты лично виноват в его смерти! — прохрипел Зубов. — Я все знаю! Ты вывел тогда весь партизанский отряд из каменного мешка, куда загнал вас отец! Ты привел отряд на заимку. Я кое-что помню! И вы напали ночью на нас, сонных...

Алейников не испугался хрипучего и зловещего голоса Зубова, не оскорбило его и то, что этот солдат-штрафник вдруг начал говорить ему «ты».

— А что ж удивляешься?! Он нас бил на смерть, мы — его... Тут уж — кто кого! Борьба классов. Ты, конечно, за отца нам не простишь никогда, сердце все стонет. Ты в Кошкина, в командира своей роты, стрелял...

— Она не моя. Она — штрафная! — оцетинился Зубов.

— И ты рано или поздно, при первом удобном случае к немцам перейдешь... сдашь-ся, служить у них будешь!

— Дурак ты, — негромко сказал Зубов.

— Что-о! — вздрогнул Яков, точно его ударили, и рука сама собой скользнула к кобуре, хотя краем сознания он все же понимал, что, если выхватит пистолет — сделает глупость. Стрелять все равно не будет — за что же стрелять, штрафник этот стоит себе спокойно с пе-

рочинным ножичком, строгают палочку. За оскорбительное слово? Хорош он тогда будет.

Зубов краем глаза наблюдал за Алейниковым, позы не изменил, только перестал строгать и окаменел весь, ждал... Рука Якова обмякла, опала.

— То, что слышал, — усмехнулся Зубов. — Меня, к твоему сведению, немцы еще в сорок первом из курской тюрьмы освободили и должность в городской полиции давали. И если б я схотел...

— Чего ж не схотел? — спросил Алейников, испытывая к самому себе мерзкое чувство за то, что не сдержался и чуть не выхватил пистолет.

— Не знаю... А пушку свою ты бы все равно не успел вытащить, — еще раз усмехнулся Зубов и поглядел на свой скромный перочинный ножичек. — Вот эта штучка — острее бритвы. Чиркнул бы по шее — и хрипел бы сейчас... Тогда-то мне бы уж ничего не оставалось, как к немцам.

Зубов тяжело и шумно вздохнул, с резким щелчком закрыл свой перочинный ножик, спрятал в карман.

— Ладно... Отца я жалею, конечно. Но сердце не стонет, перестало, — сказал он негромко. И, поймав на себе взгляд Алейникова, добавил: — Я и сам удивляюсь. Видно, делает время свое дело. И борьба классов — ладно. Я пытался кое-что и в этом вопросе понять, разобраться. Книжки этого бородатого Карла Маркса пытался читать. И Ленина вашего...

— Ленина? И — Маркса?!

— А что ж ты думаешь? Ну, понял я мало. Я несколько классов гимназии кончил, и все. Остальное образование по тюрьмам получил. Тут я — профессор. Но главную мысль насчет борьбы этих классов уловил...

Зубов склонил большую, давно не стриженную голову и замолчал. Потом встряхнул головой.

— Бедные, богатые, капитализм, коммунизм... Все в мире — как огонь и вода. В общем, кто кого зальет...

— Примерно так, — сказал Алейников.

— Чего — примерно? — Глаза Зубова заблестели как-то странно, явственно проступила в них унылая и, кажется, застарелая боль. — Так и есть! И когда схлестнутся — пар до неба свистит. Кровавый.

— Кровавый, — согласился Алейников.

— Я мальчишкой был — и меня этот пар насквозь ошпарил. Да, к беде моей, не до смерти. И пошел я от злости куролесить. И еще — от бессилия, от тоски. Не поверите?

Взгляд Зубова, этого солдата-штрафника, был открытым, незащищенным каким-то, в зеленых глазах стояла все та же боль. И Алейников сказал не сразу:

— Что ж... Понять это я могу.

— Это еще больше, чем поверить, — будто самому себе проговорил Зубов. — Только не подумайте, что я помощи какой-то от вас хочу, из штрафной роты, мол, пытается выбраться... Это меня оскорбит. Я гордый. Не-ет...

— Этого я, Зубов, не думаю... — И, глядя, как тот переломил и бросил свой оструганный пруттик, добавил: — А разговор у нас, чувствую, долгий будет. Сядем тогда, что ли... — И он первый опустился на обочину тропинки в бледную тень от редких кустарников. — Сколько у тебя сроку-то было?

— У меня — вышка, — коротко сказал Зубов.

— За что?

— За совокупность.

— Это как так?

— Когда взяли меня в Шантаре зимой сорок второго... Макара Кафтана там автолавку какую-то пощупал, а я был ни при чем. Что я за птица — им было неведомо, но ясно, что фазан, — взяли меня с оружием. Покрутили; повертели — и отправили всех троих — меня, Кафтана и Гвоздева — в Новосибирск. Ну, а там я судился раза четыре. Подержали там месяца три, раскопали всю мою скромную деятельность. Сроков у меня было ровно пятьдесят лет. Думал я, не все наскребут. Я и в Киеве судился, и на Кавказе... И еще когде. Война ж, думаю, кое-чего и не добудут. Нет, прояснили все до конца. Хорошо работаете... Пенсию не зря получать будете. Ну и решили, видно, — хватит валандаться, все равно из тюрьмы живым человеком не выйдет, так и так хоронить за казенный счет — и приговорили к высшей мере... Я даже как-то и... не шелохнулся. Онемело все внутри только и приятно стало: наконец-то, думаю... С тем и сию в камере смертников. Но... — Зубов сплюнул в сторону сквозь желтые и крепкие зубы, — вот же проклятая человеческая порода! Душа устала, тело покоя просит, а в мозгу, слышу, посасывать стало: неужели и вправду конец?! Короче, написал бумагу о помиловании. Биографию всю изобразил. Осколок, мол, человеческий я... Про отца написал все, в общем. И еще на два момента упор сделал: у немцев, хотя они предлагали службу, не остался, мне, русскому, немоготу видеть, как они нашу землю поганят. И что мокрых дел за мной не было.

— Не было?!

— Ни одного, — сказал Зубов. — Не люблю я этого.

— Не любишь! Ты ж в Кошкина, в своего командира роты, стрелял!

— Ну и что? — Зубов почему-то брезгливо дернул губами. — Живой же он... В общем, в помиловании не верил и не ждал его. Таких,

как я, с таким сроком — не милуют. Я ненавидел себя за слабость — я не люблю на колени становиться... А оно пришло, заменили мне вышку штрафной ротой. — В зеленых глазах Зубова плеснулась усмешка и тут же погасла.

— Скажи... Ты умышленно не попал в Кошкина? — спросил Алейников.

Зубов, не поднимая головы, коротко взглянул на Якова и тут же опустил выгоревшие на солнце ресницы. И ничего не ответил, только чуть заметно пожал плечами.

— Ну, а... почему стрелял? Что тебя заставило?

— Вам это очень нужно знать?

— Любопытно.

— По приговору.

— По какому? Как понять?

Зубов поглядел на стоящую неподалеку машину Алейникова, будто наблюдая за шофером, который от нечего делать ходил вокруг «эмки», постукивая сапогом в скаты.

— В Валуйках ротой и не Кошкин командовал, — хрипуче произнес наконец Зубов. — Был тогда в роте... — И вдруг оборвал себя на полуслове, поднял тяжелую голову. — Ваши дела, товарищ Алейников, должно быть, не сладкие. Я уж знаю... А наши еще страшнее. Может, не надо о них... до конца-то?

— Я не слабонервный, — усмехнулся Алейников.

— Ладно, — уронил смешок и Зубов. — Был тогда в роте штрафник Мишка Крайзер по кличке Горилла. И по виду — горилла. В зоопарке я только видел таких, в железных клетках. Страшный человек, во всем преступном мире известный. Я против него — птичка-синичка. Он и был верховным в роте... Такие дела творил! И на людей в карты играл... Прошлой весной командира своего взвода проиграл и в тот же вечер шею ему финкой просадил. Нож он бросал, сволочь, на тридцать метров, точно в яблочко. Назначили другого командира — он и того проиграл. Горилла теперь мертвый. Но все равно мне за то, что я рассказываю, финарь полагается.

— Не бойся. Не выдам.

— Да я и не боюсь, — промолвил Зубов устало. — И в бою я ничего не боюсь — ни пули, ни снаряда. Только не берут, проклятые.

— И это я знаю. Мне Кошкин говорил...

— Кошкин... — повторил Зубов как-то бесцветно. — Он ведь тоже, кажется, против моего отца воевал?

— Он был в нашем партизанском отряде тогда, — подтвердил Алейников.

— Да-а... Застрели я Кошкина, вы бы вот считали — за отца, мол, по классовым убеждениям. А дело по-другому было. Кошкина приговорили. За Гориллу. Мы под Валуйками долго стояли, и Горилла со своими телохрани-

телями мародерством там занялся, грабежами. Кошкин узнал. Не от меня только. От кого — не знаю... И всю обшуровал в Гориллу вылупил. Зверь это был — не человек. Кошкин стреляет, садит пули ему в спину, в затылок, в голову, а Горилла пытается с земли подняться. Хрипит, землю пальцами пашет и на колени встает, встает. Мы так и думали — встанет во весь рост и двинется на Кошкина. Нет, рухнул.

Глуховатый голос Зубова звучал теперь ровно, говорил он без видимых усилий, и только иногда чувствовалось, что каждое слово дается ему нелегко.

Зубов умолк, помолчал с полминуты, и Алейников его не торопил, ждал терпеливо, понимая, что тот снова заговорит сам.

— А я в делах Гориллы не участвовал, не смог. Я думаю, что Кафтанов с Гвоздевым и капнули телохранителям Гориллы, будто я его заложил... — проговорил Зубов. — Но полной уверенности ни у кого не было, иначе бы они со мной не так... А здесь только и поручили мне «приговор» исполнить. За Гориллу они приговорили Кошкина в тот же вечер... Посмотрим, мол, как он, то есть я...

— И что ж ты?

Петр Зубов пожал плечами.

— Не обрадовался. Дураку ясно, за такое дело — расстрел. Откажусь выполнить «приговор» — тоже смерть. С той лишь разницей, что не знаешь, когда, где и как она наступит. То ли нож под ребро воткнут, то ли в кусты оттащат и голыми руками задушат...

Зубов поглядел на сожженное солнцем небо и уронил беззвучный смешок:

— Но и не испугался...

— Врешь, испугался, — неожиданно проговорил Алейников. Зубов вопросительно посмотрел на него. И Алейников пояснил: — Была у тебя вышка, но после ранения в бою ты мог быть свободен, все прошлое враз бы похерилось. На войне только может такое быть... Разве не думал, не надеялся на это?

Зубов опустил глаза и несколько секунд помолчал. Потом вздохнул тяжело, глубоко и через силу будто промолвил прежде:

— Нет, не испугался. А думать — что ж... Об этом у нас все неволью думают и надеются. И я, конечно... Сильно тоскливо мне стало, а испуга не было.

Потянула откуда-то из-за реки тугая и душная струя воздуха, принесла горький запах сожженной земли. И Зубов, будто от этого запаха, поморщился. Опять пошевелил плечами, словно пытаюсь что-то сбросить с них. И заговорил дальше, через силу сдерживая накопившееся где-то внутри раздражение:

— Да, напала тоска. Черт ее знает, что за штукавина это такая... И раньше бывало — нахлынет без всякой причины, как на сопливого интеллигента, ну хоть в петлю лезь. Вод-

кой глушил ее. А тут... И вдруг все в невиданную злобу перешло. В зверинуку!

— К кому?

— К кому?! — Зубов сплюнул на землю. — Да, к кому? Это не так просто объяснить, если честно. К этому волосатому Горилле, хотя он уже был мертвый! К его телохранителям... На тактических занятиях подползают ко мне: давай, мбл, вон Кошкин возле кустов маячит, ночь темная, не поймут, кто стрелял. А мы не выдадим... Кой черт, думаю, не выдадите! Сами же руки и скрутите, если прихлопну командира роты... Суют мне в руки пистолет. Оружия нам до боя не выдают, на тактических занятиях с деревяшками бегаем. Ну да этого добра на войне прикарманить — чего стоит... Тут-то и захлебнулся я злобой ко всему на свете! В том числе и к Кошкину. К себе, ко всей этой кошмарной жизни! Вырвал я пистолет... Опять же, хочешь верь, хочешь нет, поверх всего ошпарила мысль — в телохранителей Гориллы разрядить его! Да черт его знает, сколько в нем патронов, а их — четверо... Ну и — лупанул в Кошкина.

Зубов замолчал, начал царапать всей пятерней грудь под гимнастеркой.

— Что ж дальше? — спросил Алейников.

— А дальше так и вышло, как я думал. «Сволочь! Ты же не прицелился! Ну и подыхай! Он, Зубов, товарищ капитан, хотел вас...» Это они уж подскочившему Кошкину кричат, подбегавшим бойцам. У Кошкина пистолет в руке уже дергается. «Про-очь!» — заорал он. Державшие меня Гориллины дружки брызнули в стороны, как тараканы. Я лежу, распластанный на земле. «Ты?!» — прокричал Кошкин, поднимая пистолет. И тут я... понял в какую-то секунду, что не выстрелит он. Приподнялся и сел. Я, говорю...

— Как же... понял?

— Как все объяснить? На какой-то миг Кошкин задержал взгляд на тех, четырех, что отскочили от меня. А я заметил... Знает он нашу братию, за что и уважают его. Нюхом почувал, что не во мне тут дело. И я это понял. Да-а... А если б я сказал: «Нет, не я» — он бы выстрелил, я думаю...

— Безусловно, — сказал Алейников и поднялся.

Зубов тоже встал и потоптался, разминая затекшие ноги.

— Эти... телохранители где сейчас? Тут? — спросил Алейников.

— Под Валуйками остались. Бой там был — такого, Кошкин говорит, даже он не видывал. От роты осталось человек с полсотни... — И, видя, что Алейников пристально глядит на него, добавил с усмешкой: — Нет, не я их, немцы.

Зубов умолк. Они молча стояли теперь друг против друга. Зубов глядел куда-то в сторону,

а Яков Алейников словно ждал еще каких-то его слов.

— Ну что ж, прощайте, Яков Николаевич, — произнес наконец Зубов. — Извините, товарищ майор, что я... Мне просто хотелось... хотя и не такой, может, разговор вышел, как я хотел. Главного вопроса я так и не задал.

— А ты задай, — сказал Алейников.

— А вы ответите?

— Если смогу, чего же...

— Ладно... — В прищуренных глазах Зубова почему-то возникла неприязнь, они засветились злорадным зеленым холодком. — Он простой, этот вопрос. Завтра на рассвете у нас опять смертельный бой. И скорей всего, я погибну — сколько же судьбе закрывать меня? Но если случится чудо: заденет меня пуля, а живой останусь — смысл-то в этом какой будет? Если останусь, смысл будет?

Алейников молчал, Зубов, помедлив, спросил несколько по-другому:

— От людей мне прощение может быть или нет?

— От людей? — переспросил Алейников, пораженный не тем, что подобный вопрос задает человек, приговоренный за преступления против общества к высшей мере наказания — расстрелу, и только чудом это наказание ему заменили пребыванием в штрафной роте, а чем-то другим, более сложным и глубинным, что стояло за этим вопросом и что прозвучало в голосе Зубова: — От людей...

— Именно.

Пустынно и тихо было возле небольшой речушки, из которой пили, в которой смывали, конечно, грязь и пот, обмывали раны и немецкие, и русские солдаты, в которую падали немецкие и русские снаряды, берега которой размалывали колеса и гусеницы наших и вражеских машин. Израненные, искромсанные во многих местах, эти берега, казалось, еще дымились, в яминах и воронках будто стоял до сего времени пороховой чад и дым. Свирепая и безжалостная битва не однажды подкатывалась к речушке, не однажды бушевала над ее слабеньким и неглубоким руслом, и Алейникову вдруг почудилось, что речонку сто раз могла уничтожить страшная война — завалить крохотную, малосильную полоску воды взрывами бомб и снарядов, затоптать колесами и гусеницами, — а вот не уничтожила, не в силах была уничтожить, и упрямая речушка все течет и течет, пробиваясь сквозь перепутанные, переломанные, обожженные кустарники и травы, вскипает под солнцем на маленьких своих перекатах, негромко позванивает слабенькой волной, а в крохотных омутах крутит травинки и листья, пока течение, неприметное даже и глазу, не выбьет их на существующий и у этой речушки стрежень и не понесет их куда-то дальше...

— Да, от людей... — в третий раз повторил Яков Алейников. — Вот что, Зубов. Есть разные преступления против людей и против жизни. И я обо всем этом думал — уж поверь мне, много раздумывал! Одни преступления люди могут простить легко. Стоит, как говорится, покаяться — люди поверят и простят. Они добрые, люди. Прощение за другие надо заслужить делами. Иногда всей жизнью. Иногда смертью только можно это заслужить... Но бывают и такие преступления, которые не прощаются. Никогда не прощаются, как бы ни старался потом. Тут хоть жизнь отдай. Ни при жизни, ни после смерти... Закон даже может простить, а люди — нет.

— Например?

— Например, измена Родине.

Алейников смотрел на Зубова, но тот стоял к нему боком, скрестив руки на груди и сжимая большими, заскорузлыми ладонями плечи, смотрел куда-то в сторону сожженной войной деревни.

— Останешься живой — подумай обо всем этом. Ведь уцелеешь если — жить как-то придется. А вот как?

— Выходит... если освободят меня после завтрашнего боя, то не сам я прощение за свои преступления заслужил, а просто... закон мне простил?

— Так выйдет, — кивнул Алейников.

— А люди пока не простят?

На это Алейников лишь пожал плечами: я, мол, все сказал, что ж еще добавить?

— И по твоим рассуждениям выходит, что отца... моего ни закон, ни люди никогда не простят?

Алейников прищурил глаза, уголки губ его опустились вниз.

— Никогда. Он был наш классовый враг. Непримируемый и жестокий. Таким и остался до самой своей гибели. Как же могут его люди простить?

— Люди на блюде, — усмехнулся вдруг Зубов зло, едко, кажется даже остервенело, уронил вниз руки. — Ну, прощевай еще раз, Яков Николаевич... Спасибо за политбеседу.

Зубов все с той же, непонятной теперь Алейникову, откровенно враждебной усмешкой секунду-другую глядел ему в лицо, резко отвернулся и пошел вверх по тропинке в сторону деревни, раскачивая широкими плечами, обтянутыми порыжелой гимнастеркой. Не останавливаясь, повернул вдруг голову, проговорил отчетливо:

— Не на блюде даже, а на горячей сковородке.

Никакой усмешки теперь на лице его не было.

— С кем это вы, товарищ майор, так долго беседовали? — поинтересовался Гриша Ере-

менко, когда они ехали изрытым проселком в расположение дивизии, соседней с 215-й, — Алейников хотел поглядеть, нет ли там более удобного места для предстоящего перехода его группой линии фронта.

— Так... Любопытный человек, — ответил Яков и больше ничего объяснять не стал, лишь потрогал шрам на левой щеке, оставленный на всю жизнь шашкой полковника Зубова. «Не на блюде, а на горячей сковородке...» Алейников нахмурился и вдруг подумал: «А ведь Зубова, если он после завтрашнего боя останется живым, можно было бы, пожалуй, взять с собой в тыл врага. Смело можно было бы...»

Но мысль эта, мелькнув, пропала и больше не возвращалась. Другие дела и заботы нахлынули на Алейникова.

Семен очнулся оттого, что на него посыпалась земля. В ушах по-прежнему щекотало и попискивало, в голове стоял больной гуд.

— Что это тут? — спросил он, выйдя из блиндажа.

Где-то сзади выстрелило орудие, затем на некоторое время установилась тишина.

— Веселенькая обстановочка, Семка, тут, — проговорил Иван, ударом ладони защелкивая новый диск в ручной пулемет. — Кругом немцы. Тут, на высоте, две пушки да нас шестеро. Не считая мертвых. Мертвых, правда, много... Две пушки от батареи осталось. А где наши — неизвестно.

В это время там, где только что выстрелило орудие, темным бугром вспухла земля, внутри земляной тучи закрутилось красное, с черными прожилками пламя, и, прорвав сразу во многих местах оболочку бугра, огонь стрелами ударил в небо. Между стрел, крутясь, взвились какие-то короткие обломки и стали с глухим звоном падать рядом с Семеном. Он поглядел на один такой обломок и увидел, что это снарядная гильза. Сверху посыпались комья земли, больно заколотили по голове, по спине.

— Ложись! Голову береги! Голову...

Как беречь голову, Семен не знал, но все же лег на дно траншеи.

Когда комья сверху сыпаться перестали, он поднялся, отряхнулся, выдернул присыпанный землей автомат. Едкий запах сгоревшего тола раздирал горло. Семен похрипел, помотал головой и сплонул.

— Теперь нас четверо вроде осталось. Ты, да я, да Магомедов с Ружейниковым, — со страшной усмешкой проговорил Иван. — У той пушки было двое. Четверо да орудие одно... Ах, сволочи!

Иван глянул в темноту за бруствер, потряс свой ручной пулемет, будто выбивая из него песок, установил попрочнее сошки, обернулся:

— Давай, Семка! В нише еще три заряженных диска. И гранаты, кажись, есть. Чего сидишь, они лезут же!

И его пулемет остервенело застучал.

Крик Ивана и звон коротких пулеметных очередей заставили Семена метнуться к брустверу. Сжимая автомат, он упал грудью на землю. Внизу, по скату холма, горели три танка. Два уже еле-еле дымились, они были подбиты, может быть, еще днем, а третий, который остановился ближе всех от траншеи, полыхал ярким костром, и в небо, освещенное заревом, ввинчивался черный и толстый дымный жгут. В колеблющемся свете Семен различил немцев. Короткими перебежками они продвигались вверх, к ним. Вскинув автомат, Семен нажал на спуск и не разогнул пальца, пока не кончился диск.

— Что делаешь, Семка?! — донесся до него крик, когда автомат в его руках перестал дергаться. — Что делаешь? Короткими, говорят тебе!

Иван кричал, видимо, давно, лицо его, повернутое к Семену, было мучительно перекошено.

— Беречь патроны! Понятно-о?!

За горящими танками взад и вперед ползали три или четыре фашистские машины, башни их время от времени изрыгали пламя. Но снаряды рвались то справа, то слева за позицией батареи, хотя и недалеко. «Стрелки, мать вашу!» — злорадно выругался Семен, вталкивая в приемник новый диск. Единственная пушка, оставшаяся от бывшей батареи, отвечала беспрерывно, пламя от ее выстрелов раз за разом светло вспыхивало над головой. Но и ее снаряды то не доставали до немецких машин, то перелетали. «Алифанова бы на вас... — так же злорадно подумал Семен, засекая упавшего метрах в тридцати немца, — Алифанова...»

Один немец упал, а остальные все шли на высоту. Черные их фигурки копошились во мгле, мелькали в колеблющемся свете горящих танков. Сколько было немцев, Семен определить не мог. Может, пятьдесят, может, сто. Он стрелял и кого-то убивал, это он видел ясно. И дядя Иван, наверное, кого-то укладывал. Но все равно фашистов было много. А Иван с Семеном в траншею вдвоем. Да где-то за спиной еще двое у пушки. А немцы совсем близко, их можно уже и гранатами достать.

— Семка-а! Гранаты! — прокололо ему уши. «Интересно, — подумал Семен. — Или дядя Иван кричит необыкновенно громким голосом, или уши мне после контузии отложило?» Он, не спуская глаз со все приближающихся немцев, нащупал в нише гранаты.

Рядом упал выскочивший из темноты лейтенант Магомедов, низкорослый азербайджанец, тяжело задышал, уткнув лицо в землю.

— А пушка? Вы что?! — повернулся к нему Семен.

— Зачем пушка сейчас нужна будет? Ничего теперь не нужно будет...

Еще подышав несколько секунд, он оторвал от земли обожженное пороховыми струями скуластое лицо, вскочил по-кошачьи, отбежал вдоль траншеи метров на пятнадцать, начал из ниши выкладывать на бруствер гранаты.

Пушка за спиной между тем выстрелила. «Значит, там Ружейников какой-то, один... один», — отчетливо подумал Семен, зажал в кулаке «лимонку» и выглянул из траншеи. Немцы были совсем рядом, они — человек восемь — бежали кучкой, почти не стреляя.

Семен, еще помедлив, бросил гранату, три-четыре секунды последил за ее полетом. И, убедившись, что она упала в гущу вражеских солдат, осел в траншею и, прикрыв глаза, стал ждать взрыва. Граната лопнула с сухим треском. Семен услышал, как с визгом брызнули осколки, открыл глаза. Во мраке был виден ему дядя Иван — нагнув голову и выставив костлявые плечи, он прижимался к стене траншеи. И Семен понял, что он тоже швырнул только что гранату. Над ним вспыхнуло чернильно-темное и тяжелое, будто литое из чугуна, облако пыли. Потом взметнулось второе, третье... Значит, дядя Иван раз за разом бросил несколько гранат, мелькнуло у Семена, а вот он, Семен, так не догадался... И, видя, что Иван разогнулся, припал к пулемету и начал строчить, Семен тоже схватил автомат, высунулся из траншеи.

По всему склону плавали в темноте клочья не то дыма, не то пыли, поднятой гранатными разрывами. Справа и слева эти клочья были гуще, закрывали склоны почти наглухо, а перед Семеном, бросившим всего одну гранату, стояла, покачиваясь, лишь мутная стенка, просвечиваемая пламенем горящего внизу танка, и он увидел совсем близко от бруствера траншеи скрюченные тела трех убитых немцев, а дальше, в желтой мгле, согнутые фигурки бегущих вниз солдат.

«Ага-а!» — злорадно выдавил Семен сквозь стиснутые зубы, схватил автомат и начал стрелять, ни в кого не попадая. Немцы убегали все дальше, проваливаясь во тьму. Краем глаза Семен увидел, что Магомедов выскочил из траншеи и бросился в сторону орудия. «Живой, — отметил Семен. — И дядя Иван живой. А Ружейников? Пушка вроде давно не стреляет...»

Орудие в этот момент ухнуло, тьма внизу, куда проваливались немцы, осветилась мгновенной вспышкой. Но в эту короткую долю секунды Семен ничего не мог рассмотреть, кроме все того же догорающего немецкого танка, не заметил ни одной человеческой фигуры. Ползающие за подбитым танком немецкие машины тоже куда-то исчезли.

Этим выстрелом и закончился бой на окруженной высоте. Установилась вдруг тишина, непонятная и чужая. В небе бесшумно светили белые звезды, но ничего не освещали, просто торчали вверх неизвестно зачем, без всякой пользы.

От орудия подошли Магомедов и еще один человек, хлипкий какой-то, в изорванной гимнастерке. Это и был страшный лейтенант Ружейников. Он сел на землю, устало спустив ноги в траншею.

— Ну, вот так... сосенки-елочки, — произнес он, глядя во тьму через бруствер. — Где же наши?

— Похоронить убитых надо бы... В землю положить, — сказал Иван. Он был без пилотки, грязные волосы торчали, свалились, глаза во мраке поблескивали. — Ну что, Семен?

Семен не ответил, не хотелось ему ничего отвечать. Снова послышался голос Ружейникова:

— Утром похороним, если доживем... В воронки складем и засыпем... Документы у каждого надо взять.

— Уши как, спрашиваю? — крикнул Иван.

— Чего? Ничего.

— Кровь перестала течь?

— Какая кровь?

Семен потер пальцами мочки ушей, ощутил липкость.

— Течет. А не больно...

— Вода у нас есть? — спросил Ружейников.

Иван ушел в темноту, но тут же вернулся с фляжкой, протянул Ружейникову. Тот жадно начал пить, обливая распахнутую грудь, будто пил не из фляжки, а из котелка...

Высота 162,4 — небольшой, изрытый снарядами воронками холм, прикрывал Жерехово с северо-востока, перед ним было лысое пространство, только справа от огневой позиции бывшей батареи Ружейникова, за протекающей метрах в семистах речушкой, начинался жиденький клинообразный перелесок, острие которого подступало к самому берегу. Дальше, за речкой, клин расширялся, на правом его краю, если смотреть от батареи Ружейникова, и стояло это большое когда-то село, сейчас начисто сожженное и разрушенное. Обтекая на расстоянии высоту, речка выгибалась кренделем, ныряла в лес, подходила к самой окраине Жерехова, а потом устремлялась прочь, в топкие болота, поросшие густым осинником да ольховником. Болота эти тянулись на много километров и были уже в тылу немцев. Дальше, за болотами, начинались знаменитые брянские леса...

Старший лейтенант Ружейников, в прошлом колхозник из подмосковного села, длинный, как

журавль, стоял на коленях в траншее, положив локти на земляную бровку, глядел в стереотрубу. Гимнастерка его, рваная, грязная и заскорузлая от высохшего пота, бугрилась на спине, потрескивала, как жесть, когда он шевелился. Солнце, поднявшееся над затянутым дымной мглой горизонтом, косо било с неба, освещало изуродованную взрывами огневую площадку с валявшимися на ней гильзами и пустыми снарядными ящиками. Посреди хаоса из земляных бугров, гильз и снарядных ящиков уныло и беспомощно стояло орудие со снятой панорамой, черным, обгоревшим стволом. Прицельное устройство держал в руках бывший командир самоходки Магомедов, обдувал от пыли и протирал грязной тряпкой. Потом завернул панораму в эту же тряпку и сунул в нишу, выбранную в стенке траншеи, отложив в угол несколько гранат-лимонок, похожих на кедровые шишки, тяжело, без слов, вздохнул, стал копаться в разбитой снарядным осколком радиации. Покопавшись, пнул ее сердито и одновременно махнул безнадежно рукой.

— Сосенки-елочки, — произнес свое обычное Ружейников, не прекращая наблюдения. Эти слова выражали у него что угодно — гнев и восторг, удивление и заботу, одобрение или осуждение. Все зависело от тона, каким эти слова произносились. Сейчас они означали, что командир батареи согласен со вздохом Магомедова и его жестом.

Согласен с ним был и Семен Савельев. Он, сильно поджав ноги в коленях, сидел в траншее возле Ружейникова, на снарядном ящике, прислонясь к горячей земляной стенке спины. Все они, находящиеся на высоте, обречены, это ясно. Но это не вызывало у Семена ни страха, ни хотя бы легкого беспокойства. С каких-то пор он жил будто в другом измерении, в непонятном ему самому теперь мире, который вызывал лишь легкое любопытство. До этого шла жизнь, жестокая и беспощадная, полная огня и смерти, грохота гусеничных траков и бензиновой гари, а потом вдруг что-то в этом кровавом мироздании дрогнуло, расколосось, и произошло странное смещение. Объяснить Семен ничего не мог, но его изнуренному многодневной смертельной опасностью сознанию чудилась фантастическая картина: зимнее небо, весь мир, все это страшное бытие неожиданно дрогнуло, что-то сзади поплыло, настигало его, настигло и рассыпалось, заваливая его осколками. То ли это случилось в тот момент, когда они бросили пылающую самоходку и, попрыгав в задымленный бурьян, побежали к холму? Или прошедшей ночью, когда на высоту, к самой траншее, опоясывающей огневую позицию бывшей батареи Ружейникова, неудержимо лезли немцы? И они вскарабкались бы на высоту, достигли бы траншеи, если бы кто-то

не крикнул: «Семка-а! Гранаты!» Кто же это прокричал, кто скомандовал? Кажется, дядя Иван...

— Спишь, Семен? — послышался голос. Семен открыл глаза, увидел стоящего в траншее дядю Ивана. В одной руке у него был котелок, в другой — грязная и старая плащ-палатка. — На, поешь.

— Не хочу.

— Сутки во рту крошки не было.

— Не надо, — вяло отмахнулся Семен и медленно, с трудом разогнулся, встал на снарядный ящик, выглянул за бруствер.

Иван тотчас схватил Семена за ремень и что есть силы рванул вниз. И вовремя: в ту же секунду щелкнул внизу выстрел, пуля сорвала пыльную пленку с гребня бруствера как раз над тем местом, где только что была голова Семена, и, прошив пустой воздух, с визгом ввинтилась куда-то в небо.

— Совсем, что ли, ополоумел?

Лицо Ивана было измученным, усохшим, землисто-серым. Семен поглядел в это лицо, потом на гребень бруствера, в котором пуля прочертила отчетливую канавку.

— Почему они нас... Ведь нас всего четверо.

— Они не знают, сколько нас тут. А если бы знали...

— Ну да, — кивнул Семен, — они все равно полезут рано или поздно.

— А куда ляг, я плащ-палатку принес. Вот тут ляг, в воронке. Тут не печет. Тебе отдохнуть надо.

— Надо, — согласился Семен. — Что-то у меня, дядя Иван, в голове...

— Отойдет. После контузии бывает.

— Выберемся мы отсюда?

— А как же! Не в таких мы с тобой, Семка, переплетках бывали. Звезда наша удачливая. И теперь вывезет.

Говоря это, Иван расстилал плащ-палатку в глубокой яме. Крупнокалиберный снаряд когда-то угодил прямо в траншею, разворотил ее почему-то не по окружности, а полукольцом к вершине холма. Бруствер траншеи сделался еще выше, он-то и прикрывал единственное уцелевшее орудие во всей батарее, заметить его снизу было нелегко.

— Правда? — с детской надеждой спросил Семен.

— Ясное дело. Давай ложись.

Семен покорно, с каким-то удовлетворенным, успокоенным выражением лица лег. Прикрыл глаза, но тут же открыл их, поглядел на Ружейникова, который держал в руках принесенный Иваном котелок и что-то ел из него.

— А он говорит — сосенки-елочки...

— Мало ли чего? Я тоже так думал. Немца мы три раза отбили, отобьем еще... А тут, гляди, наши двинутся. Фронт же весь в наступле-

нии. Отбросят немцев! Это они случайно провались и отрезали нас.

Ружейников что-то хотел сказать. Иван, заметив это, сделал ему знак рукой. Тот лишь усмехнулся, молча протянул котелок Магомедову.

Семен лежал без движения и глядел в блеклое небо. Затем встрепенулся и сел, вынул из нагрудного кармана перегнувшийся листок.

— Дядя Ваня... Я письмо Наташке написал. Тут об Ольке... и обо всем. Я не подлец все же. Я не хочу ее обманывать. Так случилось, но я... не хотел Наташку тоже обижать. Хотя, наверно, ей это не понять. Но пусть знает, пусть знает... Ты ей пошли это письмо, если чего со мной. Обещаешь? А останусь жив — сам все ей расскажу. Я ее люблю, Наташку. Потому и расскажу все...

— Ладно, давай, — помедлив, сказал Иван, взял листок, не читая спрятал тоже в нагрудный карман гимнастерки, застегнул пуговицу. — А теперь — спи. Как чего — я тебя разбужу.

Семен, отдав листок, какое-то время еще глядел в небо, потом медленно стал прикрывать веки. И едва прикрыл — задышал спокойно и ровно, провалился в сон, бездонный и глухой.

— Слава богу, — произнес вполголоса Иван, поднялся с колен, подошел к Магомедову. Тот протянул ему котелок. — Должен оклематься парень.

— Контузия-то тяжелая вроде, — качнул головой Ружейников. — Но перепонки целые. Это хорошо, что ты его успокоил... Сколько у нас гранат-то, Магомедов?

— Сорок две штуки еще. Мы с Савельевым ночью все немецкие автоматы собрали. Снарядов полно...

— Снарядов хватит. Артиллеристов нету, — сказал Ружейников, опять подходя к стереотрубе.

— Нас трое...

— Почему же? — Иван быстро опрастывал котелок. — Семен с пушкой тоже умеет обращаться.

— Значит, все четверо артиллеристы. Если он отойдет, Савельев... Ума не приложу все же, почему они нас в живых оставили? Ага, теперь понятно. — И Ружейников вдруг тяжело задышал. — Теперь — понятно! Погляди, Иван Силантьевич...

Иван прильнул к стереотрубе, и жаркая волна, опаяя все внутри, прокатилась по телу, ударила в голову.

На рассвете Иван, вот так же глядевший в стереотрубу, рассмотрел внизу лишь торчавшие по всему склону и приречной луговине подбитые наши и немецкие танки. Отыскал взглядом и свою самоходку, развороченную взрывом. Она лежала на боку, вонзив в землю

орудийный ствол. Подбитые машины уже сгорели, некоторые только жиденько дымили еще, дым стекал вниз, к блестящей ленте речушки, заполняя по пути ямы и воронки, отчего они казались наполненными кипятком с паром. Сейчас картина была такой же, лишь пар над воронками поредел, земляные ямы дымились еле-еле, будто вода в них остыла. Но по противоположному берегу речушки шли колонны грузовиков, набитые немцами. Из-за расстояния шум моторов был совершенно не слышен, машины одна за другой появлялись из-за угора, откуда вытекала речушка, приближались к клинообразному лесному выступу, и почти каждый второй грузовик волок за собой пушку.

Оторвав бледное лицо от стереотрубы, Иван метнул взгляд на Семена. Освещенный лучами утреннего солнца, тот безмятежно спал, подетски свернувшись калачиком, подложив сложенные ладони под голову. По бескровным щекам Ивана прошла судорога, скулы онемели, он через силу, с болью разжал губы и сказал неизвестно для чего:

— Пуцай поспит напоследок...

— Магомедов, к орудию! Ставь панораму! — прохрипел Ружейников, поворачиваясь к стереотрубе. — Помирать будем сейчас, только с музыкой... Буди, Савельев, племянника... Всем к орудию!

Иван шагнул было к спящему Семену, но замер, услышав удивленный возглас:

— Сосенки-елочки?!

— Что?

— Да глянь!

Ружейников снова уступил место у стереотрубы подскочившему Ивану, и тот увидел в общем прежнюю картину: вражеские грузовики с солдатами и с прицепленными пушками шли и шли вдоль берега, вытекая из-за угора нескончаемой вереницей. Но вместо того чтобы разворачивать орудия в сторону высоты, как ожидали и Ружейников, и Иван, и Магомедов, немцы спокойно сидели в кузовах, а машины, огибая клинообразный лесной выступ, подступающий к самому берегу, устремлялись куда-то вдоль кромки леса, удаляясь от высоты.

— Непонятно, — произнес теперь и Иван, отрываясь от окуляров. — Там же, Магомедов говорил, непроходимые болота. Какого черта они туда пушки и войска гонят?

— Там болота, — подтвердил Ружейников, торопливо расстегивая планшет. Он извлек оттуда рваную карту, развернул, сел на дно траншеи. — Верно... Тут наша высота. Вот Жерехово. Речка эта прямо в болота течет. За болотами деревушка Малые Балыки... Мы ее недавно отбили. Болота топкие, непроходимые. Какого черта немцам там надо? А?

— Не знаю, — сказал Иван, удивленный не меньше остальных.

Старший лейтенант Ружейников и рядовой Иван Савельев, запертые на высоте, не знали, что нужно немцам в болотах, зачем они гонят туда солдат и артиллерию, а командованию 215-й дивизии все было ясно.

Немецкое наступление силами двух моторизованных и одной танковой дивизий, несколько дней развивавшееся в направлении Жерехова, выдохлось, от вражеских соединений остались жалкие лохмотья. Не желая рисковать остатками своих войск, они решили до подхода подкреплений перейти к обороне и спешно принялись зарываться в землю к западу и востоку от высоты 162,4.

Сама высота оказалась в стыке боевых порядков двух немецких дивизий, как бы в ничейной зоне. Оставшаяся на высоте советская батарея остервенело оборонялась, и немцы, видимо, не могли пока договориться, кому нанести по батарее окончательный удар и уничтожить ее, или не особо спешили с этим, понимая, что батарея все равно обречена.

— Понятно, — сказал командир 215-й дивизии полковник Велиханов, когда начальник штаба доложил ему данные разведки. — И если мы дадим немцам укрепиться как следует, то...

— В общем-то помешать им мы уже не можем, Илья Герасимович.

КП командира дивизии располагался на бывшей пасеке, в просторном деревянном омшанике, сохранившем еще запах меда. Посреди омшаника из пустых ульев было сложено нечто вроде стола, на котором лежали оперативные карты, в углу на таких же ульях стояло несколько полевых телефонов, провода от них по вбитым в стены гвоздям тянулись к оконному проему без рамы. В этот проем дул теплый ветер, заносил в омшаник мух и одичавших пчел.

У противоположной стены сидела молодая и красивая женщина, только грязная и растрепанная. В руках она, обняв ладонями, держала кружку с горячим чаем, сдвинув густые брови, дула в эту кружку. Демьянов поглядел на нее с удивлением.

— Не можем... А с чего бы это они еще и вдоль болот окапываются? — Велиханов склонился над картой.

— Не имею понятия, — сказал Демьянов.

— А я догадываюсь, товарищ подполковник. Взятый на рассвете «язык» показал: немцам уже известно, что к нам прибыла штрафная рота. И они боятся, что рота может ударить здесь.

— Через болота? — Но это невозможно! — воскликнул начальник штаба.

— Возможно. Через болота три-четыре тропы есть. Я с батькой укажу.

Это проговорила женщина с кружкой. Демьянов опять глянул на нее. Женщине это будто

не понравилось, она угрюмо сверкнула влажными глазами, встала и вышла из омшаника. Когда поднялась, под измятой черной юбкой обозначился круглый живот — женщина была беременна.

— Да, немцам укрепиться мы помешать не в состоянии. — Велиханов взял карандаш, обвел на карте кружком пространство между лесом и болотами. — Пленный показал, что завтра к полудню они ждут подкреплений из Орла.

— Кроме того, в любой момент немцы могут перекинуть сюда войска с соседних участков.

— Могут. И поэтому не позже чем на рассвете надо нам эту пробочку вышибить, иначе мы тут надолго застрянем. К счастью, нам придется еще артиллерийский полк, как раз завтра к рассвету прибывает. А штрафная рота ударит все же здесь! — Командир дивизии ткнул карандашом в кружок на карте. — Через болото. Нам важно в стык немецких дивизий вбить клин, рассеять вражескую оборону. Как только мы это сделаем, немцы, боясь окружения, попытаются.

Этот разговор начальника штаба с командиром дивизии произошел вскоре после приезда капитана Кошкина в дивизию, и вот теперь, к исходу дня, штрафная рота, получив боевой приказ, покинула деревушку Малые Балыки, чтобы до темноты прибыть к восточной оконечности болот, которые начинались в двух километрах от Жерехова.

Двигались повзводно, с интервалом в полкилометра. Строя никакого не соблюдалось, бойцы шли кучками, командиры отделений то пропускали своих подчиненных вперед, стоя на обочине, словно пересчитывали людей, то пробегали, обгоняя всех, в голову колонны, покрикивая: «Не растягиваться! Па-а-шире ша-а-а!»

Бойцы шага не прибавляли, но и не убавляли, и это означало, что команда все-таки выполняется.

Сбоку дороги пегая лошаденка тащила телегу, на которой сидели два дряхлых старика и беременная женщина в старом мужском пиджаке, подпоясанном ремнем, в черном платке. Один из стариков правил, другой, чуть помоложе первого, спустив ноги с телеги и едва не бороздя ими по земле, с любопытством оглядывал штрафников. Женщина ни на кого не обращала внимания, угрюмо глядела куда-то

перед собой и, кажется, ничего не видела. Старики были безоружными, а женщина сжимала автомат, который лежал у нее на коленях, обтянутых тоже черной, как платок, юбкой.

— Что за чучелы?! — уже не первый раз спрашивал Гвоздев, подбегая то к Зубову, то к Макару Кафтанову. — Куда они с нами, а? Гляди, бабе даже автомат выдали!

— Проводники, слышал я, — сказал наконец Зубов. — Через болота нас поведут.

— Проводники-и! — Гвоздев похлопал радужными, красивыми глазами. — Хе-хе, прижать бы где эту проводницу спиной к земле...

— Дурак. Она же с пузом, не видишь, — поморщился Зубов.

— Ну и что... Я же не роды принимать стал бы. Немножко, хе-хе, наоборот.

Зубов поморщился еще раз и вяло, без всякой неприязни к Гвоздеву подумал: «Пристрелить бы его все же хорошо...»

Всем бойцам штрафной роты перед маршем были выданы автоматы, по четыре диска к ним, по три гранаты. Макар Кафтанов, длинный, давно не бритый, нес автомат не за плечом, как многие, а на шее, оружие будто гнуло его к земле, он горбился, временами словно через силу распрямлялся и зло сверкал черными цыганскими глазами, оглядывая бредущих людей, стариков и бабу на телеге. Гвоздев, потный и красный, какой-то весь взвинченный, то и дело подскакивал к нему.

— А что, Макар? Через болота, а? А дале что? На убой же гонят.

— Отвяжись, — сплюнул Макар и почесал пятерней потную, исколотую непристойными картинками грудь.

— Да ты не плюйся, а давай подумаем... Не пора ли подумать, говорю! А, Зуб? — хрипел он, оборачиваясь к Зубову. И снова к Макару: — Через болота мы, кажись, в тыл немцам выйдем, я кумекаю. А немец — он что? Он нашего брата, уголовника, ребята говорили, не обижает... Самый момент, братцы!

— Вон командир отделения как услышит... — Макар кивнул на пробегающего куда-то назад отделенного.

— Ну, гляди, Макар, — прошипел Гвоздев. — Еще такого случая, может, и не подвернется.

Макар на это ничего не ответил, будто не слышал, а Зубов опять подумал равнодушно, не испытывая никаких эмоций: «Пристрелить собаку...»

(Продолжение следует)

Анатолий Степанович Иванов

ВЕЧНЫЙ ЗОВ

Роман

Книга вторая

Редактор *В. Малюгин*

Художественный редактор *С. Гераскевич*. Технический редактор *С. Журбицкая*

Корректоры *О. Добромыслова* и *М. Поляк*

Фото *Н. Кочнева*

Сдано в набор 17/X 1977 г. Подписано в печать 24/XI 1977 г. А 13382. Бумага газетная. Формат 84×108^{1/16}. 7 печ. л. 11,76 усл. печ. л. 14,813 уч.-изд. л. Тираж 1 600 000 экз. 1-ый завод 1—500 000 экз. Заказ 1569. Цена 60 коп.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26

Обложка отпечатана на Ленинградской фабрике офсетной печати, ул. Мира, 3.

АНАТОЛИЙ ИВАНОВ

(Окончание)

В романе воедино сплавлены великая печаль и торжествующая радость жизни — два противоположных эмоциональных полюса, между которыми неповторимое многообразие красок, тонов, оттенков — контраст света и тени и сложное их переплетение. В противоборстве добра и зла — нравственные и философские корни романа, тот благородный зов, который должен постоянно ощущать в себе каждый, задумываясь над сутью и смыслом бытия в поисках своего места в борьбе за правду и счастье людей на земле.

Оскудение души, полынная горечь в ней губят человека заживо. Так случилось, например, с Федором Савельевым, совершившим трагический выбор. Писатель глубоко исследует социальные причины его нравственного падения, они — в классовом расслоении общества, в антагонизме имущих и неимущих классов, в том, что кулак Кафтанов и — шире — кафтановщина, как конкретное и реальное воплощение силы, угнетавшей народ нравственно и физически, выхолостили душу Федора. И Советскую власть Федор Савельев возненавидел за то, что она раз и навсегда отрубила для него возможность сделаться новым Кафтановым в Шантаре.

Бездуховность свидетельствует о моральном вырожденчестве, она отличает людей, самой историей обреченных на бессилие (Лахновский, Полипов, Валентик). И если кому-то покажется, что сцены с их участием слишком мрачны, то здесь важно подчеркнуть, что без них было бы безнадежно утрачено ощущение сложности и полноты суровой эпохи, предстающей со страниц романа.

Анатолий Иванов стремится к правде, какой бы горькой и трудной она ни была, и он находит такой ракурс повествования, при котором логика развития характеров и логика развития жизни взаимно соответствуют. Реалистически, с большой художественной силой показан в романе образ Полипова — карьериста, приспособленца — олицетворение живучей мелкобуржуазной стихии, не смилившейся со своим классовым поражением, но уже бессильной изменить новый мир. Следствием обреченности, исторической бесперспективности мещанских идей является в романе полная деградация, разложение личности Полипова.

Показывая, как глубоко затронули социальные перемены века корни народа, Анатолий Иванов продолжает шолоховские традиции. Писатель стремится понять характер героя, а через него и душу народа, донести этот бесценный сосуд до читателя, и символично, что среди действующих лиц второй книги „Вечного зова“ появляется Поэт! Так же, как его односельчане — колхозники, рабочие или партийные работники, — он, Дмитрий Савельев, кровь от крови и плоть от плоти сын трудового народа. Димка рано замечает и чувствует прекрасное в жизни, родная природа словно бы открывается перед ним. Однако голос его обретает истинную силу и полноту не раньше, чем вызреет в нем драгоценное зерно таланта — таланта жить с народом, болеть его болями и радостями. Тогда только прекрасные сами по себе строки — „Я слышу — соловьи росу клюют и солнце поднимается все выше...“ — долго мучившие его непонятной незавершенностью, вдруг польются дальше свободно и без всякого усилия — их наполнит понимание „беспредельности жизни и никогда не преходящей человеческой радости“.

Действие первой книги „Вечного зова“, как известно, начинается с предреволюционных лет. Ее герои проходят тернистый путь подпольной борьбы, с оружием в руках устанавливают и отстаивают Советскую власть, борются за счастье мирной жизни. Первая книга романа была удостоена в 1971 году Государственной премии РСФСР имени М. Горького. Революционные завоевания продолжают защищать на фронтах Великой Отечественной войны и развивают затем герои второй книги — наши современники. Таким образом, роман эпически сконцентрировал социальный и духовный опыт советского народа более чем за полвека.

Художественная точность образов, глубина психологической разработки характеров, идейная и философская зрелость ставят роман „Вечный зов“ в ряд лучших произведений советской литературы.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРБАЧЕВ

